

НОВАЛИС • ГЕНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН

НОВАЛИС

ГЕНРИХ
ФОН
ОФТЕРДИНГЕН

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



NOVALIS



HEINRICH
VON OFTERDINGEN

НОВАЛИС



ГЕНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН



Издание подготовил
В. Б. МИКУШЕВИЧ

Научно-издательский центр
«Ладомир»
«Наука»
Москва

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*В. Е. Багно, Н. И. Балашов (председатель), М. Л. Гаспаров,
А. Н. Горбунов, А. Л. Гришунин, Р. Ю. Данилевский, Н. Я. Дьяконова,
Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), Н. В. Корниенко,
Г. К. Косиков, А. Б. Куделин, А. В. Лавров, А. Д. Михайлов (заместитель
председателя), Ю. С. Осипов, М. А. Островский,
И. Г. Птушкина (ученый секретарь), Ю. А. Рыжов,
И. М. Стеблин-Каменский, С. О. Шмидт*

Ответственные редакторы
Р. Ю. ДАНИЛЕВСКИЙ, Д. Л. ЧАВЧАНИДЗЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА РОССИИ»

ISBN 5-86218-399-X

© В. Б. Микушевич. Состав, перевод, статья,
примечания, 2003.
© Научно-издательский центр «Ладомир», 2003.

*Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается*



Бюст Новалиса на его могиле.
Город Вейсенфельс. Скульптор Фридрих Шапер.



ГЕНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН

ПОСВЯЩЕНИЕ

Меня ты побудила заглянуть
В такие задушевные глубины,
Что мне страшиться в бурю нет причины:
Твоей рукой указан верный путь.

К тебе младенцу сладко было лнуть,
Узрев твои волшебные долины;
В тебе одной все женщины едины:
Высокий твой порыв томит мне грудь.

Пусть земная жизнь ко мне сурова,
Твоим останусь в горести любой,
И песня музе ввериться готова.

Искусству, вдохновленному тобой,
Здесь, на земле, другого нет покрова;
Мой тихий ангел, будь моей судьбой!

* * *

Таинственно поэзия целит
Нас всех преображеньем бесконечным;
Там награждает муза миром вечным,
Здесь юностью блаженной веселит.

В зеницы свет поэзии пролит;
Нас просветив искусством безупречным,
Отрадная, усталым и беспечным
Для сердца хмель божественный сулит.

Обильным лоном сладостно вскормленный,
Всем существом обязан ей вполне,
Воспрянул я, пространством окрыленный.

Мой высший дух дремал еще во мне.
Меня возносит ангел благосклонный,
Открыв объятия в горней вышине.

Часть первая

ЧАЯНИЕ

Глава первая

Отец с матерью уже спали, слышался однозвучный ход стенных часов, в ставни со свистом стучал ветер, неяркий свет месяца чередовался в комнате с темнотой. Юноша не находил покоя на своем ложе, странник вспоминался ему¹ и то, что поведал странник. «Нет, не клады пробудили во мне столь несказанное влечение, — говорил себе юноша. — Я далек от корысти: по голубому цветку я тоскую, увидеть бы мне только голубой цветок². Мои помыслы с ним неразлучны, о чем еще мне думать и мечтать! Впервые со мною творится такое: словно до сих пор я грезил или во сне обрел иной мир, ибо в мире, для меня привычном, кого беспокоили бы цветы, а уж о том, чтобы какой-нибудь чудак цветком прельстился, и помину не было. Да и откуда, кстати, этот пришелец?

Он ведь не из наших, на наших не похож, и невдомек мне, почему меня одного так зачаровали его речи; не я один его слушал, а больше никому ничего такого не поприitchилось. Что за диво: этого даже высказать невозможно. То и дело я в каком-то блаженном восторге, и лишь тогда, когда цветок скрывается от меня, я в смятении, в глубоком внутреннем смятении, которого не с кем разделить мне. Я бы счел себя безумным, но я теперь лучше вижу, пронциательней мыслю, давно знакомое мне теперь как бы открывается. Рассказывают, будто в старину звери, деревья и скалы говорили с людьми. Они, сдается мне, вот-вот опять начнут, и по ним я угадываю, что я услышал бы от них. Судя по всему, многие слова мне еще неведомы: знал бы я побольше, мне все было бы понятнее. Раньше мне нравилось танцевать, теперь мне больше нравится размышлять под музыку». И юноша потерялся в сладостных мечтаниях, погрузившись наконец в сон. Сперва пригрезились ему необозримые дали, глухая пустынная чужбина. Он преодолевал моря, сам не зная как, невиданных чудовищ видел он; с разными людьми переживал то войну, то буйную смуту. Он изведал плен и постыднейшую нищету. Все чувствования обострились в нем сверх всякого вероятия. Он испытал бесконечную переменчивость судьбы, умер, вернулся к жизни, любил высочайшей, страстной любовью и снова навеки был разлучен со своей любимой. Только под утро, когда за окном забрезжило, на душе прояснилось, видения стали отчетливее и длительнее. Он как будто блуждал, одинокий, в дремучем лесу. Лишь кое-где зеленая сеть пропускала дневной свет. Вскоре перед ним оказалась расселина горы, ведущая ввысь. Взобраться можно было только по замшелым камням, которые выворотил наверху и оставил на своем пути прежний поток. Лес редел, чем выше, тем заметнее.

Наконец юноша добрался до луговины на горном склоне. Еще выше путь преграждала круча, однако снизу виднелся как бы проем и начало хода, прорубленного в сплошной толще. Ход, позволяя идти без всяких затруднений, расширялся впереди, так что сияние издалека лилось навстречу путнику. Вступив в это сияние, он увидел как бы ключ, откуда бьет неудержимый поток света, достигая свода и там дробясь неисчислимыми, огнецветными брызгами, сыплющимися вниз и скапливающимися в большой чаше, вернее, в озере; свет отливал пламенеющим золотом; все это совершалось бесшумно, благоговеющая тишина облакала торжественное действо. Он остановился над озером, подернутым непрерывной, многоцветной, трепетной зыбью. Стены пещеры были увлажнены теми же брызгами, скорее студеными, чем жгучими, так что по стенам струился голубоватый отсвет. Окунув руку в озеро, он поднес ладонь к своим губам. Словно некий дух оваял все его существо отрадной бодрящей свежестью. Он желал неодолимо, он вождедел омовения и, раздевшись, погрузился в озеро. Небесное чувство переполнило его душу, как будто вечерняя заря омывала его своим облаком, бесчисленные мысли стремились в нем блаженно сочетаться; небывалые неведомые образы зарождались в нем, сливались и, уже зримые, носились вокруг него; и волны упоительной стихии, как нежные перси, приникали к нему. Казалось, в потоке растворены девичьи прелести, усаждающие на миг своей телесностью, стоит им соприкоснуться с юношей.

В упоении не утратил он, однако, чуткой восприимчивости; ему было легко и привольно, течение уносило его из озера в глубь скалы. Им овладело сладостное забытие, ему грезились неопишуемые события, пока освещение не переменилось, разбудив его. Осмотревшись, увидел он, что лежит на мягкой траве около другого ключа, бьющего в воздух, чтобы в воздухе расточить себя. Темно-голубые утесы с разноцветными прожилками высились неподалеку; день, царивший вокруг, был светлее обычного дня, но свет был менее резким; ни облачка на черно-голубом небосводе. Ничто, однако, не влекло его с такой силой, как высокий светло-голубой цветок с большими, сверкающими листьями, окропленными родником. Вокруг пестрело неисчислимое множество других цветов, насыщавших воздух чудным запахом. Но, ничего не замечая, с неизреченной нежностью созерцал он лишь голубой цветок. Он вознамерился было подойти к цветку, когда цветок затрепетал и начал преобразаться, листья засверкали ярче и прильнули к стеблю, удлинявшемуся на глазах, и цветок стал клониться к юноше, и над лепестками, как над голубым воротничком, возникли нежные черты. Изумляясь все более, он блаженно созерцал это дивное преобразование, пока голос матери не прервал его сна и не увидел он, что комната в родительском доме, где он находится, вся залита золотым утренним солнцем. Он был слишком восхищен для того, чтобы роптать на помеху; напротив, он ласково пожелал матери доброго утра, отвечая на ее сердечное объятие.

— Вот сонливцев, — молвил отец³, — сколько времени я здесь просидел уже с напильником; молотка мне нельзя было и в руки взять, мать не велела, пусть, мол, дорогой сыночек выспится. Да и завтрака пришлось подождать. Ты знал,

что делал, когда выбирал себе ремесло ученого; выходит, мы бодрствуем и работаем ради науки. Правда, дельному ученому, как я слышал, тоже спать некогда, и дня ему мало, если он хочет освоить великое наследие мудрецов.

— Дорогой отец, — ответил Генрих, — не надо корить меня долгим сном, вы сами знаете, что я никогда не грешил сонливостью. Лишь поздно ночью удалось мне заснуть, к тому же беспокойные сновиденья одолевали меня, пока наконец не посетило меня отрадное сновиденье; так или иначе мне долго не забыть его.

— Генрих, дорогой мой, — проговорила мать, — ты, наверное, лежал навзничь, или неуместные мысли отвлекли тебя от вечерней молитвы. И сейчас ты выглядишь не как всегда. Пора тебе подкрепиться.

Когда мать ушла, отец, работая по-прежнему тщательно, произнес:

— Сны не верны, вольно господам ученым толковать их и так и эдак; не худо бы тебе отстать от этих праздных и пагубных бредней. Это в былые времена божественные виденья посещали человека, подобно снам, что для нас непостижимо; мы в толк не возьмем, каково было мужам богоизбранным, о которых повествует Библия. Тогда по-другому обстояло дело и со сновиденьями, не только с человеческими начинаниями.

В нашем веке мир не таков, и нам самим больше не дано сноситься с небом без посредников. Когда нужно постигнуть горнее, мы удовольствуемся старинными преданьями да писаньями, других источников нет; Дух Святой теперь нас не удостаивает явных откровений, он вещает через разумение, дарованное мужам рассудительным и благомыслящим, через жития праведников, наставляющих нас участью своей и примером. А нынешние чудотворные образы мало что дали мне, и я не очень-то верю в те великие деяния, которые приписывает им наше духовенство. Впрочем, если кто-нибудь ищет наставления в них, пусть ищет; не подобает мне ставить в тупик благочестивую доверчивость.

— Но, дорогой отец, по какой причине вы отвергаете сны, чья причудливая изменчивость, чей легкий нежный состав не может не волновать нашу мысль? Даже если не думать при этом о Божественном, не являет ли нам сновиденье самой своей путаницей нечто необычное, неспроста разрывая покров тайны, покров, опускающийся внутри нас всею тьмою своих складок? В глубокомысленнейших книгах нет числа повествованиям о снах, о них повествуют люди, достойные доверия, да и вам стоит вспомнить хотя бы сон, рассказанный нам недавно высокопочтимым придворным капелланом; этот сон произвел впечатление на вас же самих.

Но и без всяких повествований, когда бы вас впервые в жизни посетило сновиденье, как могли бы вы не изумиться, как могли бы вы оспаривать необычность этого явления, допустим, примелькавшегося для нас! Сновиденье, сдается мне, обороняет нас от жизни, удручающе размеренной и привычной, освобождает узицу-фантазию, чтобы та отдохнула, разбрасывая вперемежку все зарисовки жизненного опыта, веселой детской игрой рассеивая всегдашнюю взрослую деловитость. Если бы не сновиденья, старость приходила бы гораздо скорее. Даже если греза — не откровение свыше, я склонен полагать, что она — Божественное напутствие, доброжелательная проводница в нашем паломниче-

стве к Святому Гробу. Нет сомнений, то, что мне снилось нынче ночью, не останется в моей жизни без последствий: у меня такое чувство, что этот сон для моей души — стремительное колесо, влекущее вдаль.

С ласковой улыбкой отец молвил, глядя на мать, только что вошедшую:

— Мать, а ведь по Генриху видно, какой час привел его в этот мир. В его словах прямо-таки играет огненное италийское вино, которым я догадался запастись в Риме, и как оно пригодилось на нашей свадьбе! Я и сам был тогда молодым, не то, что теперь. Я оттаял на юге, удаль и страсть переполняли меня, да и ты была девица пылкая и прекрасная. А как великолепно было у твоего отца; сколько скоморохов и певцов нагрянуло отовсюду; небось Аугсбург не запомнит свадьбы веселее.

— Вы рассуждали давеча о снах, — молвила мать. — Ты мне, знаешь ли, сам тогда рассказывал о том, что тебе приснилось в Риме и впервые навело тебя на мысль вернуться в Аугсбург и посвататься за меня.

— Ты кстати напомнила мне, — ответил старик. — Я совсем было запомнил тот причудливый сон, хоть, признаться, довольно долго раздумывал над ним тогда, но ведь он как раз доказывает, что я не ошибаюсь насчет снов. Вряд ли может присниться сон, более отчетливый и связный, так что и ныне нетрудно восстановить все его обстоятельства, и что же, спрашивается, этот сон означал? Мне снилась ты, и сразу же я пожелал, чтобы ты стала моею, так ведь нет ничего естественнее: ты была уже знакома мне. Твоя красота и твоё радушие глаголю боко тронули меня едва ли не с первого взгляда, и разве только потому, что меня одолевала охота проведать чужие края, отсрочил я свое сватовство. Мой сон совпадает со временем, когда любопытство мое было почти утолено и сердечная склонность могла взять свое.

— Поведайте нам, однако, то причудливое сновиденье, — попросил сын.

— Бродил я как-то вечерней порою, — начал отец. — Погода стояла ясная, луна светила, и в бледных ее лучах старые колонны и стены выглядели жутковато. Мои приятели бегали за девушками, а я затосковал по родным местам, да и любовь меня влекла под открытое небо. В конце концов я почувствовал жажду и не преминул зайти на первую попавшуюся мызу в надежде выпить вина или хоть молока. Старик встретил меня⁴, и, судя по всему, я не внушил ему сперва особого доверия. Я обратился к нему с моей просьбой, и, стоило ему узнать, что я немец, то есть чужестранец, он любезно пригласил меня в горницу и достал бутылку вина. Мой гостеприимец усадил меня и осведомился, какое у меня ремесло. Горница была забита книгами и разными антиками. Мало-помалу завязался обстоятельный разговор;⁵ сколько он мне всего поведал о былом, о живописцах, ваятелях, стихотворцах! Я не слыхивал, чтобы кто-нибудь о них говорил так. Ни дать ни взять, я вступил на почву некоего неведомого мира. А какие резные каменные печати, какие художественные поделки показал он мне, какие великолепные стихи читал, и с каким жаром! Не знаю, сколько часов слилось для меня в единый миг. И сейчас у меня на сердце теплеет, стоит мне вспомнить, какая красочная сумятица странных помыслов и чаяний переполняла меня тогда ночью. Он освоился с древностью, как будто сам жил в языческие времена, и вы не поверите, как он томился, как тосковал по седой старине.

Потом он указал мне комнату, где мне предстояло дожидаться утра; поздний час не позволял уже пуститься в обратный путь. Сон не заставил себя ждать, и мне привиделось, будто я в родном городе и куда-то направляюсь через городские ворота. Идти мне нужно вроде бы по делу, только невдомек мне, куда идти и что сделать. Гарц привлек меня, и я зашагал такими большими шагами и так весело, будто отправился венчаться. Дорогу я вскоре потерял и пошел просто напрямик по долам и по лесам, пока не вышел к высокой горе⁶. Когда я взобрался на гору, оказалось, что внизу пролегает Золотая долина, и вся Тюрингия видна была как на ладони, соседние горы не мешали мне смотреть. Прямо перед собой видел я темные горы Гарца с бесчисленными замками, монастырями, хуторами. Тут я поистине возвеселился сердцем, и представился мне старик, у которого я заснул, только думалось мне, я гостил у него когда-то, и много воды утекло с тех пор.

Вдруг заприметил я лестницу, ведущую в недра горы, и устремился вниз. Долго спускался я, пока не попал в пещеру, где за железным столом восседал старец⁷ в длинном одеянии, не сводя очей с прекраснейшей девы, которая стояла перед ним, изваянная из мрамора.

В железный стол вросла и сквозь него пробивалась борода, покрывая уже ноги старцу. Вид у него был суровый, но приветливый, я, помнится, видел похожие черты, рассматривая одну древнюю голову, намедни вечером показанную мне моим гостеприимцем. Пещеру заливал ослепительный свет. Я бы все еще стоял, всматриваясь в старца, когда бы хозяин пещеры, хлопнув меня по плечу, не взял меня за руку и не повлек прочь из пещеры в длинные подземелья. Некоторое время спустя я заметил, как вдали забрезжило, словно белый день прорывался во тьму. Я поспешил туда и вскоре вышел на зеленую поляну, правда, в Тюрингии ничего подобного мне видеть как будто не доводилось. Чудовищные деревья с большими, сверкающими листьями росли вокруг, и тени от них падали далеко-далеко. Воздух был знойный, однако легко дышалось. Всюду родники, всюду цветы, и среди цветов особенно приглянулся мне один, которому другие цветы вроде бы кланялись.

— Ах, дорогой отец, не скажете ли вы мне, какова была окраска этого цветка? — вскричал сын в страстном порыве.

— Что забыл, то забыл, хотя все остальное и сейчас вижу чуть ли не воочию.

— Не голубой ли то был цветок?

— Может статься, — продолжал старик, от которого ускользнула неизъяснимая страстность Генриха. — Сколько помню, я все равно не мог бы высказать, что творится в моей душе, и мне было не до моего провожатого. Наконец я обернулся и увидел, что он пристально за мной наблюдает и улыбается мне с неподдельной радостью. Не припомню, как я покинул эту поляну. Я стоял опять на той же горе. Рядом я увидел моего провожатого, который молвил: «Чудо мира явлено тебе. От тебя теперь зависит, обретешь ли ты величайшее счастье и достигнешь ли славы в придачу. Слушай внимательно мои слова: если ты в Иванов день, когда свечереет, снова побываешь здесь и от всего сердца помолитшься Богу, чтобы Он даровал тебе уразумение этого сна, ты сподобишься высочайшего земного удела; только ты не пропусти голубого цветка, найди и сорви его

здесь, а дальнейшее смиренно предоставь Провидению». И меня в том же сне окружили прекраснейшие образы и живые люди, у меня перед глазами промелькнули бесконечные переменчивые века чарующей чередой. Язык мой, что ли, тогда развязался, я говорил, а слышалась музыка. Потом все померкло, сузилось, примелькалось; твоя мать предстала мне, глядя на меня стыдливо и ласково: на руках у нее был младенец, подобный светочу, она принесла его мне, и младенец рос на глазах, и светил все ярче, и наконец взмыл над нами, раскинув ослепительно белые крылья, взял нас на руки и так высоко вознес, что земля в моих глазах походила на золотое блюдо с тончайшей резьбой. Потом, вспоминается мне, опять был тот цветок, была гора и был старец, только вряд ли я долго спал: неодолимая любовь пробудила меня. На прощанье гостеприимный хозяин пригласил меня заходить к нему, я, конечно, не возражал и, наверное, зашел бы, задержись я в Риме, но я сломя голову кинулся в Аутсбург.

Глава вторая

Иванов день уже прошел, а между тем давно пора было матери посетить в Аутсбурге отцовский дом, пора было ей привезти к деду дорогого внука, еще не знакомого с дедом. Нашлись попутчики: купцов, испытанных друзей старого Офтердингена, влекли в Аутсбург торговые дела. Тут мать решила не упускать случая и последовать своему давнему намерению, чему немало способствовала душевная тревога, так как мать не могла не видеть: с некоторых пор Генрих сосредоточен и молчалив больше прежнего. Ей думалось, Генрих заскучал или ему нездоровится и дальняя дорога, знакомство с новыми людьми и землями, а также, как она уповала про себя, обаяние юной уроженки Аутсбурга преодолеют сыновнюю мрачность и снова сделают Генриха общительным и беспечным, каким она его всегда знала. Старый Офтердинген одобрил это начинание, а сам Генрих был рад-радехонек посетить страну, о которой столько слышал от матери и разных путников, что давно привык считать ее настоящим земным раем, куда он порывался часто, но покуда напрасно.

Генриху как раз минуло двадцать лет. Ему никогда еще не доводилось покидать пределы области, прилегающей к родному городу;¹ остальной мир был ведом Генриху только с чужих слов. При дворе ландграфа, как тогда было заведено, избегали всякого шума и суеты, так что княжеский уют и даже роскошь княжеского обихода явно уступали бы тому благополучию, которое в позднейшие времена обеспечивал себе и своим домочадцам любой зажиточный обыватель, не впадая при этом в расточительство. Тем проникновеннее и сердечнее была привязанность к пожиткам и утвари, окружающим человека ради разнообразных повседневных нужд. Пожитки и утварь не просто дорожке ценились, они больше значили. Сама тайна их естества, состав их вещественности пленяли чающий дух; при этом склонность к безмолвной свите, сопровождающей человеческую жизнь, усугублялась особым навыком, их романтической далью, откуда они происходят, освященные древностью, бережно хранимые, нередко наследие многих поколений. Сплошь и рядом подобные предметы обретали такое достоинство, что в них начинали видеть благословенные реликвии², чуть

ли не талисманы, ниспосланные судьбой на благо целым державам или многочисленным разветвлениям какого-нибудь старинного рода. Отрадная бедность³ красила те времена своей особой, невинной и строгой безыскусственностью, и сокровища, угадываемые кое-где, тем знаменательнее поблескивали в сумерках, внушая глубокомыслию чудесные предчувствия. Если сокровенное великолепие зримого мира выявляется разве только известным распределением света, тени, красок и при этом как бы дано отверзаться новому высшему взору, подобное действительное освещение распространялось тогда повсюду, а более позднее, более зажиточное время, напротив, являет картину вездесущего дня, бедную оттенками и смыслом. Кажется, высшая духовная мощь всегда готова прорываться в переходах, в промежутках между двумя царствами, и как в пространстве, нами заселенном, изобильнейшие богатства почвы и недр находятся на одинаковом расстоянии от пустынных бесплодных гор и бескрайних степей между теми и другими, так между веками неотесанного варварства и сведущими, искусными, запасливыми временами осталась глубокомысленная романтическая пора, чей возвышенный облик тает в простом облачении. Кому не по душе бродить в сумерках, когда тьма и свет как бы преломляются друг во друге величественными тенями и красками! Так и мы рады углубиться в годы, когда жил Генрих, устремляясь всем сердцем навстречу тому новому, что ожидало его. Он простился со своими сверстниками и со своим наставником, престарелым придворным капелланом, которому были ведомы обнадеживающие задатки Генриха, так что мудрый старец напутствовал его своей тихой молитвой, сердечно тронутый. Генрих был крестником ландграфини⁴ и всегда посещал ее, будучи принят при Вартбургском дворе, и теперь он отпросился в путь у своей покровительницы, которая его удостоила добрых наставлений и пожаловала ему золотую цепь, обласкав юношу на прощанье.

В печальном настроении расставался Генрих и со своим отцом, и со своим родным городом. Только теперь изведал он расставание; до сих пор, воображая себе дальнюю дорогу, он вовсе не испытывал неизъяснимого чувства, охватившего его теперь, когда, отторгнутый от своего прежнего мира, он был как бы влеком к чужому побережью. Такова беспредельная печаль юности, впервые познающей, как проходит все земное, казавшееся насущным и незаменимым, в своем переплетении с бытием неволью принимаемое за само вечное бытие. Первое предвестие смерти, первая разлука забываема, она сначала устрашает, как устрашает ночной морок, потом, притупляя вкус к дневному разнообразию, усиливая тоску по надежному прочному существованию, она сопутствует в жизни как дружественное указание и привычное утешение. Мать была рядом, и это успокаивало юношу. Еще не совсем канул в былое прежний мир, близкий вдвойне. За ворота Эйзенаха выехали спозаранку, и в предрассветном сумраке Генрих был растроган еще более. С рассветом все отчетливее простирались перед ним новые неведомые области, а когда на некой возвышенности ему открылась покинутая округа, освещенная солнцем, мелодии былого поразили юношу, вмешавшись в унылую череду его помышлений. Он почувствовал себя в преддверии тех далей, куда частенько всматривался с ближних вершин, разрисовывая недосягаемое причудливейшими красками своего воображения. До-

стигнув этого потока, он собирался погрузиться в его глубизну. Чудо-цветок манил его, и Генрих оглядывался на Тюрингию, оставшуюся позади, охваченный несказанным чайнем, как будто долгое странствие в направлении, выбранном ими теперь, ведет назад, на родину, куда он, собственно, и держит путь. Остальное общество, присмирившее было, подобно Генриху, ожило постепенно, короткая время во всевозможных беседах и рассказах. Мать Генриха решила, что пора прервать мечтания сына, и не скупилась на рассказы о своей родине, об отчем доме, о веселой Швабии. Купцы вторили ей⁵, подкрепляя ее слова новыми подробностями, превозносили гостеприимство старого Шванинга и без усталости расточали похвалы прелестным единоземкам своей спутницы.

— Вы поступаете как нельзя лучше, — сказали купцы, — вашему сыну там стоить побывать. На вашей родине обычаи не столь суровы, там больше любезности. Полезное там не в забросе, однако приятное тоже в чести. Там тоже никто своего не упускает, но при этом ценится и привлекательная общительность. Купцы там благоденствуют, снискав людское уважение. Ремесла и промыслы приумножаются, совершенствуются; прилежному работа легка, так как работа сулит немало удовольствий, и скучные тяготы, вне сомнения, вознаграждаются, позволяя разделить красочные плоды различных прибыльных предприятий. Деньги, деятельность и товар друг друга порождают, способствуя процветанию городов и весей. Если день поглощен ревностной предприимчивостью, тем безраздельнее вечер принадлежит восхитительным развлечениям в дружеском кругу. Хочется отдохнуть и рассеяться, а как при этом сочетать приличие и очарование, не предаваясь вольным играм, пренебрегая плодами совершеннейшей внутренней силы, зиждательного глубокомыслия? Нигде не поют лучше, нигде не рисуют красивее, нигде не танцуют с таким изяществом при такой приглядной стати. Соседство италийской земли дает себя знать в непринужденных манерах и в занимательных разговорах. Отнюдь не возбраняется блистать в обществе прекрасному полу, чья милая любезность без малейшего страха перед кривотолками вправе поощрять обожателей, каждый из которых старается превзойти других в надежде привлечь к себе внимание. Вместо хмурой строгости или грубой мужской развязности царит приятное оживление со своими тихими кроткими радостями, так что счастливое общество руководствуется духом любви в тысячекратных проявлениях. Все это нимало не способствует распушенности или распространению дурных правил, напротив: злым духам как бы нельзя не скрыться перед лицом красоты, и уж наверно швабские девы самые безупречные, а швабские жены самые верные во всей Германии.

Да, юный друг, ясный, теплый воздух юга поможет вам избавиться от вашей сумрачной робости; в девичьем веселом кругу вы отешетесь и разговоритесь. Где старый Шванинг, там и веселье; вы Шванингу сродни, да еще и приезжий к тому же; этого достаточно, чтобы привлечь прелестные девичьи очи, и, если вы в дедушку пошли, вы непременно осчастливите родной город, привезете оттуда красавицу жену, как некогда ваш батюшка.

Польщенно покраснев, мать Генриха поблагодарила купцов, красноречиво расхваливавших ее родину и добродетель ее молодых единоземок, а Генриху в его задумчивости ничего другого не оставалось, кроме как внимательно, с глу-

боким удовлетворением слушать описание земли, которую Генрих надеялся вскоре увидеть.

— Даже если вам неохота осваивать отцовское искусство, — продолжали купцы, — и вас, как нам говорили, больше привлекают науки, вам незачем принимать духовное звание⁶, незачем отвергать лучшие житейские радости. Нет ничего хорошего в том, что науки сосредоточены в руках сословия, пренебрегающего мирской жизнью, и государи окружены такими нелюдимыми несведущими советниками. Уединение не позволяет им участвовать в мирских начинаниях, так что их помыслы приобретают бесполезную направленность, и суть мирских происшествий от них ускользает. В Швабии вам встретятся миряне, без сомнения, рассудительные и многоопытные; тогда и выберите, какая отрасль человеческих знаний вам по душе; за добрым советом и уроком дело не станет.

Тут Генриху пришел на память его друг, придворный капеллан, и юноша молвил немного погодя:

— Конечно, мне при моей неосведомленности во всем житейском не подобает перечить, когда вы утверждаете, будто священнику не доступно суждение и руководство в мирских обстоятельствах, однако не позволительно ли мне напомнить вам о нашем достойнейшем придворном капеллане: уж если кто мудр, так это он; его уроки и наставления со мной неразлучны.

— Всем сердцем, — ответили купцы, — мы благоговеем перед этим превосходным человеком, но мы можем одобрить ваше мнение о нем лишь постольку, поскольку вы имеете в виду мудрый образ жизни, угодный Богу. Если вы полагаете, что его жизненный опыт не уступает его благочестию, то мы должны возразить вам, не взыщите. Однако, сдается нам, добрая слава святого человека ничуть не пострадает от этого; он слишком привержен горнему, чтобы изощряться в проницательном исследовании вещей, свойственных нашей земной юдоли.

— Однако, — молвил Генрих, — разве наука горнего не заключает в себе умения невозмутимо держать в своих руках бразды деяний человеческих? Разве младенчески непредвзятое простодушие не находит верного пути в лабиринте здешних обстоятельств быстрее, нежели рассудительность, подавленная и постоянно сбиваемая с толку оглядкой на собственную выгоду, ослепленная неисчислимым множеством новых превратностей и осложнений? Не берусь утверждать, но, по-моему, человеческая история познается двумя путями. Первый, тягостный, бесконечный, извилистый, — путь опыта, второй, чуть ли не просто скачок, путь проникновения. Избравшему первый путь придется нудными вычислениями изыскивать одно в другом, тогда как на втором пути сразу же раскрывается сама природа всякого случая и дела, так что можно созерцать их в живых, многообразных сочетаниях, как фигуры на доске. Не сердитесь, если вы сочли мои слова ребяческими бреднями, моя дерзость объясняется лишь надеждой на вашу снисходительность, к тому же мой учитель заблаговременно явил мне второй путь, то есть свой собственный.

— Откровенно говоря, — ответили купцы дружелюбно, — ваши рассуждения для нас трудноваты, но вы говорите о вашем превосходном учителе так тепло, что это не может не нравиться нам; похоже, его уроки не пропали для вас даром.

Сдается нам, что у вас есть склонность к поэзии. Вы без труда выражаете все оттенки вашего чувства, не скупитесь на утонченные обороты и меткие сравнения. И чудесное влечет вас, а где же стихия поэта, если не в чудесном!

— Знать не знаю, — молвил Генрих, — откуда это идет. Не в первый раз я слышу разговоры о поэтах и певцах, но ни один из них еще не встречался мне. Их странное искусство непостижимо для меня, все бы о них слушал да слушал. Может быть, я уразумел бы свои неясные чаянья, кто знает. Ходит много толков о стихотворениях, но мне доселе не попадалось ни одно, и моему учителю не довелось приобщиться к этому искусству, о котором он рассказывал мне, только я не очень-то понимал его. Правда, мой учитель всегда полагал, что это искусство достойное и я бы ничем другим не стал заниматься, едва узнав его. В древности будто бы оно встречалось намного чаще, ведомое так или иначе каждому хотя бы понаслышке, родственное другим великолепным искусствам, ныне утраченным. Взысканные Божественной милостью, вдохновленные наитием незримого, певцы слыли провозвестниками небесной мудрости, которую своими отрадными ладами они способны были открывать земле.

Купцы ответили на это:

— Тайны стихослагателей, признаться, до сих пор не заботили нас, когда нам нравилась песня, но, быть может, звезды и вправду сочетаются необычным образом, когда поэт посещает мир, спору нет, это искусство дивное. Да и другие искусства совсем не таковы, постигнуть их куда проще. Взять хотя бы живописцев или музыкантов, у них сразу видать что к чему, и музыка и живопись поддаются упорной, усердной выгучке. Лады-то в струнах, и требуется лишь сноровка для того, чтобы, перебирая струны, вызвать сладостное чередование ладов. А что касается живописи, то в ней сама природа — непревзойденная мастерица. Природа располагает неисчислимыми, изящными, причудливыми очертаниями, расточает цвета, свет и тень, набьешь себе руку, коли глаз верен, освоишь состав и сочетание красок и знай совершенствуйся, следуя природе. Долго ли сообразить, почему эти искусства воздействуют на нас и услаждают нас. Соловьиная песня, веянье ветра, цвета, проблески, облики радуют нас, отменно развлекая наши чувства, в которых проявляется та же самая природа, так что нас не может не радовать искусство, верное природе. Сама природа, желая полюбоваться своим несравненным искусством, обернула человека и в человеке ушивает своим роскошеством, обособляет в предметах отрадное и милое, ею самой воспроизводимое в таком разнообразии, что наслаждение даровано всем временам и странам. А вот ни малейшего намека на поэтическое искусство не найдешь нигде во внешнем мире. Это ведь не рукоделие, тут снастей нет; поэзия ничего не говорит ни зрению, ни слуху; просто слушая слова, не приобщись к чудодейственной тайне этого искусства. Тут все в сокровенном, и, если другие художники услаждают наши внешние чувства, поэт привносит в святилище нашего внутреннего мира изобилие неизведанных чудных, упоительных помыслов. Ему дано по своей прихоти в нас пробуждать затаенные силы, так что нам явлен словами невиданный великолепный мир. Слово из глубочайших недр возникает в нас былое и грядущее, неисчислимые людские сонмы, неведомые области, невероятные свершения, так что мы трем из

виду обжитое настоящее. Слышишь чужое наречие, а все как будто понятно. Магическим обаянием покоряет нас глагол поэта, привычнее слова выступают в пленительных созвучиях и чаруют замороженного слушателя.

— Любопытство мое благодаря вам переходит в жгучее нетерпение, — молвил Генрих. — Умоляю вас, опишите мне всех певцов, известных вам. Мне никогда не надоест слушать об этих диковинных людях. Мне даже чудится, будто я слышал о них чуть ли не в младенчестве, только все запамятовал. Вы говорите, и что-то проясняется для меня, что-то распознается, и мне так хорошо от этих удивительных подробностей.

— Мы сами не прочь вспомнить, — продолжали купцы, — как весело мы проводили время в Италии, во Франции, в Швабии среди певцов, и мы довольны, если наши рассказы так захватывают вас. Когда путь пролегает, как сейчас, в горах, вдвойне приятно потолковать, нет лучше способа скоротать время. Может быть, вас позабавят кое-какие занятые предания о поэтах, мы сами слышали эти предания в дороге. Песни мы тоже слышали, но что сказать о песнях: много ли запомнишь, когда восхищаешься, упиваясь мгновением, а среди беспрестанных торговых дел поневоле забудешь и то, что запомнилось.

В старину не иначе как вся природа отличалась большей жизненностью и осмысленностью. То, что теперь едва ли доступно животным и движет разве только людьми, трогая и услаждая их, овладевало прежде даже безжизненными телами, так что искусник осуществлял и творил тогда такое, что мы сочли бы теперь баснословным и несбыточным. Так, в стародавние времена в землях, принадлежащих нынешней греческой империи, как нам передавали странники, еще заставшие там подобные сказанья в простонародье, обретались будто бы поэты, которые необычайным ладом чудотворных струн будили в лесах сокровенную жизнь, вызывали духов, таящихся в деревьях, животворили засохшие семена растений в пустынной глуши, расцветавшей садом, приручали хищников, прививали одичавшим племенам общежительное благонравие, умиляя души, воспитывая склонность к миролюбивому искусству, умирляли яросные потоки, и даже мертвейшие камни в согласии с песней начинали равномерно двигаться, как бы танцуя. Не иначе как подобные певцы были сразу и волхвами, и жрецами, и законодателями, и целителями, если сами нездешние силы, привлеченные колдовским искусством, приобщали певцов к тайнам будущего, являя им соразмерность и естественный состав, присущие вещам, а также сокровенную благодать и целительную мощь, свойственную числам, злкаам, всякой твари. По преданию, тогда и распространились в мире многообразные лады, непостижимые узы и союзы, а прежде всюду царила сумятица, неистовство и ненависть. При этом озадачивает одно: красота, которой запечатлелось пришествие этих благодетельцев, не исчезла бесследно, однако исчезло их искусство или былая чувствительность природы притупилась. В ту пору среди многого другого и такое было: один из этих диковинных поэтов⁷ или, вернее, музыкантов, ибо музыка и поэзия почти тождественны, то есть одна другой соответствует, как ухо и уста, которые тоже ухо, только способное отвечать своим движением, — так вот некий музыкант отправлялся на чужбину, за море. Он брал с собою целое богатство: украшения и драгоценности, преподнесенные ему благодарны-

ми почитателями. У берега нашелся корабль, и корабельщики как будто охотно соглашались доставить певца за обещанную плату туда, куда ему хотелось. Однако драгоценности так блистали своей отделкой, что корыстные корабельщики не устояли перед соблазном: их всех объединил жестокий замысел схватить певца, утопить его в море, а тогда уж каждый получит свою долю сокровища. Отдалившись от берега, они набросились на певца, сказав ему, что смерть неминуема, они, мол, порешили утопить его. Певец трогательно молил сохранить ему жизнь, пытался откупиться своими богатствами, пророчил корабельщикам великую беду, если они не откажутся от своего замысла. Все напрасно, корабельщики остались непреклонны; преступники опасались, как бы не обличил он их однажды. Убедившись в их беспощадности, он просил у них разрешения спеть хотя бы свою лебединую песнь, после чего, мол, он сам утопится со своим простым деревянным инструментом. Корабельщики не сомневались, что чарующий напев растрогает их сердца, вызвав неодолимое раскаяние, так что условились, не отказывая певцу в его последнем желании, крепко заткнуть себе уши, чтобы не слышать песни и привести свой замысел в исполнение. Так и поступили. Прекрасно и трогательно запел певец. Весь корабль зазвучал в лад песне, волны подпевали, солнце и ночные созвездия встретились на небе, в зеленой воде заплясали целые сонмы рыб и морских чудищ, выпрыгивая из глубин. Одни только злобные корабельщики стояли особняком с крепко заткнутыми ушами и никак не могли дожидаться, когда кончится песня. Сияя, певец ринулся в сумрачную глубину, не выпуская из рук своего чудодейственного орудия. Лучезарные воды, однако, не успели коснуться его: признательное морское страшилище⁸ всплыло, приняв потрясенного певца на свой могучий хребет и устремившись прочь со своей ношей. Вскоре они достигли побережья, которого певец хотел достигнуть, отплывая, и где теперь был бережно высажен в тростниках. Певец почтил своего избавителя ликующей песней и, благодарный, удалился. Немного времени минуло, и снова пришел он, одинокий, на берег моря, умиленно и жалобно оплакивая своей песней пропавшие драгоценности, желанные ему, потому что они напоминали ему былые счастливые часы, признательность и приязнь дарителей. Он пел, а из воды весело вынырнул его старый морской благодетель, извергая из своей пасти на песок богатства, присвоенные грабителями. Едва певец исчез, корабельщики нетерпеливо бросились делить свою добычу. Раздоры привели к смертоубийству, выжили немногие, которым не под силу было совладать с кораблем, так что кораблекрушение постигло их у ближайшего берега. Едва-едва они спаслись, выбравшись на землю, оборванные и нищие, а сокровища, собранные в море признательным его обитателем, оказались в прежних руках.

Глава третья

— В другом предании¹, — продолжали купцы немного погодя, — чудесного² меньше, да и речь идет о временах не столь давних, но, быть может, и это предание придется вам по душе, еще глубже вас приобщив к проявлениям того удивительного искусства.

Один престарелый король содержал блестящий двор. Откуда только не собирались гости, чтобы вкусить поистине королевского времяпрепровождения там, где всего было вдоволь: и пиршеств, каждый день услаждающих прихотливый вкус тонкими яствами, и музыки, и роскошных украшений, и пышных одеяний, и переменчивых игр, и увлекательных забав, отличавшихся к тому же осмысленным чередованием благодаря присутствию премудрых, обходительных, осведомленных мужей, великих мастеров оживлять и одушевлять беседу, а также благодаря многочисленным юношам и девам, чья пленительная весна — истинная душа прелестных празднеств. Старый король, вообще-то муж степенный и угрюмый, питал две склонности, дававшие повод к роскошеству придворной жизни, которая этими склонностями и объяснялась. Во-первых, король нежно лелеял свою дочь, беспредельно обожая в ней образ безвременно почившей супруги, и готов был расточить все, чем славится природа и дух человеческий, дабы для этой несказанно милой девы уподобить землю небесам. Кроме того, королю было свойственно неодолимое пристрастие к поэтическому искусству и к мастерам, блиставшим в этом искусстве. С юных лет король упивался творениями поэтов, не жалея ни усилий, ни средств, чтобы собирать эти творения на разных языках, и давно уже больше всего дорожил общением с певцами. Из всех краев он старался привлечь их к своему двору, где окружал величайшим почетом. Он мог без усталости слушать их напевы, так что, захваченный новой песней, частенько пренебрегал не только важнейшими начинаниями, но и первейшими жизненными нуждами. И сама душа дочери его, возвращенной среди песен, стала трепетной песнью, неподдельным выражением томления и грусти.

Вся страна, и прежде всего королевский двор, не могли не испытывать целительного влияния, исходившего от прославленных королевских любимцев. Жизнь вкушали не торопясь, понемногу, смаковали ее как изысканный напиток, и наслаждение усугублялось тем, что дурные супротивные страсти, как докучный разлад, были удалены отрадным гармоническим строем, преобладавшим во всех душах. Покой душевный и проникновенное, упительное постижение творчески блаженного мира были уделом того чудесного века, когда ненависть, прежняя врагinya рода человеческого, обнаруживалась лишь в древних поэтических преданиях. Если бы духи песен вознамерились отблагодарить своего защитника, олицетворение их благодарности едва ли превзошло бы своею прелестью королевскую дочь, наделенную всеми достоинствами, которые сладчайшее воображение способно сочетать в нежном девичьем образе. Когда среди прекрасного празднества видели ее в блестящем белом наряде в кругу очаровательных наперсниц, чутко внимающую вдохновенным певцам на состязании, когда она, краснея, увенчивала благоухающими цветами кудри счастливица, чья песнь завоевала награду, мнилось, будто зримая душа того великого искусства являлась, вняв заклинаниям, так что больше никого не дивили мелодические восторги поэтов.

Но неведомая судьба как бы реяла и среди этого земного рая. Одна забота была у его обитателей: будущий брак расцветающей принцессы, бракосочетание, которое предопределило бы участь всей страны, продолжив блаженные

времена или положив им конец. Король старился. Сердце его, судя по всему, живо разделяло общую заботу, однако не предвиделось для принцессы брака, желательного во всех отношениях. Подданные благоговели перед королевским домом как перед святыней, не смея даже помыслить о том, чтобы обладать принцессой. В ней видели как бы небесную деву, и невозможно было даже предположить, будто принцесса или король способны удостоить своего взора одного из чужеземных принцев, посещавших двор в надежде обручиться с нею, столь высоко над ними вознесенной. Робость перед этой недостижимой высотой постепенно заставила их всех удалиться, так что вся династия прослыла гордой сверх меры. Подобные слухи нельзя было назвать беспочвенными. При всей своей отзывчивости король, сам того не замечая, все больше упивался собственным величием, и ему самому представлялась невозможной или невыносимой мысль о том, что супругом его дочери окажется человек более низкого звания или менее знатного рода. Это чувство подтверждалось высочайшими, непревзойденными достоинствами принцессы. К тому же государь был отпрыском древнейшего восточного королевского рода. В лице королевы чтити последнюю отрасль рода, восходящего к прославленному герою Рустаму³. Придворные поэты неумолчно сближали короля в своих песнях с былыми повелителями вселенной, отличавшимися своей сверхчеловеческой природой⁴, и в магическом зеркале поэзии король видел своих предков еще более блистательными, а свое происхождение еще более далеким от истоков остального человечества, с которым, думалось королю, его роднит разве только избранное племя поэтов. Напрасно в глубокой тревоге искал он вокруг второго Рустама, чувствуя, что судьба его королевства и неумолимая старость настоятельно требуют брачного союза для принцессы, не говоря уже о ее сердце, переживавшем свой расцвет.

Неподалеку от столицы обитал в уединенной усадьбе некий старец, поглощенный воспитанием своего единственного сына, но при этом не отказывающий во врачебной помощи недужным поселянам. Юноша, склонный к тихому созерцанию, с детства увлекался лишь естествоведением, которое преподавал ему отец. Много лет назад из далеких краев старик переселился в эту безмятежную, процветающую страну, довольствуясь тем, что здесь он мог в тишине вкушать целительный мир, исходящий от самого государя. Старик нуждался в тишине для того, чтобы исследовать силы природы, делаясь этими восхищающими явлениями со своим сыном, чья редкая восприимчивость и глубокомыслие располагали самую природу открывать ему свои тайны. Можно было бы счесть наружность юноши заурядной и непримечательной, когда бы в его благородных чертах и в очах, необычайно ясных, не угадывалось некое возвышенное обаяние. Стоило всмотреться в юношу, и усиливалось влечение к нему, и расставание уже страшило, стоило вслушаться в его ласковый душевный голос, неразлучный с пленительным даром речи. Лес, таивший в укромной долине мызу старца, вплотную подступал к садам, предназначенным для увеселений принцессы, которая в один прекрасный день отправилась без провожатых на лошади в лесную чащу, где вольготно мечталось и можно было повторять излюбленные напевы. Отрадная сень высоких деревьев заманивала ее все глубже в лес, и наконец она увидела усадьбу, где старец обитал со своим сыном.

Принцессе захотелось молока, она покинула седло, привязала лошадь к дереву и вошла в дом, надеясь, что там ей не откажут в ее просьбе. Сын был дома и почти ужаснулся, врасплох застигнутый чарующим видением: чуть ли не божественной выглядела величавая женственность, наделенная всею прелестью юности и красотой, которую пронизывала несказанно влекущая, нежнейшая в своей невинности, возвышенная душа. Пока сын спешил выполнить ее просьбу, как будто пропетую духами, старец приблизился к принцессе со смиренным благоговением и пригласил ее сесть у незатейливого очага, устроенного посреди дома и освещенного бесшумной пляской легкого голубого пламени. Уже когда она входила, принцессе приглянулось необычайное убранство этой обители, опрятность и благолепие во всем, приметы изысканной святости, причем такое впечатление усугублялось благообразием старца в простом одеянии и ненавязчивой учтивостью сына. Изяществом своих манер и великолепием своего наряда гостя сразу навела старца на мысль, что она не чужая при королевском дворе. Пока сын отсутствовал, принцесса не преминула полюбопытствовать, что это за диковинки виднеются вокруг, а главное, что это за старинные своеобразные образы расположены рядом с нею близ очага, и старик не замедлил истолковать их красноречиво и обстоятельно. Вскоре юноша принес целый кувшин свежего молока, протянув его принцессе с безыскусной предупредительностью. Проведя некоторое время в увлекательном разговоре с обоими, принцесса со всей любезностью поблагодарила за радушный прием и, краснея, осведомилась, можно ли приехать еще и не будет ли ей отказано в удовольствии снова внимать назидательным речам старца, искушенного в таинственном; потом она пустилась в обратный путь на своей лошади, не открыв своего звания, так как заметила: отцу и сыну невдомек, кто она такая. Хотя столица была недалеко, оба они, погруженные в свою науку, привыкли сторониться людского столпотворения, и придворные торжества нисколько не влекли юношу, в особенности потому, что если он и покидал отца, то на какой-нибудь час, разыскивая травы в лесу, выслеживая насекомых, приобщаясь к духу природы в его тихих наитиях и в многообразном зримом очаровании. И старца, и принцессу, и юношу глубоко затронуло это будничное событие. От старика не ускользнуло новое проникновенное впечатление, оставленное неведомой гостьей в душе его сына. Достаточно знакомый с этою душою, старик не сомневался, что глубокое впечатление в ней неизгладимо и овладевает его сыном на весь век. Юность сына и природа его сердца не могли противиться неизведанному чувствованию, которому суждено было превратиться в неодолимую склонность. Старик давно видел, как надвигается подобное потрясение. Их посетила красота столь неотразимая, что старик сам сочувствовал ей в глубине души и, как всегда уповая на лучшее, предоставил загадочному началу развиваться своим чередом. И принцесса неторопливо ехала восвояси, охваченная чувством, ей дотоле неведомым. Одно-единственное сумеречно светлое, чудотворно зыбкое чаянье нового мира подавляло в ней всякую отчетливую мысль. Магический полог застилал своими необозримыми складками малейшие проблески бодрствующей рассудительности. Стоит этому пологу подняться, мнилось принцессе, и она попадет в мир иной. Отзвуки поэтического искусства, до сих пор владевшего ее душою безраз-

дельно, слились в отдаленный напев, сочетавший прежнюю пору с нынешней причудливо милой мечтой. Не успела принцесса вернуться во дворец, как его роскошь и красочное мелькание придворной жизни почти ужаснули ее, тем более смутило принцессу приветствие отца, чей лик впервые поразил ее своим строгим величием. Безусловно запретным казалось ей всякое упоминание о лесном приключении. Ее мечтательная сосредоточенность, ее взор, затерянный среди фантазий и глубоких раздумий, были слишком привычны для окружающих, и никто не заподозрил ничего чрезвычайного.

Принцессе взгрустнулось; на душе было уже не так отрадно: принцесса чувствовала себя как бы заброшенной среди чужих людей, и непривычная робость преследовала ее до самого вечера, когда, убаюкивая ее приятнейшими мечтами, сладостного утешения преисполнила ее веселая песня поэта, который в неотразимом вдохновении прославлял надежду и славословил веру, способную своими чудесами исполнять наши желания. А юноша, едва с нею простившись, углубился в лес. По обочине дороги, скрываясь в кустах, проводил он ее до самых ворот сада и отправился домой той же дорогой. Шагая, он заметил под ногами яркий блеск. Нагнувшись, подобрал он темно-красный камень, одними гранями необычайно пламеневший, другими гранями являвший непостижимые эмблемы, врезанные в камень. Юноша распознал драгоценный карбункул⁵, который, помнится, выделялся среди других камней в ожерелье неведомой гостьи.

Юноша не столько шел, сколько летел домой, как будто надеялся там застать ее, и первым делом показал камень своему отцу. Они условились, что сын поутру выйдет на дорогу и, если камень будут разыскивать, возвратит свою находку, если же нет, они сохранят камень, чтобы отдать его незнакомке в собственные руки, когда та снова посетит их. Юноша почти целую ночь любовался карбункулом и наутро в неудержимом порыве написал несколько слов, завернув камень в эту свою записку. Он сам вряд ли ведал, какая мысль выразилась в словах, начертанных им:

Ознаменован камень драгоценный:
В его крови сияет некий знак.
Так в сердце врезан образ незабвенный,
Неведомая светит в сердце так.
Сверкает камень, светоч неизменный,
Вкруг сердца ток лучистый не иссяк.
Но если пламень скрыт игрою граней,
И сердце в сердце, может быть, сохранней.

Едва обутрело, он уже вышел на дорогу и устремился к воротам сада.

Между тем принцесса, снимая вечером ожерелье, хватилась драгоценного камня, в котором она видела память о матери и к тому же талисман, залог ее девичьей воли, не подвластной никакому насилью.

Впрочем, заметив эту пропажу, принцесса более смутилась, нежели встревожилась. Принцесса не сомневалась, что давеча во время конной прогулки тали-

сман еще сопутствовал ей; стало быть, она нечаянно уронила его или в доме старца, или возвращаясь лесом; дорога была ей слишком памятна, и она вознамерилась прямо спозаранку отправиться на поиски, осчастливленная этим решением, как будто самая пропажа не только не удручала ее, но, напротив, давала желанный повод вновь избрать прежнюю дорогу. Едва наступил день, принцесса миновала сад и вышла в лес, а так как она шла с непривычной поспешностью, что могло быть естественнее оживленного сердцебиения, переполнявшего грудь ее! Солнце не успело осыпать своим золотом верхушки старых деревьев, всколыхнувшиеся, нежно зашептавшиеся, как бы силившиеся друг друга разбудить, чтобы, рассеяв ночные видения, хором приветствовать солнце, когда принцесса, вняв отдаленному шороху, бросила взгляд на дорогу и увидела: ей навстречу торопится юноша, узревший деву в тот же миг.

Остановившись как зачарованный, он пристально вглядывался в нее, словно не верил глазам своим, явь это или марево. Они поздоровались радостно, однако сдержанно, как будто уже давно завязалось между ними знакомство и установилась приязнь. Еще принцесса не сказала ему, почему она так рано вышла на прогулку, а юноша с бьющимся сердцем вручил ей, краснея, камень, обернутый в записку. Казалось, принцесса предчувствовала, что затаено в этих строках. Рука ее дрожала, когда она брала свой талисман, и, чтобы не остаться в долгу, в порыве благодарности она сняла со своей шеи золотую цепь и надела на юношу. Смущенный, преклонил он перед ней колени и долго не находил слов, когда она его спросила, как поживает отец. Не поднимая глаз, вполголоса она добавила, что скоро посетит их вновь и будет очень рада присмотреться к диковинкам, которые старец ей обещал растолковать.

Особая проникновенная значительность слышалась в ее словах, когда она снова поблагодарила юношу; принцесса медленно отправилась домой и больше не оборачивалась. Юноша не мог вымолвить ни слова. Он только поклонился благоговейно и провожал ее взором, пока еще можно было различить ее среди деревьев.

Не прошло и нескольких дней, как принцесса снова посетила лесную усадьбу и посещала ее с тех пор неоднократно. Незаметно так уж повелось, что юноша сопровождал ее во время этих прогулок. Он ждал ее возле сада, вел ее на мызу, а потом обратно в сад. Она по-прежнему упорно умалчивала о своем звании, хотя так сблизилась со своим проводником, что ни один помысел ее возвышенной души не ускользал от него. Величие ее рода как бы страшило втайне ее самоё. Юноша тоже предался ей всею душой. Отец и сын видели в принцессе знатную девицу, состоящую при дворе. Она полюбила старика как родная дочь и осыпала его ласками, в которых угадывалась и нежность к юноше. Вскоре она совсем освоилась в причудливом доме, пела отцу и сыну, сидевшему у ее ног, чарующие песни своим неземным голосом под звуки лютни, давая юноше уроки этого упоительного искусства, а тот не оставался в долгу: из его вдохновенных уст узнавала она, как раскрываются вездесущие тайны природы. Он поведал ей, как чудная взаимность образовала мир, сочетав светила в гармонические хоры. Предыстория мира разворачивалась в ее душе, внемлющей святым повествованиям, и как она была восхищена, когда ученик ее, преисполнен-

ный своими вдохновениями, схватил лютню и, обнаружив небывалый навык, излился в чудесных песнопениях. Однажды, когда дерзновенный пыл овладел его душою близ нее и ее девичью застенчивость на обратном пути осилила могучая любовь, так что, не помня себя, они поникли друг другу в объятия и первый жгучий поцелуй навеки слил их, неистовая буря разыгралась в наступающих сумерках среди древесных вершин. Ужасающие тучи клубились над ними, сгущая ночной мрак. Он хотел скорее увести ее от жуткой грозы и бурелома под надежный кров, однако в страхе за свою любимую сбился с дороги в темноте, все глубже забираясь в лесную глушь. Он видел, что заблудился, и страх его усиливался. Принцесса думала, в каком ужасе теперь король и двор; неизреченная боязнь порою вспыхивала в ее душе пронзительным сияньем, только голос любимого неумолчно успокаивал ее, поддерживал и ободрял, так что на сердце становилось легче. Буря свирепела, выйти на дорогу никак не удавалось, так что они сочли себя счастливыми, когда при свете молнии заметили неподалеку на обрывистом склоне лесистого холма пещеру, сулившую надежное пристанище в грозу, когда измученные путники так нуждались в отдыхе. Счастливый случай потворствовал их желаньям. В пещере было сухо, чистый мох устлал пещеру. Юноша, не мешкая, развел костер из валежника и мха, так что можно было обсушиться, и влюбленные увидели, что чудом удалены от мира, спасены от страшной бури и соединены на мягком теплом ложе.

Дикий миндаль, увешанный плодами, склонялся, достигая пещеры. Близкое журчанье позволило им найти студеную воду и утолить жажду. У юноши была лютня, которая теперь могла развлечь, развеселить и успокоить их, а костер в это время потрескивал. Казалось, кто-то свыше намеренно ускорил развязку, при чрезвычайных обстоятельствах даровав им это романтическое уединение. Невинностью сердец, колдовским ладом чувств, неотвязным, недолимым могуществом юности и сладостно-взаимным влечением на забвенья был обречен мир со всеми своими узами и навеян при венчальных песнопениях бури и свадебных светочах молний сладчайший хмель, когда-либо вкушаемый смертной четой. Ясным голубым утром ознаменовалось их пробуждение в новом блаженном мире. Однако слезы, жгучим потоком хлынувшие из глаз принцессы, показали ее возлюбленному, какое множество забот пробудилось в ее сердце. Эта ночь стоила для него нескольких лет; не юноша, а муж был с нею. Упоенный восторженным пылом, успокаивал он свою возлюбленную, ссылаясь на святыню истинной любви, взывая к возвышенной вере, которую внушает любовь, заклиная уповать на безмятежное будущее, в котором не откажет ей дух — покровитель ее сердца. Почувствовав, как искренне он ее утешает, принцесса призналась, что она дочь короля и ей боязно при мысли об отцовской гордости и скорби. Все тщательно обдумав, они единодушно приняли решение, и юноша поспешил к своему отцу, чтобы посвятить его в свой замысел. Юноша заверил ее, что скоро снова будет с нею, и, обнадежив, оставил ее предвкушать грядущее счастливое стечение обстоятельств. Юноша скоро достиг отцовской обители, и старец был очень рад его благополучному возвращенью. Узнав, что произошло, взвесив намерения влюбленных, старик, поразмыслив, согласился поддержать их. Усадьба старика таилась в лесу, к тому же

имелись подземные покои, которые не так-то просто было разыскать: подходящее убежище для принцессы. Она была препровождена туда под защитой сумерек, и в глубоком умилении старец принял ее. В одиночестве принцессе трудно было удержаться от слез, когда она помышляла о том, как скорбит ее отец, но она не выдавала своих терзаний любимому, делясь ими только со старцем, сердечно утешавшим ее и сулившим ей свидание с отцом в недалеком будущем.

Весь двор был потрясен, когда вечером выяснилось, что принцессы нигде нет. В полном отчаянии король велел своей челяди искать ее повсюду. Случившееся казалось непостижимым. Никто даже не заподозрил, что это некий заговор любви, да и кто мог похитить принцессу, когда скрылась она одна? Домыслы выглядели беспочвенными. Поиски ни к чему не привели, и глубокая тоска овладела королем. Лишь вечерами, когда собирались певцы, принося свои прекрасные песни, бывая радость словно брезжила перед ним: мнилось, будто принцесса недалеко, и крепла надежда узреть ее вновь. Но в одиночестве сердце его вновь разрывалось, и он плакал навзрыд. В глубине души он тогда помышлял: «Какой мне прок в могуществе моем и родословной? Я самый убогий среди людей. Без моей дочери нет мне другой утехи. Что мне песни без нее? Лишь звук пустой да бредни. Ее волшебство оживляло песни отрадой, обличием, обаяньем. Быть бы мне последним из моих челядинцев, тогда бы моя дочь не потерялась, нашелся бы, пожалуй, зять, и внуки бы сидели у меня на коленях, и был бы я заправским королем, не то, что теперь. Король не тот, кто коронован, и не тот, кто властвует. Король тот, кто взыскан избовием блаженства, кто насыщен своим земным уделом, король тот, кому больше нечего желать. Вот расплата за мое высокомерие. Мало было мне потерять супругу! Неизбывно теперь мое злосчастье».

Так скорбел король порою, сжигаемый печалью. Но временами давала себя знать его бывшая непреклонная гордыня. Он клял свой плач, он предпочитал терпеть молча, как истинный король. Другие недостойны, полагал он, такой великой боли, страданье сопутствует величию, но, когда смеркалось, посещал он покои принцессы, видел ее наряды, видел безделушки, расставленные по-прежнему, как будто она только что здесь была, и всякие поползновения гордости сходили на нет, и король сокрушался как любой другой несчастный, умоляя о сочувствии последних своих челядинцев. Вся столица, все королевство от всего сердца лили слезы и жаловались вместе с ним. Но, как ни странно, в народе ходила молва: принцесса-де живехонька, она придет и с нею придет ее супруг. Всем было невдомек, откуда эти вести, но им внимали с радостною верой и в нетерпеливом ожиданье уповали на близкое пришествие принцессы. Месяцы летели, и весна вернулась... «Будь что будет, — иные вещали как бы по наитию, — принцесса не заставит себя ждать».

Сам король приободрился, не чуждаясь надежды. В предсказаниях он угадывал милость высшей силы. Новые торжества не уступали прежним, ликование готово было снова расцвести, но только не было принцессы. Ровно год минул с тех пор, как принцесса скрылась, и в эту годовщину вечером в сад вышли все придворные. Погожее тепло царило в воздухе, в листе старых деревь-

ев слышался тихий трепет, словно веяло веселье, приближаясь. Могучий водо-мет вознесся среди многих светочей, переливаясь бесчисленными отблесками в сумраке трепетной листвы, своим мелодическим плеском вторя неумолчным песням, доносившимся из-под деревьев.

Король восседал на драгоценном ковре, вокруг виднелся сонм придворных, разодетых по-праздничному. Великолепную картину обрамляли зрители, переполнившие сад. Король сидел сосредоточенный в глубоких помыслах. Таким отчетливым виденьем дочь впервые возникла перед ним с тех пор, как сгинула, а в памяти пронеслась череда счастливых дней, чье окончание вдруг наступило год назад об эту пору. Жгучее томление осило короля, слеза за слезою струились по изможденным ланитам, но давно уже не было ему так хорошо. Король готов был счесть этот скорбный год лишь дурным сновиденьем и, подымая свои очи, всматривался в сумрак, словно люди и деревья благоговейно таят ее высокое, святое, волшебное присутствие.

В этот миг поэты смолкли, и всеобщее молчанье возвестило, как в глубине души каждый тронут напевами поэтов, прославлявших счастливую встречу, весну и грядущее, как нам его рисует упованье.

Внезапно тихий, неведомый, чудный голос нарушил безмолвие, зазвучав как будто бы под сенью векового дуба. Голос привлек все взоры, так что всеми был замечен юноша, одетый скромно, правда, по-нездешнему; в руках у него была лютня, и он пел, как прежде, невозмутимо, хоть не преминул учтиво поклониться королю, когда тот его удостоил своего взора. Голос юноши был хорош чрезвычайно, и напев его отличался нездешним чудным ладом. В песне⁶ говорилось о том, как мир возник и как возникли созвездия, растения, звери и люди, как всевластна природа в своем созвучии, как в древности царили Любовь и Поэзия, зиждительница Золотого века, как явились Ненависть и Дикость, как они враждовали с теми благодетельными богинями, которые в грядущем восторжествуют, возвратят природе юность, и восстановится непреходящий Золотой век. Старые поэты приблизились во время пенья к дивному прищельцу и сгрудились вокруг него, как бы сплоченные единым вдохновением. Неизведанный восторг пронзил души слушателей.

Сам король был восхищен, как будто плыл он по течению небес. Неслышанная песня всех наводила на мысль, что среди них явился небожитель, не иначе, ибо юноша преобразался, покуда пел, обретая новую красоту и новое величие, а голос его креп, как бы усиливаясь. Его золотые кудри оживляла игра ветерка. Персты юноши словно пробуждали в струнах живую душу, а упоенный взор его как будто пронизал незримое. Лик его, младенчески невинный и простой, принадлежал, казалось, иному миру.

Вот завершился божественный напев. Пожилые поэты в слезах отрадных заключили юношу в свои объятия. Проникновенное тихое ликование объединило всех. Растроганный король направился к нему. Юноша поник смиренно к его ногам. Поднятый королем, он очутился в сердечных объятиях государя, который велел ему просить награды. Ланиты юноши пылали, он ответил королю просьбой милостиво внять еще одной песне и после этой песни решить, какой награды достоин певец. Король встал поодаль, и неизвестный зашел:

Певец бредет по мрачным тропам,
Терновник рвет его наряд:
Когда грозит река потопом,
Подмоги не находит взгляд.
С тяжелой лютней неразлучен,
Певец отчаяться готов,
И одиночеством измучен,
Сдержать не может скорбных слов:

«Плачевное вознагражденье!
Я бесконечно одинок.
Всем доставлял я наслажденье
И, обделенный, изнемог.
Чужую жизнь и достоянье
Воспел я, радуя других,
И разве только подаянье
За песни получал от них.

Со мной прощаются пристойно,
И никому меня не жаль;
С весной прощаются спокойно,
Когда весна уходит вдаль.
Ждут в нетерпенье урожая,
Семян весенних не ценя.
Всем даровал я счастье рая,
А кто молился за меня?

Всех встречных голос мой чарует,
Едва для них я запою.
Когда, когда любовь дарует
Мне цепь волшебную свою?
Нет людям дела до страдальца,
Пришедшего издалека.
Чье сердце выберет скитальца?
Кто приголубит бедняка?»

В слезах заснул он, одинокий,
И, провозвестник дивных сил,
Дух песнопений, дух высокий,
В его груди заговорил:
«Забудь, какая боль всечасно
Таилась в бедном пришельце.
В лачугах ищешь ты напрасно
То, что найдешь ты во дворце.

Рукою верной, благосклонной
Дарован в таинстве святом,
Окажется твоей короной
Венок твой миртовый потом.
Ты шел по мрачным тропам, бедный:
Призваньем свыше одарен,
И ты, поэт, как принц наследный,
Взойдешь на королевский трон».

Пока он пел, таинственное удивление распространялось в людских сонмах, так как при звуке этих строк старец и некое виденье в образе статной жены под покрывалом с ненаглядным младенцем на руках, который приветливо всматривался в незнакомые лица и, улыбаясь, простирая ручки к сверкающей королевской диадеме, приблизились к певцу и остались позади него, но удивлению не было предела, когда вдруг из древесной листвы любимый орел короля, с ним неразлучный, ринулся вниз к юноше, ударив его по кудрям золотым венцом, вероятно, принесенным из дворцовых покоев. Незнакомый вздрогнул в мгновенном испуге; орел уже летел к своему повелителю, оставив золотой венец на золотых кудрях. Юноша протянул венец младенцу, желавшему такой игрушки, опустился на одно колено перед королем, и взволнованный голос вновь зазвучал в напеве:

Певец утешен сновиденьем,
В лесах ведет его мечта;
Охвачен пылким нетерпеньем,
Он видит медные врата.
Наверно, тверже всякой стали
Вокруг дворца была стена,
Но песней, полною печали,
Была принцесса пленена.

Звон панцирей влюбленным страшен,
Прочь беззащитные бегут,
И нежным пламенем украшен
Их тайный сумрачный приют.
В своем безлюдном отдаленье
Они боятся короля,
Денница будит в них томленье,
Услады новые суля.

Вселяет песня в сердце веру,
Не в силах песням не внимать.
В лесах нашел король пещеру,
Там новоявленная мать.
В испуге на него взглянула,
В раскаянье поникла дочь,

Младенца деду протянула,
И старцу гневаться невмочь.

На троне сердце не черствеет;
И затихает в сердце гнев,
Как только трепетно повеет
С любовью сладостный напев.
Любовь с лихвою возвратила
Все, что похитила сперва,
И всех лобзаньями сплотила,
Исполненная торжества.

Дух песен, снизойди ты снова!
Помочь любви тебя молю.
Любовь покаяться готова,
Дочь возвращая королю.
Порадуй внуком властелина,
Утешь сурового отца,
И как возлюбленного сына
Обнимет государь певца.

Пропев эти слова, чей нежный отзвук затих под сумрачными сенями, юноша трепетной рукой откинул покрывало. Вся в слезах, принцесса поникла к ногам короля, показав ему прекрасного младенца. Певец преклонил колени рядом с нею, не поднимая чела. Никто не смел дохнуть в боязливой тишине. Несколько мгновений король хранил суровое безмолвие, потом, рыдая, заключил принцессу в свои объятия и долго прижимал ее к своей груди. И юношу тоже привлек он к себе, обняв его сердечно и нежно. Теснившиеся людские сонмы просияли в бурной радости. Взяв на руки младенца, король в благочестивом умилении вверил его хранительной власти небес, а потом почтил старца дружеским приветом. Не было конца счастливым слезам. Песни поэтов зазвучали, и тот вечер стал святым кануном, возвестившим всей стране нескончаемое торжество. Та земля теперь неведомо где. Лишь преданье повествует, будто Атлантида⁷ таится от глаз людских в нахлынувших водах.

Глава четвертая

Путники ехали беспрепятственно несколько дней. Дорога была наезженная и шла все время посуху. Дни стояли погожие, местность вокруг была людная, возделанная, радующая глаз переменчивыми видами. Миновали жуткий Тюрингский лес; кушам доводилось проезжать здесь не однажды; их уже везде знали, так что нетрудно было найти гостеприимцев. Купцы старались не углубляться в необжитые глухие дебри, пользующиеся дурной славой по причине грабежей, а если уж поневоле пересекали такие местности, то в сопровождении надежной стражи. Обладатели окрестных горных замков благоволили к проез-

жим купцам. Купцы останавливались в замках и осведомлялись, не нужно ли чего в Аугсбурге. Купцов принимали радушно, женщины, охочие до новостей, не отходили от путников. Мать Генриха сразу привлекала их своей отзывчивостью и сердечностью. Все были рады видеть женщину из города, где находится двор, где, стало быть, в ходу и новые платья, и новые лакомые блюда, а на подробности мать не скупилась. Рыцари и дамы вполне оценили почтительность и кроткую искреннюю учтивость молодого Офтердингена, а что касается дам, они с особым удовольствием всматривались в его обаятельный облик, подобный непритязательному слову странника, едва услышанному, чтобы потом, через много дней после прощания с гостем, начал распускаться неприметный бутон, пока не появится великолепный цветок во всем красочном блеске своих тесно сплоченных лепестков, так что это слово навеки памятно и не надоест повторять его, оценив неиссякаемое неразменное сокровище. Стараешься отчетливее вообразить, каков же он был, этот неведомый гость, гадаешь, гадаешь, и вдруг тебя осеняет: он послан свыше¹. Купцов прямо-таки осаждали заказами, хозяева и гости прощались, от души желая скорее свидеться. Однажды вечером они приехали в замок, где шел веселый пир. Замок принадлежал старому воителю, который норовил скрасить мирное бездействие и уединение, то и дело устраивая пиршества; когда не нужно было собираться на войну или на охоту, этот господин не ведал, как еще скоротать время, если не за кубком вина.

Окруженный шумными приятелями, он встретил путника как своих родных братьев. Мать удалилась в покои госпожи. Купцы и Генриха ждал пиршественный стол, где без усталости прогуливался кубок. Вняв настоятельным просьбам Генриха, ему позволили по молодости лет иногда пропускать свою очередь, купцы же, напротив, усердствовали, доблестно воздавая честь старому французскому вину. Говорили о былых воинских приключениях. Генрих не мог не увлечься новыми повествованиями. Рыцари вспоминали Святую землю, чудеса Святого Гроба, свои приключения на суше и в море, сарацинов, чье насилие некоторым довелось изведать, заманчивую удалую жизнь, проходящую между бранным полем и ратным станом. С большой силой они высказывали свое негодование, разгневанные мыслью о том, что Святые места, где родилось христианство, до сих пор остаются под нечестивым игом нехристей. Рыцари превозносили великих героев, которые сподобились вечного венца, смело и неутомимо противоборствуя богомерзким ордам. Всеобщее внимание привлек меч редкостной отделки, принадлежавший прежде сарацинскому вождю, которого властелин замка сразил своей рукою, захватив его твердыню, полонив его жену и детей, так что император даровал рыцарю право дополнить свой герб таким трофеем. Все любовались великолепным мечом. Генрих тоже схватил его, охваченный воинственным пылом. С пламенным благоговением поцеловал он меч. Рыцари восхитились таким порывом. Старик обнял его, призывая навеки посвятить свою десницу освобождению Святого Гроба², принять на свои рамена чудотворный крест. Генрих был потрясен, и рука его никак не могла расстаться с мечом.

— Знаешь, сын мой, — вскричал старый рыцарь, — ведь новый крестовый поход начинается. Сам император³ возглавит наши рати, отбывающие на Восток. Зов креста снова разносится по всей Европе, и где только не пробуждается до-

блестное благочестие! Кто знает, не будем ли через год мы, счастливые победители, сидеть в Иерусалиме, в этом великом городе, лучше которого нет в мире, и поминать родину отечественным вином. Хочешь, я тебе покажу тамошнюю девицу? Нам, северянам, такие по вкусу, и если ты умеешь обращаться с мечом, на твою долю хватит пленных красоток.

Рыцари во весь голос пели песнь крестового похода⁴, звучащую тогда везде в Европе:

Поруган дикою гордыней
Гроб, где лежал Пречистый Спас.
Язычник завладел святыней,
И раздается скорбный глас:
«Кто, кто меня в такой напасти
Спасет от нечестивой власти?»

Не видно воинства Христова,
Пришли дурные времена.
Кто веру восстановит снова?
Кто крест возьмет на рамена?
Гроб Господа в цепях позорных.
Кто разгромит врагов упорных?

Просторы взволновав морские,
Святая буря на земле
Стучится в стены городские,
Бушует в замке и в селе.
Призыв доносится в тумане:
«Эй, поднимайтесь, христиане!»

Бесплотные с немym укором
Являются то здесь, то там;
Паломники с печальным взором
Подходят к запертым вратам;
И подтверждают их морщины,
Как беспощадны сарацины.

Пылает грозная денница
Над христианскою страной.
Приемлет каждая десница
Свой крест и меч перед войной.
Святому Гробу сострадают,
Очаг семейный покидают.

Сердца пылают, войско в сборе,
Отплыть готовы корабли.

Скорей бы только выйти в море,
Чтобы достичь Святой земли.
Стремятся дети светлым роем⁵
Сопутствовать святым героям.

Победа воинам счастливым!
Знаменам знаменье креста!
Воителям благочестивым
Открыты райские врата.
Седые рыцари Христовы
Кровь за Христа пролить готовы.

В бой, христиане, в бой великий!
Господня рать грядет на брань.
Изведает язычник дикий
Карающую Божью длань.
Святой подвигнуты любовью,
Господень Гроб омоем кровью.

Над нами Дева Пресвятая⁶,
И нам неведом в битве страх,
Мечом сражен, достоин рая,
У Ней проснешься на руках.
Свой лик Пречистая склонила,
И торжествует наша сила.

Вновь Гроб Господень скорбным гласом
Зовет отважных на войну.
Мы согрешили перед Спасом⁷,
Искушим же свою вину!
Господней славе порадеем,
Землей Святою овладеем!

Вся душа Генриха кипела; при мысли о Гробе Господнем ему виделись нежные черты бледного юного лика; некто сидел на камне, беззащитный среди озверелой черни, обреченный жестокому поруганью, устремив скорбный взор на крест, брезжащий светлыми полосами вдали, тогда как в бушующих морских валах нет числа таким же крестам.

Мать послала за ним, намереваясь представить его супруге рыцаря. Гости захмелели, разгоряченные предвкушением грядущего похода, так что Генрих мог незаметно покинуть пиршество. Его мать задушевно беседовала с доброжелательной пожилой госпожой, которая приняла Генриха приветливо. На ясном небе солнце начинало садиться; золотая даль, проникавшая в сумрачные покои через узкие углубления сводчатых окон, манила Генриха, стосковавшегося по уединению, так что ему вскоре было позволено осмотреть окрестности замка.

Он выбежал на простор и осмотрелся, охваченный волнением; прямо у подножия старого утеса пролежала лесистая долина, где протекал стремительный ручей, вращающий колеса нескольких мельниц с шумом, чуть слышным на этой обрывистой круче, и далее виднелись вершины, дубравы, обрывы, так что невозможно было окинуть взором гористое пространство, и покой постепенно воцарился в душе Генриха. Воинственного угара как не бывало, его сменила безоблачная грусть, располагающая к мечтаньям. Генрих чувствовал, как нужна ему лютня, хотя едва ли представлял себе ее струны. Отрадная картина великолепного вечера навевала тихие сны наяву; цветок его сердца зарницей являлся ему порою. Он бродил в диком кустарнике, взбирался на мшистые уступы, как вдруг в ближайшей лощине послышалось трогательно-томительное пение: женскому голосу вторили чудесные лады. Сомнений не было: это лютня. Он застыл, зачарованный, вслушиваясь в песню⁸, пропетую по-немецки с безупречным произношением:

Неужели, как и прежде,
Бьется здесь, в чужом краю,
Сердце жалкое в надежде
Обрести страну свою?
Жить ли мне мечтою ложной?
Лишь разбиться сердцу можно.
Безутешно слезы лью.

Небеса родные щедры.
Оказаться бы мне вдруг
Там, где мирты, там, где кедры,
Где, войдя в девичий круг,
Я, нарядная, блистала.
Я бы вновь собою стала
Там, среди моих подруг.

Знатных юношей немало
Поклонялось прежде мне.
Песни пылкие, бывало,
Доносились при луне.
Верность непоколебима.
Вечно женщина любима.
Так ведется в той стране.

В той стране раздолье зною.
Пламенея близ воды,
Ароматною волною
Заливает он сады.
Суший рай в садах тенистых
Для певуний голосистых;
Там среди цветов плоды.

Но мечту мою сгубили.
Наша родина вдали.
Все деревья там срубили,
Древний замок наш сожгли.
Лютый враг нагрязнул скопом,
Полонив своим потопом
Райский сад моей земли.

Пламень, вспыхнув языками,
В синем воздухе не гас;
Скачут варвары с клинками,
Час настал, последний час.
Братья и отец убиты.
Больше не было защиты,
И тогда схватили нас.

Взор мне слезы вновь застлали.
Сквозь такую пелену
Как увидеть мне в печали
Дальнюю мою страну?
Мне бы лучше, злополучной,
Жизнь прервать собственноручно,
Но дитя со мной в плену.

Донеслись детские всхлипыванья, голос теперь утешал ребенка. Генрих спустился в лощину, поросшую кустарником, и увидел, что под старым дубом сидит скорбная бледная девушка. Прекрасное дитя горько плакало, обняв ее, рядом с нею среди травы виднелась лютия. Девушка слегка вздрогнула, заметив, что к ней идет чужой юноша, как бы готовый разделить ее печаль.

— Кажется, моя песня донеслась до вас, — молвила она приветливо. — Где я видела ваше лицо? Позвольте мне собраться с мыслями, память изменяет мне, но я смотрю на вас, и мне почему-то вспоминается белая отрада. О! Сдается мне, тому причиной ваше сходство с одним из моих братьев;⁹ он задумал посетить одного прославленного поэта в Персии и простился с нами еще до того, как нас постигла беда. Если он еще не умер, он теперь слагает скорбные песни о наших злоключениях. Вспомнить бы мне хоть какую-нибудь из тех прекрасных песен, что нам он подарил до своего ухода! Его лютия была его счастьем, при своем благородстве и нежности не ведал он другого счастья.

Ребенок оказался девочкой лет десяти—двенадцати, она пристально вглядывалась в чужого юношу, прильнув к скорбной Салиме¹⁰. Сердце Генриха сжалось от сострадания, он пытался дружески утешить пленную певунью и убеждал ее поведать свою судьбу обстоятельнее. По-видимому, она сама была не прочь высказаться. Сидя напротив нее, Генрих внимал ее словам, хотя слезы то и дело мешали ей говорить. Пленница не скупилась на похвалы своей отчизне и своим сородичам. Она описывала их великодушие, их неподдельную страст-

ную готовность воспринять поэзию жизни и чудесные, пленительные тайны природы. Она рассказывала, какой романтической живописностью отличаются возделанные арабские земли, эти счастливые острова, затерянные в непроходимых песках, пристанище измученных и гонимых, как бы райские насаждения, где на каждом шагу прохладные родники, чьи воды журчат, струясь в густой траве среди ярких камней и в старых заповедных кущах, переполненных разноперыми, разноголосыми птахами и привлекательными останками былых забываемых веков.

— С каким волнением, — говорила она, — рассматривали бы вы явственные, красочные, невиданные черты и начертания на старинных каменных плитах. Кажется, будто это надписи на родном, хотя и забытом языке, неизгладимые по своей сути. Гадаешь, гадаешь, улавливаешь отдельные значения, тем соблазнительнее разгадка всей этой древней глубокомысленной письменности. Ее непостижимый дух вызывает неожиданные мысли, и, даже если искания были напрасны, удаляешься, обретая тысячи знаменательных открытий в своем внутреннем мире, так что жизнь обогащается новым сиянием, а душа многообещающими, неисчерпаемыми начинаниями. На почве, давно возделанной, истари возвеличенной заботами, трудами и преданностью, жизнь особенно хороша. Природа там как бы не чужда человечности и осмысленности, настоящее прозрачно, так что смутное воспоминание являет сквозь него четкими зарисовками свои образы, и мир в сочетании с другим миром услаждает, утратив свою тягостную непреложность, уподобляясь вымыслу, вернее, чарующей песне наших чувств. Не дает ли себя в этом знать участие присутствия древних, теперь невидимых соотечественников, и, когда приходит время пробудиться уроженцам иных земель, не этот ли смутный зов заставляет их рваться в исконный прародительский край¹¹ с таким ожесточенным вождением, что они готовы пожертвовать душой и телом, всем своим уделом, лишь бы завоевать желанные земли.

Помолчав, она продолжала:

— Не верьте рассказам о зверствах моих земляков. Только у нас никогда не обижают пленных, и ваших пилигримов, направляющихся в Иерусалим, принимали, как гостей, жаль только, сплошь и рядом это были дурные гости. Среди них замешалось много бездельников и даже преступников, чье паломничество изобиловало разными гнусными выходками, за которые нельзя не карать. А ведь могли же христиане посещать Святой Гроб мирно, не развязывая жуткой бессмысленной войны, которая сеет ожесточенье и нищету, навсегда противопоставляя Восток Европе. Не все ли равно, кому принадлежит святыня? Наши государи благоговейно хранили гробницу вашего Святого, которого мы сами почитаем как пророка Божьего, и было бы хорошо для всех, если бы его Святой Гроб оказался колыбелью счастливого согласия, где завязываются нерасторжимые, спасительные узы.

Генрих слушал ее, а вокруг вечерело. Из влажной лесной чащи выплыла луна, проливая свой успокоительный свет. Они медленно поднимались в гору, туда, где высился замок; Генриха одолевала мысль, воинственный восторг совершенно забылся. Юноша заметил в мире необъяснимый разлад: образ утешительной созерцательности, луна открывала ему высоту, откуда представлялись несущ-

шественными кручи и пропасти, зловещие и непроходимые для странника. Салима с девочкой тихо сопутствовала юноше. Лютня была у Генриха. Он старался уверить свою спутницу, что еще рано отчаиваться и она еще может увидеть родину; некий внутренний голос властно повелевал ему спасти пленницу, не указывая, правда, как спасти ее. Впрочем, простые слова Генриха обладали, казалось, целительным воздействием, ибо Салиме стало легко, как никогда, и она с волнующей искренностью благодарила его за участие. Рыцарям еще не наскучили кубки, мать еще беседовала о хозяйстве. Генриха не тянуло в пиршественный зал. Он чувствовал себя усталым и вскоре удалился в опочивальню, отведенную для него и для матери. Перед сном он поведал ей, кого встретил вечером, сон не заставил себя ждать и наваял отрадные грезы. Купцы тоже покинули пиршественный зал заблаговременно и рано утром уже были готовы в путь.

Рыцарям было еще далеко до пробуждения, когда они уезжали, но госпожа сердечно с ними простилась. Салиме ночью не спалось, сокровенная радость не давала ей сомкнуть глаз; когда наступило время прощаться, она пришла, чтобы проводить путников как усердная смиренная служанка. На прощанье она протянула Генриху лютню¹², проникновенным голосом умоляя принять ее на память о Салиме.

— На этой лютне играл мой брат, — молвила она. — Это его прощальный подарок, все, что мне осталось от нашего имущества. Лютня как будто полюбилась вам вчера, а вашему подарку нет цены, ваш подарок — сладкая надежда. Вот вам жалкий знак моей благодарности. Возьмите лютню и не забывайте бедную Салиму. Мы свидимся, я знаю, быть бы мне тогда счастливее.

Генрих прослезился, он отклонил подарок, понимая, как дорога ей лютня.

— У вас в волосах, — молвил он, — я вижу золотую ленту с непонятными письменами, если только она не служит вам напоминанием о ваших родителях или о вашей родне, позвольте мне взять эту ленту, а взамен примите покрывало, которое моя мать будет рада вам оставить.

Наконец она уступила его настояниям, отдав ему ленту с такими словами:

— Мое имя обозначено на этой ленте буквами моего родного языка. Я сама вышивала эти буквы, когда мне жилось веселее. Рассматривайте мою ленту, когда вам захочется, и не забывайте: ею были заплетены мои косы в долгую печальную пору, когда я увядала, а золото тускнело.

Мать Генриха сняла покрывало, вручила пленнице, привлекла ее к себе и обняла прослезившись.

Глава пятая

Еще несколько дней они ехали, пока не достигли деревни, за которой виднелись острые вершины холмов, как бы рассеченных глубокими обрывами. Окрестности благоприятствовали земледелию и не лишены были красот, хотя безжизненные горбы холмов выглядели жутковато. На постоялом дворе было чисто, прислуга была расторопная, и в комнате собралось порядочно народу, кто остановился на ночлег, кто просто зашел выпить, все сидели и толковали о разных разностях.

Наши путешественники не сторонились людей и охотно заговаривали с другими. Общим вниманием завладел один старик, одетый не по-здешнему¹, который, сидя за столом, дружелюбно отвечал на вопросы любопытных. Он был чужестранец, спозаранку обследовал сегодня местность и рассказывал теперь о своем промысле и о своих нынешних находках. Старика величали старателем. Он, однако, нисколько не кичился своим опытом и своей сноровкой, хотя в его речах веяло неведомое и непривычное. По его словам, он был уроженцем Богемии.

Уже в юности он изнывал от любопытства: нельзя ли проникнуть в глубь гор, нельзя ли узнать, откуда вода в родниках, где залегают золото, серебро, самоцветы, такие желанные для человека.

Посещая ближнюю церковь при монастыре, он привык вглядываться в эти застывшие огни на иконах и на ковчегах с мощами, и как он желал услышать от них самих, камней, откуда они, таинственные, родом. Говаривали, будто их доставляют издалека, но ему всегда думалось, почему бы не находиться подобным сокровищам и драгоценностям в окрестностях. Недаром ведь горы такие объемистые, такие высокие и такие непроницаемые, да, помнится, и ему самому попадались в горах разноцветные яркие камушки. Он без усталости лазал по расселинам, забирался в пещеры и прямо-таки блаженствовал в этих древнейших палатах, любясь вековыми сводами. Наконец один встречный надумил его: надо, мол, идти в горняки, тогда, дескать, ему откроется все то, что так занимает его, в Богемии, мол, рудников хватит. Знай иди вниз по реке, и дней через десять—двенадцать попадешь в Эулу², а там остается только сказать, что просишься в горняки. Не нужно было повторять этого дважды, чтобы на следующее утро он собрался в дорогу.

— Дорога была нелегкая, — продолжал старик, — но через несколько дней я добрался до Эулы. Не могу выразить, как прояснилось у меня на душе, когда я увидел с холма кучи камня, поросшие зеленым кустарником, деревянные постройки и дым, который застилал долину, клубясь над лесом. Отдаленный гул подкрепил мои чаянья, мне было любопытно донельзя: вскоре в благоговейном безмолвии стоял я на одной из таких куч (их называют отвалами) и норовил заглянуть в темную глубь: крутой спуск среди деревянной постройки уводил прямо в недра горы. Я бросился в долину, и мне тотчас же встретились несколько человек в черном с лампами в руках, так что нетрудно было распознать горняков: в застенчивой робости я обратился к ним с моей просьбой. Выслушав меня дружелюбно, они посоветовали мне спуститься в плавильню и спросить штейгера³, то есть мастера или старшего, а уж он-то наверняка скажет, возьмут меня или нет. Они считали, что в моем желании нет ничего неисполнимого, и научили меня горняцкому приветствию: «Счастья наверху!» — с которым надлежало обратиться к штейгеру. Предвкушая успех, я продолжал свой путь и все повторял про себя непривычный многообещающий привет. Я пришел к пожилому почтенному человеку, который тоже встретил меня весьма дружелюбно; выслушав меня и узнав, как мне хочется постичь тайны его необычного промысла, он сразу же согласился удовлетворить мое желание. Должно быть, он почувствовал ко мне расположение, так как пригласил меня остаться у него в доме.

Не терпелось мне спуститься под землю, и не было для меня наряда красивее горняцкой робы. В тот вечер старик достал для меня такую робу и растолковал, как обращаться с некоторыми инструментами из тех, что хранились у него.

Вечером в доме собрались другие горняки, и я ловил каждое их слово, хотя самая речь их, да и суть повествования по большей части не доходили до меня. Однако та малость, которую я мог усвоить, обостряла мое любопытство, и без того живейшее, даже ночью одолевая меня в причудливых сновидениях. Я проснулся как раз вовремя и не опоздал, когда к моему новому хозяину пришли горняки, готовые внять его распоряжениям. Соседняя комната была отведена под маленькую часовню. Монах не заставил себя ждать и отслужил молебен; потом он прочитал особую молитву, призывая небо осенить горняков своим святым покровом, способствовать им в опасных трудах, уберечь их от злых духов, коварно искушающих, одарить их богатыми месторождениями. Никогда я еще не молился так жарко и никогда так живо не чувствовал, что значит богослужение. В своих будущих товарищах я видел подземных подвижников, которые, преодолев тысячи опасностей, обретают завидное благо, свой чудесный опыт и в торжественном тихом соприкосновении с утесами, этими древнейшими детьми природы, в чудотворной тьме тайников облакаются добродетелями, достойными даров небесных и блаженного вознесения превыше мирских страстей.

Когда служба кончилась, штейгер вручил мне лампу вместе с маленьким деревянным распятием и пошел вместе со мною к шахте (это по-нашему крутой спуск в подземные сооружения). Штейгер показал мне, как надо спускаться, сообщил мне, какие правила полагается соблюдать осторожности ради и как называются различные устройства со всеми приспособлениями. Он первым скользнул вниз по круглой колоде, неся в одной руке зажженную лампу, а другой держась за канат, ходивший сбоку в петле вдоль жерди; я не отставал, и мы с немалой скоростью спустились на изрядную глубину. Душа моя переживала непривычный праздник, лампа впереди мерцала счастливой звездочкой, указующей мне путь к тайникам, где хранит свои клады природа. Недолго было и заблудиться в этих подземных дебрях; мой отзывчивый учитель терпеливо отвечал на все мои назойливые вопросы, разъясняя мне свой промысел. Слушая, как течет вода вдали от обжитой поверхности и как поодаль работают горняки в темноте, в этой путанице ходов, я ликовал, как никогда: наконец я, счастливый, обрел то, к чему давно уже так стремился. Неизъяснимо и неопишуемо глубокое удовлетворение, когда врожденная потребность берет свое, когда удивительную радость вызывают предметы, близкие нашему затаенному существу, неразлучные с трудами, для которых ты рожден и для которых набираешься сил уже в колыбели. Другим такие труды сразу же омерзели бы, опротивели бы в своем убожестве, а по мне, без них нельзя, как нельзя груди без воздуха или желудку без еды. Моему старому наставнику нравился мой неподдельный пыл, и он обнадежил меня, предсказав, что при таком старании и понятливости я далеко пойду и со временем стану заправским горняком. (С каким благоговением узрел я впервые в жизни 16 марта⁴ (тому уже сорок пять лет), как сам король металлов⁵ залегает нежными блестками в трещинах породы. Мнилось, будто он в своем непроницаемом заточении дружески светит горняку, а горняк

пробивается к нему, не жалея усилий, не ведая страха, взламывает неприступные твердыни, чтобы вызволить его, явить его дневному свету, чтобы в королевских коронах и чашах, на ковчегах со святыми мощами он обрел почет, а в общепризнанной, по достоинству ценимой монете надлежащей чеканки — путеводительную власть над миром. Так я и остался в Эуле и постепенно дорос до забойщика, которьй, собственно, и есть горняк, воздвельвающий породу, а сперва мне поручили выхаживать бадьи в отработанных забоях.

Видно, старый горняк немного устал рассказывать и почувствовал жажду; пока он шел, чуткие слушатели весело его приветствовали возгласом: «Счастья наверху!» Речи старого горняка увлекли Генриха необычайно, и он был бы рад послушать его еще.

Остальные толковали о превратностях и причудах горного дела, не скупясь на невероятные рассказы, так что старику приходилось не без улыбки дружелюбно опровергать досужие домыслы.

Наконец Генрих молвил:

— Вы столько пережили, вы встречали столько нежданного: скажите, вы никогда не жалели, что избрали такую стезю? Не согласитесь ли вы поведать, как сложилась ваша жизнь с тех пор и куда вы теперь направляетесь? Сдается мне, что вы повидали свет, и уж наверное вы теперь позначительнее рядового горняка.

— Я сам не прочь, — ответил старик, — припомнить прошлое, чтобы вновь прославить Господни милости и щедроты. На мою долю выпала счастливая мирная жизнь, и не было такого дня, когда бы я не ложился на покой с благодарным сердцем. Мои предприятия мне всегда удавались, и наш Отец Небесный уберег меня от всякого зла, так что я дожил до седых волос, неопороченный. Благодарю Бога, а еще благодарю за все моего старого наставника, давно уже отошедшего к роду отцов своих; о нем я никогда не мог помыслить без слез. Он был человек старинного склада, Богу по сердцу. Ему было даровано истинное глубокомыслие, а в своих трудах он отличался младенческим смирением. Это ему горное дело обязано своими усовершенствованиями, герцог богемский — своими баснословными сокровищами, а целая область — своим заселением, довольством и процветанием. Каждый горняк видел в нем своего отца, и, пока стоит Эула, имя его будут поминать с душевной признательностью. Он был уроженец Лаузица и звался Вернером. Его единственная дочь была еще совсем девочкой, когда я впервые переступил порог его дома. Я был старателен, добросовестен и так привязан к нему, что он любил меня день ото дня все больше. Он дал мне свое имя, и я заменил ему сына. А покуда девчурка подросла и стала такая резвая, такая славная, лицом нежная и чистая, как ее сердце. Глядя, как она льнула ко мне, как я сам был рад полюбезничать с нею и все не мог оторваться от ее глаз, голубых и глубоких как небо, блестящих словно хрусталь, старик нередко говаривал мне: станешь, мол, заправским горняком — отдам ее тебе, не откажу; и он своего слова не нарушил. Я стал забойщиком, и в тот же день он возложил на нас руки, а через какие-нибудь недели я уже входил в мою комнату вместе с моею женой. Солнце едва взошло в тот день, когда я, забойщик на выучке, врубаясь в новый пласт, напал на богатую жилу⁶. Герцог пожаловал меня золотой цепью и большой медалью со

своим изображением, а также обещал оставить за мной место моего тестя. Как я счастлив был украсить этой цепью шею моей невесты в день свадьбы, так что народ смотрел на нее во все глаза. Старик еще дождался нескольких крепышей-внуков; он вряд ли думал, что его осень сулит ему такие богатые месторождения. Ему дано было с радостью исчерпать свой пласт и оставить мрачный рудник этой жизни, чтобы почтить с миром в ожидании великого дня, когда все получают по заслугам.

— Сударь, — обратился к Генриху старик, смахнув слезинку-другую, — горное дело благословил Господь, не иначе. Какое ремесло, кроме горного дела, так вознаграждает и облагораживает труженика, внушает ему такую веру в мудрое небесное Провидение и сохраняет его сердце в такой младенческой чистоте и невинности. Горняк рождается бедняком, и бедняком покидает этот мир. Ему довольно знать, где государство каждого металла и как добыть этот металл; чистого сердца не прельстит ослепительный блеск сокровищ. Горняка, не затронутого пагубным умопомрачением, влечет скорее дивный состав металлов, причуды месторождений и залежей, чем обладание со своими всеобъемлющими посулами. Когда сокровища поступают в продажу, они уже безразличны горняку, который любит находить их в подземных твердых, подвергаясь тысячам испытаний и опасностей, однако не внемлет их мирскому зову и на поверхности земли, пренебрегая уловками и ухищрениями корысти, не гонится за ними. Испытания не позволяют сердцу очерстветь, горняк довольствуется своей малой мздой, и жизнелюбие в нем ежедневно возрождается, когда он вылезает из мрачных ям, где суждено ему работать. Лишь горняк знает, как хорош свет и досуг, как целителен простор и вольный воздух; лишь для горняка еда и питье — сладостная святыня, как бы Тело и Кровь Господни, а с какой любовью и отзывчивостью возвращается он к своим присным, как он лелеет жену и детей, как он упивается отрадным благом задушевной общительности!

Уединенные занятия вынуждают горняка надолго разлучаться с людьми и ясным днем. Поэтому его вкус к возвышенным, глубокомысленным явлениям никогда не притупляется и горняк никогда не изживает детской восприимчивости, которая во всем находит неповторимую суть и первоначальное красочное чудотворство. Природа не любит безраздельно принадлежать одному человеку⁷. Став имуществом, природа наводит на своего обладателя порчу, не дает ему покоя, заставляет все вовлекать в этот порочный круг обладания — губительное вожделение, которому сопутствуют неисчислимые тяготы и необузданные притязания. Так природа неприметно лишает собственника почвы и погребает его в зияющей пропасти, чтобы снова переходить от одного к другому, верная своей неизменной наклонности одаривать всех.

Зато как мирно работает неимущий, непритязательный горняк в своих безлюдных глубинах вдали от суетной дневной толчеи, довольствуясь лишь своей наукой да покоем душевным! В своем уединении он чувствует сердечную привязанность к своим ближним, снова и снова постигая, как нуждается каждый в каждом и как всех людей связывает кровное родство. Самим его призванием преподано неистощимое терпение и сосредоточенность, несовместимая с праздномыслием. Перед ним своенравная, неподатливая, неуступчивая стихия, над ко-

торой торжествует лишь деятельное упорство да вседневная осмотрительность. Но как хорош цветок, расцветающий для горняка в жутких недрах: искренняя готовность полагаться во всем на Отца Небесного, чья рука и чей промысел изодня в день явственно наводят горняка на путь истинный. Как часто я сидел в моей штольне и при тусклой лампе в глубоком умилении созерцал безыскусное распятие. Вот как я впервые постиг святую тайну этого образа, в моем сердце разведав ценнейшую жилу, вознаграждающую проходчика вечной добычей.

Немного погодя старик снова заговорил:

— Сомнений нет, людям преподал угодник Божий благородное горняцкое искусство, явив строгий символ нашей жизни, затаенный в недрах гор. Здесь жила приметная, для разработки рыхлая, но скудная, там ее сплющивает горная толща в невзрачном убогом пропластке, но именно там выклиниваются знатнейшие породы⁸. Другие жилы портят породу, пока наша жила не слюбится со сродницей, что придает ей неисчерпаемую ценность. Иногда жила кустится тысячами отпрысков, но терпеливого не собьешь, невозмутимый упорно продолжает проходку, и не без награды: жила блещет новою любезностью и мощью. Иногда мнимый отпрыск заманивает в тупик, но горняк вскоре видит, что сбился, и силой прорубает себе дорогу в косвенном направлении, пока настоящая жила вновь не дает себя знать. Кто лучше горняка изведаль причуды случая, кто тверже уверился в том, что никакие другие средства, кроме ревностной настойчивости, не могут восторжествовать над подобным противником и отнять у него заповедные клады.

— Вы, конечно, не обходитесь, — молвил Генрих, — без вдохновительных песен. Думается, само ваше призвание внушает вам песни, и музыка — лучшая помощница горняка.

— Вы хорошо сказали, — ответил старик, — жизнь горняка неразлучна с напевом и ладами цитры; ни одно ремесло не располагает наслаждаться всем этим так, как наше. Музыка и пляска — излюбленные улады горняка; подобно отрадной молитве, они даруют воспоминания и упования, помогающие скоротать одиночество, так что работа не столь тягостна.

Если вам угодно, я припомню одну песню⁹, ее очень любили, когда я был молод:

Освоивший глубины,
Землей владеет всей,
Не ведая кручины,
Не ведая скорбей.

Скалистое сложенье
И прелести земли
Тебя в твоём служенье
Таинственно влекли.

И ты, воспламененный,
Других не чая благ,

Невестою плененный,
Вступаешь с нею в брак.

Все ближе, все милее
Она в течение лет,
Хоть с нею тяжелее:
Покоя нет как нет.

Любимого готова
Вознаградить она,
Являя без покрова
Былые времена.

В расселинах пречистый,
Предвечный ветерок;
Там виден свет лучистый,
Хоть мрак ночной глубок.

Везде земля родная,
И нет ни в чем помех;
Трудов не отвергая,
Сулит она успех.

Струятся воды в гору¹⁰,
Не ведая преград;
И в подземелье взору
Открыт заветный клад.

Оттуда льется золото
Потоками в казну;
Украшил ты богато
Корону не одну.

Богатством небывальым
Монарха наделив,
Довольствуешься малым
И в бедности счастлив.

Пускай кипят раздоры
Всегда среди долин;
Тебе достались горы,
Веселый властелин!

Генриха просто восхитила эта песня, и он попросил старика припомнить еще какую-нибудь. Тот с готовностью выполнил просьбу, сказав сперва:

— И впрямь вспоминается мне еще одна песня, только такая чудная, что нам самим невдомек, откуда она. К нам занес ее издалека бродячий горняк, своеобразный старатель, у которого был якобы жезл, открывающий клады и кладези¹¹. У нас эта песня очень полюбилась, потому что звучала она таинственно, едва ли не такая же смутная и неизъяснимая, как сама музыка, потому-то она и зачаровывала непостижимо, как будто бодрствуешь и в то же время гредишь:

Известен замок тихий мне,
Таится там король¹² поныне,
Не появляясь на стене;
Незрима стража¹³ в той твердыне.
Там свой таинственный устав;
Ненарушим покой глубокий,
Лишь слышно, как журчат потоки,
На пестрой крыше побывав.

Ведут веками свой рассказ,
У них повествований много;
Открыто все для светлых глаз
Под сенью звездного чертога.
Властитель хрупок, но могуч,
Всегда потоками омытый,
И в материнских жилах¹⁴ скрытый,
Как прежде, в белом блещет луч¹⁵.

Спустился сквозь морское дно
Однажды замок тот чудесный¹⁶.
Задерживать ему дано
Тех, кто бежал в простор небесный.
Не чувствуют своих оков
Завороженные вассалы;
Твердьню осеняют скалы
В победных стягах облаков.

Народ бесчисленный¹⁷ вокруг,
Хоть крепко заперты ворота;
Изображают верных слуг,
Владыку выманить охота.
При этом каждый словно пьян.
Догадываются едва ли,
В какую западню попали
И где мучительный изъян.

Лишь пронизательный хитрец¹⁸,
Не избежав такой опеки,
Похоронил бы наконец

Твердьню древнюю навеки.
От заколдованных тенет
Избавит мудрая десница,
Тогда появится денница,
Тогда свободою пахнёт.

Пускай стена была крепка,
Наперекор любым глубинам,
Повсюду сердце и рука
Охотятся за властелином.
На свет выводят короля,
Как духи, духов изгоняют,
Себе потоки подчиняют,
Оттуда вытекать веля.

Все чаще выходя на свет,
Король бесчинствовал немало,
Но прежней власти нет как нет,
Зато свободных больше стало¹⁹.
Своею вольною волной
Вновь заиграет в замке море,
И на зеленых крыльях вскоре
Мы вознесем в край родной.

Когда старик замолчал, Генриху почудилось, будто он слышит эту песню не в первый раз²⁰. Старик не отказался повторить ее, и Генрих не преминул записать слова. Старик покинул комнату, а купцы пока рассуждали с другими гостями о том, насколько выгодно горное дело и с какими тяготами оно сопряжено. Кто-то сказал:

— А старик-то здесь неспроста. Недаром он взбирался нынче на наши холмы, уж наверное он приметил добрые знаки. Надо бы расспросить его, когда он воротится.

— Слушайте, — отозвался другой гость, — он бы очень одолжил нашу деревню, если бы указал нам близости родник, а то мы устали ходить за водой, нам так не хватает хорошего колодца.

— А я вот что думаю, — молвил третий, — не переговорить ли мне с ним насчет моего сына, не пригодится ли старику парнишка, он такой охотник до камней, что дома ступить уже некуда; не иначе как мой сын — прирожденный горняк, а старик-то вроде добрый человек, художу не научит.

Купцы судили и рядили, не удастся ли им заключить через горняка прибыльные сделки с Богемией, где продаются металлы по сходной цене. Старик вернулся в комнату, и все спешили воспользоваться случаем, не упустить своего. Тут заговорил сам старик:

— Какой спертый воздух в этой клетушке, просто дышать нечем. А на улице луна взошла во всем своем великолепии, и я бы не прочь еще побродить.

Днем приглянулись мне тут поблизости некоторые пещеры²¹. Надеюсь, кто-нибудь не откажется сопутствовать мне, и, если мы позаботимся об освещении, мы беспрепятственно обследуем их.

Деревенским жителям эти пещеры были известны, правда, заглядывать в них люди не осмеливались, напуганные рассказами, будто пещеры — логово драконов и всяких страшилищ. Уверяли, что видели их своими глазами, недавно, дескать, у входа в пещеры валяются обглоданные кости людей и животных. Кое-кто, впрочем, полагал, что в пещерах обитает некий дух, вдалеке, мол, порою виднеется таинственный облик, вроде как человеческий, а по ночам будто бы кто-то распекает.

Старику подобные толки явно не внушали особого доверия; он с улыбкой убеждал присутствующих, что с горняком они могут отправиться в пещеры без всякой опаски, горняк отпугивает всякую нечисть, а если уж дух поет, значит, это добрый дух. Любопытство придало людям храбрости, так что предложение старика многих соблазнило.

Генриху тоже хотелось пойти, и наконец мать уступила его просьбам, когда эти просьбы поддержал сам старик, пообещавший бдительно оберегать Генриха. Купцы тоже решили идти. Сбегали за длинными смолистыми лучинами, кроме лестниц, шестов и веревок, в которых не было недостатка, запаслись кое-каким снаряжением для самозащиты, и к соседним холмам направилось шествие со стариком во главе. Купцы с Генрихом не отставали. Поселянин кликнул своего пытливого сына, тот был рад-радехонек и, вооружившись факелом, указывал дорогу.

Время стояло погожее. В нежном сиянии луна держалась над холмами, и с нею любую тварь посещали таинственные сновидения. Мнилось, луна снится солнцу, а внизу пролегла вселенная, которая сама себе снится, так что луна, размывая бесчисленные границы, уводит природу в баснословное былое, когда каждый зачаток еще жил своей обособленной грезой, одинокий, нетронутый, напрасно силясь раскрыть безграничную щедрую тьму своего естества.

Душа Генриха была зеркалом, в которое глядится сказка вечера. Генриху чудилось будто вселенная почиет в нем, расцветая, и вверяет его гостеприимству свои сокровенные прелести и клады. Его как бы окружила необозримая, доступная, отчетливая явь. Природа, думалось ему, лишь потому загадочна, что она просто осаждает человека, расточая глубочайшее и задушевнейшее в неисчислимых откровениях. Речи старика отворили потайную дверь в нем самом. Он постиг, что жил в пристроечке, а настоящим зданием оказался величавый собор²², где былое торжественно выростало из каменного пола, а беззаботное безоблачное грядущее нисходило к былому, обернувшись певчими ангелоподобными золотыми младенцами, парящими в куполе. Трепетные серебряные голоса сливались в могучем хоре, и через широкий портал одна за другой проходили все твари, внятно выражая свою сокровенную природу в бесхитростной мольбе на родном языке.

Генрих только диву давался, как он мог до сих пор не замечать отчетливой осмысленности, теперь уже навеки свойственной существу его. Вдруг осознал он все взаимосвязи, сблизившие его с пространной окрестной жизнью, ощутил,

чем он обязан этой жизни и что сулит она ему, разгадал непривычные побуждения и видения, которых сподобился, наблюдая эту жизнь.

Генриху вспомнился юноша²³, который, по словам купцов, прилежно вглядывался в природу и стал королевским зятем; тысячи других воспоминаний, неразлучных с его жизнью, сами собой нанизывались на магическую нить.

Пока Генрих пытался уследить за своими помыслами, шествие остановилось у входа в пещеру. Скала над входом низко нависала, и старик, захватив с собою факел, проник туда первым, так что несколько каменных глыб осталось позади него. Навстречу заметно сквозило, и старик пригласил остальных следовать за ним, так как опасаться было нечего. Самые робкие замыкали шествие, не забывая, что вооружены. Купцы с Генрихом шли следом за стариком, а рядом с ним бойко шагал мальчик. Проход был тесноват, однако вел он в обширную пещеру с высокими сводами, и факелов не хватало, чтобы осветить ее всю, только впереди виднелось несколько проемов, удививших в сплошную утесистую толщу. Под ногами было довольно мягко, никто не спотыкался, стены и своды тоже не казались шероховатыми или неровными, но всем сразу же бросилось в глаза неисчислимое множество зубов и костей, рассыпанных по каменному полу. Некоторые из них нисколько не пострадали от времени, другие как будто начали разрушаться, а кости, проступавшие в стенах, по виду не отличались от камня. Большею частью кости были необычайно крупные и, вообще, поражали своей величиной.

Старик с удовольствием рассматривал эти допотопные останки, а крестьяне робели, воображая, будто кости подтверждают присутствие плотоядных, хотя старик убедительно опровергал такие предположения, находя на костях приметы невероятной древности, и спрашивал крестьян, наблюдалась ли убыль у них в стадах, пропал ли кто-нибудь по соседству и узнают ли они в этих костях кости своей скотины или останки своих знакомцев.

Старик намеревался углубиться в недра горы, но крестьяне предпочитали дожидаться его вне пещеры. Генрих, купцы и мальчик, решив сопутствовать старику, взяли факелы и веревки. Скоро они очутились в другой пещере, где старик не преминул расположить несколько костей особенным образом, пометив ход, которым они пришли. Пещера мало отличалась от первой, звериные кости скопились и в ней.

Генрих был заворожен и встревожен, земные недра представлялись ему сокровенным дворцом, в который ведут эти пещеры. Небо и жизнь, казалось, уже затеряны вдали, а эти просторные, мрачные палаты принадлежат невиданной подземной державе.

«Как же это так? — думалось Генриху. — У нас под ногами кишел чудовищной жизнью своеобразный мир? В неприступных подземных твердых коллобрило неведомое исчадие, вызванное к жизни сокровенным пылом темного лона в непомерных, поражающих обличиях? Что, если бы однажды среди нас оказалась эта жуткая невидаль, гонимая пронизывающей стужей на поверхность земли, а над нашими головами одновременно заговорили бы горние гости, зримые духи светил? Свидетельствуют ли эти останки о тех, кто рвался на поверхность, или о тех, кого тянуло скрыться в недрах?»

Внезапно старик окликнул своих спутников и показал им довольно свежий человеческий след. Других следов найти не удалось. И старик уверился, что можно безбоязненно идти дальше, так как одиночный след не заманит их в лапы разбойников. Они бы так и сделали, как вдруг откуда-то снизу, издалека, чуть ли не из бездны донеслось довольно отчетливое пение. Изумленные, они вслушались в слова:

Не найти долины краше.
Улыбнусь в ночной тени.
Пью любовь я полной чашей,
И проходят в этом дни.

На целебной этой тризне
Я заранее воскрес;
Упоенный в этой жизни,
Я в преддверии небес.

Беспечально дух пирует
В созерцанье погружен;
Сердце мне свое дарует
Королева светлых жен²⁴.

Скорбь мою запечатлели
Живописцы-времена,
И теперь в моей скудели
Вечность явственно видна.

Все бывшее — миг единый:
Унесут меня вот-вот.
С благодарностью в долины
Посмотрю тогда с высот.

Меньше всего путники ждали такой хорошей песни, и всем не терпелось выяснить, кто же это пел.

Немного поискав, нашли в углу справа ход, ведущий вниз, куда вели, по-видимому, и следы. Идущих вознаградила вскоре некий смутный проблеск вдали; чем ближе они подходили, тем явственнее был виден свет. Своды выше и вместительнее прежних открылись наконец взору; возле задней стены горела лампа, и можно было различить фигуру сидящего человека, который, казалось, читал толстую книгу, лежавшую перед ним на каменной плите.

Сидящий обернулся, встал и шагнул навстречу вошедшим. Трудно было бы сказать, сколько лет этому человеку. На вид он был не молод, не стар, о пережитом свидетельствовали только серебристые волосы, безыскусно расчесанные на лбу. Неопишуемая ясность лучилась у него в глазах, как будто он, стоя на светлой горе, наблюдал нескончаемую весну. На ногах у него были сандалии,

и незнакомец, казалось, не носил никакой другой одежды, кроме широкого плаща, который, окутывая его, подчеркивал благородную статность. Непредвиденное посещение словно бы ничуть не озадачило его, он приветствовал вошедших, как будто давно знал их. Так в своем доме встречают долгожданных гостей.

— Очень мило с вашей стороны проведать меня, — молвил он. — Впервые вижу друзей у себя с тех пор, как здесь обосновался. Похоже на то, что начинают пристальнее обследовать наше огромное таинственное жилище.

Старик ответил:

— Такое гостеприимство — для нас неожиданность. Мы слышали о хищниках, о духах и теперь, к нашему большому удовольствию, видим, что были введены в заблуждение. Если по вине нашего любопытства прерваны ваши проникновенные созерцания или ваша молитва, то не взъщитесь.

— Что же и созерцать, — молвил неизвестный, — если не лица человеческие, располагающие нас к себе своей веселостью? Мы встречаемся в таком пустынном обиталище совсем не потому, что люди мне противны. Я искал не убежища, где можно скрыться от мира, я искал тихого уголка, где ничто не рассеет моей сосредоточенности.

— И вы никогда не сожалели, что приняли такое решение? Не смущала ли вас временами тревога, не тосковало ли ваше сердце по голосу человеческому?

— Все это прошло. Когда-то в пылкой юности я вообразил себя пустынным. Неискушенная фантазия довольствовалась неясными мечтаниями. Я думал, что в уединении мое сердце найдет себе пищу. Мнилось, мне навеки хватит источника, таящегося во мне самом. Но я вскоре одумался; оказывается, этот источник нуждается в изобильных воспоминаниях, одиночество невыносимо для юного сердца и нужно встретить много себе подобных, пока не начнешь обретать самого себя.

— По-моему, тоже, — ответил старик, — всякая жизнь требует естественного предрасположения, и пережитое само постепенно отдаляет нас в старости от людей. Зачем и общаются люди, если не ради совместной предприимчивости, то есть сообща приобретают и сообща берегут приобретенное. Великая надежда и цель увлекают всех, кроме разве что детей да стариков. Детям еще недостает рассудительности и сноровки, а сбывшаяся надежда и достигнутая цель больше не втягивают стариков в круг общения, так что старик возвращается к самому себе и находит при этом достаточно дела: общение с внешним миром даром не дается, до него нужно возвыситься. Что же касается вас, то не иначе как необычные обстоятельства побудили вас так решительно обособиться от людей и отречься от всех преимуществ, которые доставляет общество. Сдается мне, ваша душа иногда устает и омрачается.

— Бывало и так, но теперь я, к счастью, научился избегать подобных невзгод, подчинив мою жизнь четкому распорядку. К тому же я привык укреплять здоровье движением, так что меня ничто особенно не тяготит. Каждый день я посвящаю целые часы ходьбе, не пренебрегаю воздухом и светом, насколько это в моих силах. А вообще я сижу в этих палатах, часами предаваясь трудам; ведь я теперь корзинщик, резчик; мои изделия я вымениваю в дальних селениях, добываю себе этим средства к жизни; книгами я запасаюсь заранее, так что вре-

мя проходит незаметно. В тех дальних местностях кое-кто знает меня и знает, где я нахожусь, а я всегда могу расспросить моих знакомцев, что нового в мире. Когда я умру, меня похоронят, а мои книги перейдут в другие руки.

Он повел своих гостей к стене, подле которой недавно сидел. На полу они увидели книги и цитру, а на стене полное рыцарское снаряжение, весьма изысканное даже на первый взгляд. Пять больших каменных плит, сложенных наподобие ларя, заменяли стол. На верхней плите выделялся барельеф: мужчина и женщина, изваянные во весь рост, с венком роз и лилий; по краям была высечена надпись: «Фридрих и Мария фон Гогенцоллерн²⁵ узрели здесь вновь свою отчизну».

Отшельник осведомился, откуда родом его гости и что привело их в эти края. Он отличался любезностью, откровенностью и не скрывал, что повидал свет. Старик молвил:

— Нет сомнений, вам довелось повоевать. Об этом говорит ваше снаряжение.

— Тревоги войны, ее переменчивость, возвышенный поэтический дух, свойственный воинству, захватили мою одинокую юность, и моя жизнь постигла в них свою судьбу. Должно быть, затяжная сумятица, бесчисленные столкновения, в которые был я вовлечен, усугубили мою склонность к уединению; да и не соскучишься в обществе необозримых воспоминаний, особенно когда созерцаешь их заново, открывая истинную согласованность, внутреннюю обусловленность их чередования, осмысленность их появления.

Настоящий вкус к человеческой истории вырабатывается с возрастом, и спокойное воздействие воспоминаний для него благодетельнее сокрушительных впечатлений, оставляемых современностью. Связь между ближайшими событиями едва уловима, тем удивительнее взаимность отдаленного; и лишь тогда, когда обозреваешь долгую череду, не истолковывая всего буквально, но и не подменяя стройного течения путаницей своевольных домыслов, усматриваешь в былом и в будущем звенья сокровенной цепи и видишь, как слагается история из упования и воспоминания. Но только тому, для кого предыстория не канула в забвение, дано открыть простой устав истории. Нам доступны лишь приблизительные, удручающие формулы, и мы довольны, когда нам удастся хотя бы для себя самих подыскать сносное предписание, сколько-нибудь разъясняющее нам нашу собственную недолгую жизнь. Мне, пожалуй, позволительно утверждать: пристальное исследование жизни в разных судьбах всегда вознаграждается проникновенным, вечно новым удовлетворением, никакая другая мысль не возносит нас так высоко над мирским злом. В юности история возбуждает любопытство и читают ее для развлечения, как сказку; для зрелого возраста история — небесная утешительница и благожелательная наставница, которая своими мудрыми беседами бережно ведет нас к более возвышенному и более пространному поприщу, являя нам иной мир в отчетливых картинах. Церковь — жилище истории, кладбище — цветник ее символов. Писать историю подобает лишь богобоязненным старцам, уже изжившим свою собственную историю и уповающим только на то, что для них найдется место в цветнике. В таких писаниях не будет пасмурного уныния; напротив, луч свыше придаст всему вернейшее прекраснейшее освещение, и над этими таинственно-взволнованными водами будет носиться Святой Дух.

— Как справедливо и вразумительно вы говорите, — отозвался старик, — и вправду записывать бы прилежнее и достовернее все то, чем славится наше время; так писалось бы благочестивое завещание, предназначенное для будущего человека. А то мы изощряемся и печемся ради тысячи вещей, которые нас касаются куда меньше, и упускаем из виду неотложнейшее и существеннейшее: нашу собственную судьбу, судьбы наших присных, наших сородичей, хотя в этих судьбах и распознается тихая целенаправленность Провидения, но мы, насколько не тревожась, беззаботно позволяем всем следам исчезнуть в забвении. Может быть, потомки поумнеют и как святыхней научатся дорожить малейшим свидетельством бывлых свершений, не пренебрегая даже заурядной жизнью отдельного человека: и в таком зеркале бывает видна великая современность.

— К сожалению, — сказал граф фон Гогенцоллерн, — и те, кто берется записывать свершения и перипетии своего времени, не утруждают себя раздумьями о том, как лучше разрешить свою задачу, не пытаются придать своим свидетельствам законченность и соразмерность, а выделяют и сочетают разрозненное как бог на душу положит. Недолго удостовериться на собственном опыте: отчетливо и связно описываешь лишь то, что сам изведал, когда видишь перед собой истоки, череду подробностей, целенаправленность и предназначение; иначе вместо описания получится беспорядочное нагромождение недомолвок. Велите ребенку обрисовать машину, заставьте крестьянина рассказать о корабле, и, разумеется, никто не найдет в их словах никакого проку, ровным счетом ничего поучительного; так и большинство летописцев, среди них искушенные повествователи, прямо-таки удручают подробностями, опуская при этом как раз достопамятное, без чего история не история; и вместо восхитительного, назидательного целого остается множество бессвязных происшествий. Если толком все это обдумать, представляется, что историку нельзя не быть поэтом²⁶, так как никто, кроме поэта, не владеет искусством безошибочно сочетать события. В поэтических повествованиях и фантазиях меня всегда улаждала и умиротворяла отзывчивая чуткость, которой доступен таинственный дух жизни. Ученые хроники менее достоверны, чем такие сказки. Пусть лица со своими судьбами вымышлены, они вымышлены в таком духе, что сам вымысел приобретает естественность и достоверность. Когда урок радует нас, не все ли нам равно, существовали или нет лица, чья судьба так напоминает нашу. Мы жаждем постигнуть в исторических явлениях ясный возвышенный смысл, и, если наша жажда утолена, мы готовы пренебречь такими случайностями, как действительное существование внешних фигур, в которых этот смысл проявляется.

— Ради этого, — сказал старик, — и я с молодых лет питаю пристрастие к поэтам. Поэты помогли мне распознать ясность и наглядность жизни и мира. Сдается мне, к ним благоволят пронизательные духи света, которые дают себя знать в любом естестве, всех и вся различают, над каждым расстилая особый полог нежной раскраски. Я слушал песни поэтов и чувствовал, как мое естество начинает распускаться, подобно бутону; казалось, оно уже не сковано в своих движениях, наслаждается своей общительностью и влечениями, в тихом упоении трепещет всеми своими фибрами, вызывая тысячи сладостных ответных движений.

— Значит, и вашим краям не отказано было в счастье иметь своих поэтов? — осведомился отшельник.

— И нас посещали некоторые из них, только поэту, думается, всегда охота странствовать, и обычно они не задерживались у нас. Зато, когда сам я бродил по Иллирии, Саксонии и Швеции, я нередко сходилась с поэтами и память о них будет мне всегда отрадна.

— Вы столько странствовали в далеких краях, столько испытали; вам, конечно, многое запомнилось.

— Искусство наше едва ли не вынуждает нас исследовать обширные пространства на поверхности земли; можно подумать, что подземный огонь гонит горняка вдале. Одна гора указывает на другую. Всего не осмотришь, и весь век приходится осваивать чудотворное зодчество, на котором таинственно зиждется наша почва в своей соразмерности. Искусство наше древней древнего, куда только оно не проникло! Должно быть, зародившись на Востоке, оно, сопутствуя солнцу и всему нашему племени, перекочевало на Запад, укоренилось в средоточии, достигло крайних пределов. Всюду предстояло преодолевать новые препятствия, и, поскольку для человеческого духа всегда соблазнительны ухищрения изобретательности, кругозор горняка везде расширяется, сноровка везде оттачивается, так что обогащаешь свою родину полезными сведениями.

— Если можно так выразиться, вы астрологи наоборот, — сказал отшельник. — Если астрологи неустанно наблюдают небо, теряясь в его бесконечности, вы всматриваетесь в земную твердь, которую вы исследуете как некое здание. Астрологи постигают мощь и воздействие светил, вы обнаруживаете мощь утесов, гор, многообразное взаимодействие земной коры и каменистых недр. Астрологи читают в небесах грядущее, вам земля показывает реликты допотопного.

— Такое соответствие не случайно, — улыбнулся старик. — Светоносные провозвестники играли, быть может, главную роль в древнем действе, когда земля дивно созидалась. Дайте срок, может статься, их действенность лучше раскроет нам их природу. А их природа позволит нам лучше понять их действенность. Может быть, великие горные цепи следуют былому течению созвездий и, стремясь окрепнуть самобытно, искали в небе собственную дорогу. Иные горы уже сравнялись высотой со звездами, за что и поплатились, утратив зеленый наряд, в котором красуются не столь высокие области. Они приобрели такую цену лишь возможностью способствовать своим родителям, определяя погоду, то защищая своей пророческой сенью долины, то захлестывая грозами.

— С тех пор как я обосновался в этой пещере, — присовокупил отшельник, — я привык подолгу раздумывать о былом. Не берусь даже описать, как занимают подобные размышления, так что мне вполне понятна любовь горняка к своему ремеслу. Стоит мне взглянуть на эти диковинные древние кости, которые разбросаны здесь в таком ужасающем скоплении, стоит мне подумать о былой дикости, когда неведомые чудовища, теснясь целыми полчищами, повалили в эти пещеры, движимые неистовым страхом, чтобы здесь встретить свою гибель, стоит мне мысленно пойти еще дальше и достигнуть времен, когда эти пещеры вращались одна в другую, а земля была дном чудовищных вод, и кажется, будто сам я — дитя вечного мира, который грезится в грядущем. Какая тихая,

приязненная, нежная и просветленная нынче природа после тех неистовых, непомерных веков! Как теперь ни пугает гроза, как ни устрашает землетрясение, все это лишь смутные отголоски тех жутких родовых схваток. Надо полагать, и деревья, и звери, сами тогдашние люди, если только можно было встретить людей кое-где на островках в том океане, отличались более громоздким, кряжистым сложением; тогда, по крайней мере, старые предания о великанах имеют под собой кое-какую почву.

— Приятно видеть, — молвил старик, — это неуклонное умиротворение в природе²⁷. Везде можно наблюдать, как распространяется проникновенное сочувствие, обезоруживающее дружелюбие, живительное, подкрепляющее сближение, так что, по-видимому, хорошие времена будут сменяться лучшими. Правда, кое-где еще могут бродить прежние дрожжи, давая себя порою знать яростным буйством, но нельзя не видеть, как неодолимо влечет единение в стройном вольном согласии, дух которого скажется в самом неистовстве, и всякое буйство скоро минует, лишь приблизив эту великую цель. Допустим, природа устает плодоносить и не производит уже сегодня ни металлов, ни самоцветов, ни гор, ни утесов; растения и животные уже не поражают столь неудержимым ростом и мощью; по мере того как плодovitость убывает, растет искусство образовывать, облагораживать, сочетать; природа стала отзывчивее, нежнее, ее фантазия разнообразнее, щедрее на символы, а ее рука обретает легкость истинного искусства. Природа очеловечивается, и если прежде она была дикой горю, неумеренной в своих месторождениях, теперь она — тихое зиждательное растение, художница, немая в своей человечности. Да и зачем новые сокровища, когда они уже имеются в избытке бог весть на сколько времени! И ходил-то я не так уж много, а какие мощные залежи обнаружил чуть ли не с первого взгляда! Их разработка останется на долю потомства. Сколько кладов заключают в себе горы на Севере, какие благоприятные приметы обнадежили меня всюду на моей родине, в Венгрии, в предгорьях Карпат, в долинах среди утесов Тироля, в Австрии, в Баварии. Я бы разбогател, если бы мог унести с собой только то, что само шло мне в руки, отскакивая из-под моего молотка. Мне довелось повидать настоящие волшебные сады²⁸. Лучшие металлы блистали таким художеством, что просто загляденье. Серебро завивалось кудрями, ветвилось, на серебряных ветвях пламенели прозрачные рубиновые плоды, массивные деревья коренились в хрустале неподражаемой отделки. Едва верилось явному свидетельству собственных чувств; все блуждал бы да блуждал в этих очаровательных дебрях. Вот и теперь я странствую и сколько примечательного уже повидал, а ведь в других странах земля наверняка тоже изобильна до расточительности.

— Вне сомнения, — ответил неизвестный, — стоит лишь помыслить о сокровищах Востока, чтобы убедиться в этом, а разве отдаленная Индия, Африка, Испания не прославились уже в древности щедротами своих недр? Конечно, воину некогда присматриваться к жилам и расселинам гор, однако и меня занимали подчас эти проблески, удивительные бутоны, сулящие неведомый цветок и плод. Думал ли я тогда, при дневном свете весело минуя те сумрачные логова, что буду доживать свой век в глубине горы? Я гордо возносился над землей,

окрыленный моей любовью, и надеялся встретить в ее объятиях поздний закат моей жизни. Конец войны позволил мне вернуться на родину, и я, счастливый, уповал на усадительную осень. Но дух войны, казалось, одушевлял и мое счастье. Моя Мария на Востоке стала матерью. Двое наших детей²⁹ превратили нашу жизнь в радость. Но их цветенью повредило море и веянье сурового Севера. Едва мы достигли Европы, я через несколько дней похоронил их. Скорбный, вез я мою безутешную супругу в родные места. Не иначе, как нить ее жизни истлевала в тихой горести. Вскоре мне снова пришлось отправиться в дорогу, и, неразлучная со мною, как доселе, она вдруг скончалась кротко у меня на руках. Наше земное паломничество завершилось неподалеку отсюда. В тот же миг я принял решение. Я сподобился найти то, чего никогда не чаял обрести; божественный свет меня посетил, и с того дня, когда я собственноручно ее здесь похоронил, десница Всевышнего освободила мое сердце от печали. Потом я позаботился о надгробном памятнике. Мы склонны принимать начало за конец, моя жизнь подтверждает это. Молю Бога даровать вам всем такую блаженную старость и такой невозмутимый дух, как у меня.

Генрих вместе с кущами не упустил ни одного слова из этой беседы; в особенности Генрих, ощутивший что-то новое в сокровенном мире своих чаяний. То мысль, то слово западали в него плодотворящей, живительной пылью, и, стремительно преодолевая ограниченный круг своей юности, он уже предчувствовал высь вселенной. Часы остались позади него, как долгие годы, и он уже считал эти мысли и чувства своим исконным достоянием.

Отшельник пригласил их взглянуть на книги. Это были старинные хроники и поэтические сочинения. Генрих листал объемистые рукописи, украшенные рисунками, его любопытство сильно волновали короткие строки стихов, надписи, отдельные отрывки, изящная живопись, как бы слово, явленное кое-где во плоти, подспорье для читательского воображения. Отшельник, от которого не укрылся внутренний пыл Генриха, истолковывал юноше самое причудливое. Сражения, похоронные процессии, бракосочетания, тонущие корабли, пещеры и палаты, монархи, воители, духовенство, старцы, юнцы, чужеземцы в нарядах, свойственных им, невиданные твари чередовались и сопутствовали друг другу. Генрих не мог оторваться от книг, и над всеми его желаниями возобладало одно: не разлучаться с отшельником, покориться его неодолимому обаянию, внимать и внимать его дальнейшим толкованиям.

Старик между тем осведомился, кончатся ли пещеры этой; отшельник ответил, что с нею соседствуют другие, весьма обширные, и взялся проводить старика. Старик приготовился идти, отшельник же, видя, какое наслаждение доставляют Генриху книги, убедил юношу не ходить и полистать еще, пока они ходят. Генрих был рад не расставаться с книгами и сердечно поблагодарил отшельника за позволение. Он листал в ненасытном упоении. Наконец в руках у него очутилась книга на непонятном языке, в котором Генрих находил, однако, сходство с латынью и с итальянским. Он особенно сожалел о том, что язык ему неизвестен, так как был очарован книгой, хотя не мог разобрать в ней ни одного слога. Заглавия не было, однако попались рисунки. Генрих удивлялся, где он мог их видеть раньше; присмотревшись, он довольно ясно распознал себя самого

среди других обликов³⁰. Генрих вздрогнул, подумав, что бредит, однако, чем внимательнее он смотрел, тем отчетливее видел совершенное сходство, так что сомнений не оставалось. Генрих не верил собственным глазам, обнаружив на одном рисунке пещеру, отшельника, старика и себя вместе с ними. Среди рисунков оказалась уроженка Востока, мать, отец, ландграф и ландграфиня Тюрингские, его друг придворный капеллан, Генрих узнавал другие образы³¹, однако одежда на них была непривычная, словно все они жили в другом веке. Далее не всех он мог назвать по именам и все-таки узнавал их. Он являлся самому себе в различных обстоятельствах. В конце книги он обретал величие и знатность. Гитара покоилась у него в руках, и ландграфиня награждала его венком. Вот он принят при императорском дворе, вот он пылко обнимает стройную милую деву, вот он бьется с какими-то дикарями, вот он задушевно беседует с маврами и сарацинами. Он часто видел себя в обществе некоего величавого мужа³². Этот возвышенный образ внушал Генриху глубокое благоговение. И он был счастлив, когда рядом с ним находил себя. Дальше рисунки тускнели и расплывались, но он, пораженный, в глубоком восторге все-таки распознавал отдельные подробности своего сна; конец книги как будто отсутствовал. Это удручало Генриха; больше всего на свете желал он прочитать книгу и навсегда сохранить ее при себе. Снова и снова он вглядывался в рисунки и в смущении услышал, как возвращаются остальные. Безотчетный стыд охватил его. Он испугался, не бросилось бы его открытие в глаза другим, поскорее закрыл книгу и как бы между прочим спросил отшельника, какое у книги заглавие и что это за язык. Генрих узнал, что книга написана по-провансальски³³.

— Я читал ее, правда, очень давно, — ответил отшельник, — и порядком позабыл уже, в чем там суть. Помнится, это роман, и описывается в нем чудесная судьба поэта, а также в разных отношениях представлено и прославлено поэтическое искусство. Эта рукопись так и попала ко мне без конца, там, в Иерусалиме, где я унаследовал ее от моего покойного друга, чтобы сбересть на память.

Прощание растрогало Генриха до слез. Пещера много значила для него, и отшельник стал ему дорог.

Каждый сердечно обнял отшельника, которому все гости, кажется, тоже пришлось по душе. Генрих чувствовал на себе его благожелательный, испытующий взгляд. Особая значительность послышалась Генриху в прощальных словах отшельника. Он как будто догадался, что Генриху открылось, и намекал на это. Отшельник сопровождал их до самого выхода, где настоятельно просил всех, и особенно мальчика, не выдавать его местопребывание крестьянам, так как иначе ему не укрыться от назойливых посетителей.

Никто не отказал ему в таком обещании. Покидая пещеру, каждый вверил себя молитвам отшельника, на что отшельник молвил:

— Сколько бы времени ни прошло, мы снова встретимся, и наша нынешняя беседа вызовет у нас тогда улыбку. Сподобившись небесного дня, мы возрадуемся, вспомнив, как мы приветили друг друга среди дольних испытаний, когда сблизили нас наши чаяния и помыслы, эти ангелы, наши надежные проводники на земле. Не сводите с неба глаз, и вы всегда безошибочно найдете путь на родину.

В тихом умилении они оставили отшельника, разыскали вскоре своих боязливых спутников. Беседуя с ними, не скупилась на разные подробности, и сами не заметили, как воротились в деревню, очень обрадовав мать Генриха, которая едва дождалась его.

Глава шестая

Тому, кто рожден для предпринимательской деятельности, не терпится все испытать и все изведать на собственном опыте. Судьба таких людей — во всем участвовать самолично, преодолевать разные обстоятельства, до известной степени теряя чувствительность среди привычных впечатлений, сколько бы невиданного ни мелькало вокруг, и даже вопреки мощным потрясениям неуклонно держаться своей стези, упорно преследуя свою цель. Деятелям не подобает обольщаться посулами безучастного наблюдения. Зрелище, явственное лишь в самоуглубленности, противопоказано душе, чье призвание — беспрекословно, деловито и неукоснительно повиноваться рассудку. Такова доблесть, а вокруг нее всегда множатся задачи, требующие властного вмешательства. Любое происшествие под воздействием доблести превращается в свершение, и в жизни доблестного видны лишь вечные звенья: блистательные, незабываемые, непостижимые, неповторимые подвиги.

По-иному складывается судьба тех безвестных затворников, чья вселенная — чувство, чье деяние — прозрение, чья жизнь — чуть слышное созидание сокровенных начал. Никакая тревога не гонит их вовне. Они довольствуются мирным уделом, и непомерное внешнее действо не соблазняет их выступать на поприще, напротив, осмысленным чудотворством убеждает их, что стоит посвятить свою независимость сосредоточенному наблюдению. Взыскав духа в таком действе, они не могут не оставаться поодаль, и не кто иной, как сам этот дух, велит им представлять загадочное внутреннее чувство в этом очеловеченном космосе, тогда как вышеупомянутые деятели выступают в роли внешних органов, в роли ощущений и центробежных стихий.

Пестрота больших начинаний рассеивала бы внимание созерцателей. Они рождены для непритязательной жизни и разве только в повествованиях да летописях соприкасаются с неисчерпаемой сутью и неисчислимыми обликами мирского. Жизненная буря иногда захватывает их ненадолго благодаря какому-нибудь чрезвычайному обстоятельству, и тогда им самим дано глубже приобщиться к судьбе и натуре деятелей. Правда, обостренную чувствительность волнует малейший доступнейший проблеск, в котором едва брезжит перводанное величие мира, и каждый шаг для них — ошеломляющее открытие, так как на каждом шагу мир в них самих обнаруживает свою душу и свою мысль. Они поэты, эти избранные перелетные люди, изредка посещающие наши обитатели, чтобы повсюду возобновлять исконное человеческое богослужение, воздавая почести нашим первоначальным божествам: Светилам, Весне, Любви, Счастью, Плодородию, Здоровью, Радости; уже здесь поэты вкушают небесный мир и, свободные от нелепых вожелений, лишь впивают благоухание плодов земных, оставляя сами плоды нетронутыми, чтобы не обречь себя преисподней безвоз-

вратно. Вольные гости, они едва ступают своей золотой стопой, но, стоит им появиться, каждый в безотчетном порыве простирает свои крылья. Как благодетельный государь, поэт любит счастливыми светлыми лицами, и никто, кроме поэта, не достоин именоваться мудрецом. Если сопоставлять поэзию с доблестью, нетрудно убедиться, что песни поэтов часто пробуждали доблесть в юных сердцах, а доблестные деяния сами по себе вряд ли даруют непосвященной душе поэтическое призвание.

Генрих был поэтом от природы. Казалось, множество разных случайностей совпало, чтобы своим единением воспитать его, и до сих пор его внутреннее становление шло беспрепятственно. Ставни как будто одна за другой распахивались в нем от всего виденного и слышанного, являя новые окна. Перед ним простиралась жизнь в своих всеобъемлющих, переменчивых узах, пока еще безмолвная, так как речь, ее душа, не пробудилась. Уже не за горами был поэт со своей прелестной спутницей, готовый разными ладами, упоительной лаской поцелуя, отомкнуть робкие губы, чтобы простой аккорд развился в мелодиях, которым нет конца.

Между тем наши путешественники, целые и невредимые, достигли своей цели. Вечер застал их уже в городе Аутсбурге, славном на весь мир, и, предчувствуя новую радость, они устремились по улицам туда, где высился гостеприимный дом старого Шванинга¹.

Генрих залюбовался непривычными видами. Лихорадочная толчея среди громоздких каменных зданий смущала и зачаровывала. Про себя Генрих восторгался обителью, где ему предстояло гостить. После всех дорожных тягот мать Генриха с великим удовольствием узнавала свой милый родной город, уже готовая обнять своего отца и своих близких, которые, конечно, рады будут видеть ее сына, и ей самой удастся наконец забыть домашние хлопоты, на досуге задушевно вспоминая свое девичество. Купцы предвкушали здешние увеселения, а также торговые прибыли, ради которых стоило терпеть неудобства в пути.

Подъехав к дому старого Шванинга, они увидели яркий свет, и музыка радостно грянула им навстречу.

— Так и есть, — сказали купцы. — У вашего дедушки веселятся. Мы приехали в самую пору. Уж таких-то гостей ваш дедушка не ждал. Он даже не подзревает, какой праздник приближается.

Генрих оробел, мать заблаговременно оправляла свое платье, насколько это было возможно. Они спешили, купцы задержались подле лошадей, а Генрих с матерью вошли в дверь великолепного дома. Никого из домочадцев не было видно внизу. Просторная винтовая лестница вела наверх. По этой лестнице мимо них спешили слуги, которым они поручили передать старому Шванингу, мол, приезжие хотят сказать ему словечко-другое. Слуги не сразу согласились, путники на первый взгляд были неказистые, однако потом слуги вспомнили просьбу, и старый Шванинг не замедлил появиться. В недоумении он осведомился сперва, как величать их и по какому делу они приехали. Мать Генриха с плачем упала к нему на грудь.

— И вы больше не помните родной дочери? — воскликнула она, всхлипывая. — Вот ваш нук!

Старый отец, глубоко растроганный, надолго заключил дочь в свои объятия. Генрих преклонил перед ним колени, коснувшись губами его руки. Дед поднял внука, и сын вместе с матерью очутился у него в объятиях...

— Что же вы стоите здесь, — молвил Шванинг, — у меня там чужих нет. А свои все порадуются сердечно вместе со мной.

Мать Генриха замялась было в нерешительности, но не успела собраться с мыслями. Отец повлек их за собою в зал, празднично сверкающий под своими высокими потолками.

— Ко мне приехали дочь и внук из Эйзенаха, — раздался голос Шванинга в зале, где беззаботно сутились пышно разодетые гости.

Вошедшие привлекли всеобщее внимание, все поспешили к ним, даже музыканты перестали играть, и наши путешественники, еще покрытые дорожной пылью, не могли не растеряться, оказавшись в обществе, таком красочном, что в глазах рябило. Тысячи приветственных возгласов теснились на устах. Вокруг матери толпились прежние подруги. Расспросам не было конца. Каждому не терпелось напомнить о прошлом, обменяться приветствиями. Пока старшие наперебой обращались к матери, те, кто помоложе, пристально всматривались в приезжего юношу, а тот стоял потупившись и не отваживался ответить на взоры таким же любопытным взором. Дед представил внука остальным своим гостям и принялся расспрашивать его об отце и о том, не было ли каких-нибудь приключений в дороге.

Тут мать спохватилась: купцы со своей обычной обязательностью все еще присматривали на улице за лошадьми. Едва услышав об этом, старый Шванинг заторопил слуг: просите, мол, купцов сюда. Для лошадей нашлось помещение, и купцы пожаловали.

Оберегавшие дочь старого Шванинга в дороге, купцы выслушали его искреннюю благодарность. Многих гостей они встречали раньше, что придавало приветствиям непринужденность. Мать была бы рада переменить платье. Шванинг отправился в свои покои с нею и с Генрихом, который тоже был озабочен своим нарядом.

Среди всего общества особенно поразил Генриха некий муж², чей образ, помнится, часто сопутствовал ему в заветной книге. Этот величавый облик³ словно затмевал остальных. Дух бодрый и строгий угадывался в чертах его. Прекрасное, высокое, выпуклое чело, твердый взгляд больших черных, как бы всевидящих очей, что-то плутовское в уголках смеющегося рта и при этом выражение неотразимого мужества покоряли вещим обаянием. Спокойная сила проявлялась в каждом его движении; крепкий и статный, он был везде на своем месте, готовый занимать это место хоть целую вечность. Генрих обратился к деду с вопросом, кто он такой.

— Мне приятно, — ответил старик, — что он сразу же привлек твое внимание. Это Клингсор, поэт, мой прославленный друг. Гордись такой встречей; дружба Клингсора драгоценнее императорской приязни. Но где же твое сердце? Разве дочь его не прекрасна? Надеюсь, впоследствии ты предпочтешь дочь отцу. И ты проглядел ее? Удивляюсь, просто удивляюсь!

— Я же был в замешательстве, любезный дедушка, — оправдывался Генрих,

краснея. — Там столько разных лиц, и, признаюсь, я глаз не сводил с вашего друга.

— Это влияние Севера, — молвил Шванинг. — Мы отогреем тебя. У нас наверное ты научишься ценить прекрасные глаза.

Принарядившись, Генрих с матерью поспешили обратно в зал, где гости собирались ужинать. Старый Шванинг представил Генриха Клингсору, поведав своему другу, какое впечатление тот произвел на Генриха с первого взгляда и как жаждет Генрих покороче узнать его.

Чувствуя неловкость, Генрих не находил, что сказать. Клингсор обошелся с ним дружески, завел речь о родных местах Генриха и о краях, где Генриху довелось побывать.

В речах Клингсора слышалась такая сердечность, что юноша скоро осмелел и принялся беседовать как ни в чем не бывало. Немного погодя Шванинг вернулся к ним, на этот раз в сопровождении прекрасной Матильды⁴, сказав ей: «Не откажите моему застенчивому внуку в своем любезном участии. Уж вы извините: ваш отец очаровал его прежде вас. Юность в нем пока еще дремлет, но, поверьте, сияние ваших очей оживит ее. У этих северян весна поздняя».

Генрих и Матильда зарделись. Они переглянулись как бы в недоумении. Она тихо, почти невнятно пролепетала, нравится ли ему танцевать. Не успел он сказать ей «да», музыканты заиграли веселый танец. Генрих молча пригласил ее, их руки соединились, и еще одна пара начала вальсировать среди других пар. Шванинг и Клингсор были внимательными зрителями. Мать и купцы радовались, какой Генрих изящный и какая прелестная девица танцует с ним. Старые подруги не могли наговориться с матерью и не скупались на добрые пожелания: статный юноша подавал, по их мнению, наилучшие надежды.

Клигсор молвил Шванингу:

— Лицо вашего внука располагает к нему. Оно одушевлено чистым богатым чувством, и, кажется, само сердце говорит его голосом.

— Мне бы хотелось, — ответил Шванинг, — видеть его вашим достойным учеником. Я замечаю в нем поэтическое призвание. Да преисполнится он вашего духа! Он весьма напоминает мне своего отца, хотя как будто не столь горяч и своенравен. Тот в юности тоже подавал надежды, но ему вредила некая ограниченность. Слов нет, художник, трудолюбивый, искусный, но заурядный, того ли можно было ждать от него!

Генрих рад был танцевать без конца. Как ненаглядной розой он любовался тою, с которой танцевал. Ее чистые очи отвечали ему без всякой уклончивости. В пленительном девичьем облике как бы таился дух ее отца. Огромные безмятежные зеницы возвещали вечную юность. Темные звезды нежно лучились в светлой небесной голубизне. Лоб и нос оттеняли сияние своей благородной хрупкостью. Лилия клонится поутру навстречу солнцу; такой лилией был ее лик; тонкая шейка в своей белизне являла голубые жилки, прелестно вьющиеся возле милых ланит. Ее голосом эхо откликнулось бы издалека, и, как бы увенчивая на лету это легчайшее виденье, возникала темнокудрая головка.

Больше танцевать было нельзя: накрыли на стол; кто постарше и кто помоложе сели друг против друга.

Генрих не расстался с Матильдой. Слева от него сидела юная сродница, а прямо напротив него Клингсор. Если Матильда не отличалась говорливостью, тем разговорчивее была Вероника, сидевшая слева от Генриха. Вероника сразу завязала с ним короткие отношения, в нескольких словах описав каждого из гостей. Генрих слушал не очень внимательно. Впечатления танца не проходили, и вправо его влекло больше, чем влево. Клингсор, однако, прервал Веронику, осведомившись, что это за лента с таинственными письменами и почему Генрих украсил ею свой вечерний наряд. Генрих проникновенно поведал о деве с Востока. Матильда прослезилась, сам повествователь не без труда скрывал свои слезы. Зато теперь Матильда говорила с ним; все за столом оживилось. Вероника весело щебетала со своими подружками. Отцу Матильды случалось бывать в Венгрии⁵, и Матильда описывала Генриху эту страну, обрисовывала жизнь в Аутсбурге. Никто не скучал. Музыка победила чинную сдержанность и прельщала беззаботной утехой каждого, каковы бы ни были его склонности.

Ароматные цветы царили на столе во всем своем роскошестве; среди цветов и яств раздолье было вину, простиравшему свои золотые крылья, так что между гостями и остальным человечеством колыхалась красочная завеса. Впервые в жизни Генрих извещал тайну Праздника. Вокруг стола виделись ему тысячи непоседливых проказников-духов, безмолвно участвующих в человеческом веселье, как будто людская отрада — для них пропитание, а людское блаженство — хмель. Блаженство жизни представилось ему поющим деревом⁶, сплошь в золотых плодах. Зла не замечал он и не постигал, как людская склонность, отвращаясь от этого дерева, может предпочесть пагубный плод познания или дерево вражды⁷. Приобщившись теперь к вину и трапезе, он вкусил восхитительной сладости. Трапеза была сдобрена небесным елеем, и сама земная жизнь играла в кубке всем своим великолепием.

Шванинг принял новый венок, принесенный девушками, и, увенчанный, молвил:

— Того же заслуживает Клингсор, наш друг, раздобудьте для него венок, а мы с ним вознаградим вас новыми песнями. Уж за мною дело не станет.

Он махнул музыкантам рукой и во всеуслышанье запел:

Мы несчастные создания.
Разве нам не тяжело?
День за днем таить страданья —
В этом наше ремесло.
Притворяться мы устали,
Чтобы скрыть свои печали.

Нам любиться запрещает
Наблюдательная мать.
Плод запретный нас прельщает,
Вот бы нам его сорвать!
Видит юношу юница.
Ах, как сладко провиниться!

Мысли тоже под запретом?
Знает бедное дитя:
Можно лишь мечтать об этом,
Пошлин тяжких не платя.
Избежать нельзя соблазна,
Так что греза неотвязна.

Мы не спим в тоске глубокой,
Помолившись перед сном.
На постели одинокой
Страшно в сумраке ночном.
Нестерпимое томленье!
И зачем сопротивленье?

Нам велят хранить приличье.
Ох уж эти старики!
Зреют прелести девичьи
Всем застежкам вопреки.
Юной жизни проявленье
Это тоже преступленье?

Пренебречь надеждой нежной,
Избегать прекрасных глаз,
Быть холодной, быть прилежной,
Непреклонной напоказ,
Изнывать в уединенье, —
Что за жизнь в таком стесненье?

Нет с печалью нашей сладу;
Ноет сердце, жизнь пуста;
И целуют нас в награду
Полумертвые уста.
Не пора ль признать нам смело:
«Царство старых устарело!»

Старцы и юнцы ответили на песню дружным смехом. Девушки, краснея, отворачивались, чтобы скрыть улыбку. Подтруниваньям и поддразниваньям не было конца, но тут явился венок, предназначенный для Клингсора. Клингсор внял настоятельным просьбам не состязаться со Шванингом в нескромности.

— Нет, — ответил он, — у меня просто духу не хватит на людях разглашать девичьи тайны. Я спою песню по вашему заказу.

— Не любовную, нет, — кричали девушки. — Воспевайте вино, а впрочем, воля ваша!

Клингсор запел:

В горах зеленых бог рождается,
Нам приносящий небо в дар;
И солнце родичем гордится,
Младенцу свой вверяя жар.

Зачат весною нежным лоном,
Он зреет медленно потом
И под осенним небосклоном
Играет в блеске золотом.

Он в колыбели спит, послушный,
Растет в подземной тишине;
Он строит замок свой воздушный,
И торжествует он во сне.

Не приближайся к подземелью⁸,
Когда готов он сбросить гнет.
Взрывая собственную келью,
Он путы временные рвет.

Стоит у входа страж незримый,
Хранит его святые сны.
Назойливые пилигримы
Копьем воздушным пронзены.

Он словно крылья расправляет,
Зеницы светлые раскрыв:
Служить молебны позволяет,
Услышав горестный призыв.

В своем хрустальном одеянье⁹
Он покидает колыбель;
Несет он розы¹⁰, в них сиянье
Для всех народов и земель.

Всех утешает лучезарный,
Приверженцы повсюду с ним;
Народ ликует благодарный,
В сердцах восторг неизъясним.

Непостижимым излученьем
Он пронизывает этот мир;
Любовь таинственным влеченьем
Он залучил к себе на пир.

Избрал недаром он поэта,
Век возвещая золотой;
Не скроет вечного завета
Хмельной напев, напев святой.

Бог дал поэту разрешение
Уста прекрасные лобзать,
И для красавиц прегрешенье —
Поэту в этом отказать!

— Милый провозвестник! — отозвались девушки.

Шванинг был рад-радешенек. Девушки пытались отнекиваться, но напрасно. Им пришлось уступить, и он целовал их прямо в сладостные уста. Рядом с Генрихом сидела сама Строгость, и это несколько сковывало его, а то бы сам он громко прославил полномочия поэтов. Среди красавиц, подносивших Клингсору венки, была Вероника. Она весело заняла свое прежнее место и спросила Генриха:

— Везет этим поэтам, как по-вашему?

Вопрос был многообещающий, но Генрих не отважился извлечь из него то, что он сулил.

В душе Генриха разгульному задору противостояло благоговение первой любви.

Шалунья Вероника уже заигрывала с другими, и Генрих воспользовался этим, чтобы немного утишить свой праздничный пыл.

Матильда сказала, что умеет играть на гитаре.

— Ах! — воскликнул Генрих. — Если бы вы поучили меня! Я так давно мечтаю об этом!

— Я ученица своего отца. Никто не играет на гитаре лучше него.

— А по-моему, — ответил Генрих, — ваши уроки мне будут нужней. Ваши песни восхитили бы меня.

— Не разочароваться бы вам!

— О! — воскликнул Генрих. — Мои чаянья вполне оправданы: вы не говорите — вы поете; достаточно взглянуть на вас, чтобы постигнуть, какова горная музыка.

Матильда промолчала. Клингсор заговорил с ним, и Генрих отвечал с живейшей находчивостью. Окружающие диву давались, какой он речистый и какой картинностью блещет расточительное богатство его мыслей. Матильда не упускала ни одного слова и не сводила с Генриха глаз.

Она была явно увлечена его речью, которую как бы поясняли его преобразившиеся черты. Его глаза сияли несказанно. Время от времени он смотрел на нее, и она удивлялась, как много может высказать его лицо. Разгоряченный беседой, Генрих тайком завладел рукой Матильды, и она подчас не могла не пожимать его руки, так нравилось ей то, что он говорил. Клингсор знал, как продлить вдохновение, исподволь побуждая Генриха высказать всю свою душу. Наконец все пришло в движение. Гости роились подобно пчелам. Генрих не

покидал Матильды. Они уединились в сторонке. Генрих не выпускал ее руки и вдруг пылко припал к ее губам. Матильда не сопротивилась, ответив ему несказанно задушевым взглядом. Генрих не помнил себя; нагнувшись, он прильнул к ее губам. Этого она не ожидала, и, быть может, поэтому его пламенный поцелуй не остался без ответа.

— Матильда, ненаглядная!

— Генрих, дорогой! — Других слов они не нашли. Еще раз пожав ему руку, она исчезла среди гостей. Генрих не успел вернуться с небес на землю. К нему приблизилась мать. Он был с ней ласков, потому что сердце его было переполнено. Мать спросила:

— Как ты думаешь, мы не напрасно сюда отправились? Аугсбург тебе по душе, верно?

— Матушка, — молвил Генрих, — это превосходит все мои ожидания. Здесь настоящий рай.

Вечер продолжался среди неутомных увеселений. Старики были заняты игрой и беседой, а также любовались танцами. В зале бушевало чарующее море музыки, и юность хмелела, качаясь на этих волнах.

Чары неизведанного наслаждения заодно с первой любовью томили Генриха своими обетованиями. И Матильда вверилась обольстительной зыби, едва облекая легчайшей фатой свое сердечное расположение и растущую благосклонность. Наблюдательный Шванинг уже подшучивал над ними, видя, как завязывается будущий союз.

Генрих сразу пришелся Клингсору по душе, и он с удовольствием распознал его чувство. Оно не ускользнуло и от более юных глаз. Аугсбургская молодежь оценила успех своего тюрингенского сверстника и подтрунивала над скромницей Матильдой, не скрывая, что теперь сердцам привольнее, так как больше никого не стесняет присутствие неприступной свидетельницы.

На покой удалились лишь за полночь.

«Я пережил торжество, впервые пережил, однажды пережил, — говорил Генрих наедине сам с собой, стараясь не тревожить мать, нуждавшуюся в отдыхе. — Разве душа моя не так же волновалась, когда мне снился голубой цветок? Матильда и цветок, что за чудная общность между ними? Когда клонился ко мне цветок, среди лепестков я видел ее черты, небесные черты Матильды, и, помню, в книге они мне встречались тоже. Неужели мое сердце тогда промолчало? Дух песнопения мне явлен ею, так что видно, чья она дочь. Она всего меня растворит в музыке. Она, моя сокровенная душа, не даст погаснуть моему огню святому. Моя верность — это вечность во мне! Мое призвание — благоговеть перед нею, исполнять ее волю, разумом и чувством постигать ее. Единный смысл бытия не в том ли, чтобы видеть ее и чтить? Мне суждено блаженство быть ее зеркалом, быть эхом для нее? Недаром я узрел ее в конце пути и в торжестве отрадном жизнь моя сподобилась высочайшего мгновения. Как можно было не возликовать? При ней все торжествует».

Он глянул в окно. В небесном сумраке еще виднелась чередя светил, хотя вдали угадывался белый проблеск наступающего дня.

Преисполненный восторга, он произнес: «Вы, безмолвные скитальцы, вечные

светила, будьте свидетелями моего святого обета. Я готов отдать мою жизнь Матильде, чтобы верность навеки сочела наши сердца. Это мое утро, вечный день грядет. Ночи больше нет. Встает солнце, и ему посвящено мое саможжение, жертвенный пламень, который никогда не догорит».

В своем пылу Генрих долго не мог заснуть и забылся лишь к утру. Помыслы его души завершились дивными грезами¹¹. Полноводная голубая река¹² струилась, поблескивая, среди зеленых лугов. По зеркалу реки скользил челн. В челне он увидел Матильду, она держала руль. С безыскусной песней, разубранная венками, Матильда плыла мимо, устремив к нему сладостно-томительный взгляд. На сердце у него было тягостно. Генрих не ведал, что с ним такое. На небе ни облачка, на реке тишь да гладь. Река — зеркало, лицо Матильды как небо. Внезапно челн закружило. В страхе позвал Генрих Матильду. С улыбкой Матильда спрятала руль на дне челнока, а челн все не мог выправиться. Нестерпимая тревога напала на Генриха. Он поспешил на помощь к Матильде, но река противодействовала ему, течение подхватило его. Судя по жестам, Матильда обращалась к нему, челн уже зачерпнул воды, но Матильда вся сияла неопишуемой задушевностью, нисколько не боясь губительной пучины. И пучина поглотила ее. Ветер едва касался волны, река блистала и струилась как ни в чем не бывало. Жуткий страх омрачил ему разум. Сердце замерло в груди. Когда он очнулся, воды вокруг уже не было. Очевидно, течение унесло его в дальнюю даль. Отродясь не видал он таких мест. Что с ним совершилось, было ему невдомек. Память не возвращалась к нему. Он побрел, сам не зная куда. Страшное изнурение угнетало его. словно крошечный прозрачный колокол, ключ бил на склоне холма. Зачерпнув немного влаги, он поднес ладонь к своим запекшимся губам. Тягостной грезой таился в былом пережитой ужас. Генрих блуждал и блуждал. Речи цветов и деревьев оживили его. Он воспрянул духом, как будто вернулся в родные места. Вновь донеслась безыскусная песня, он ловил этот напев на бегу, пока чья-то рука не остановила его, вцепившись в одежду.

«Генрих, дорогой». — Как мог он забыть этот голос! Он оглянулся, и вот уже он в объятиях Матильды. «Ты хотел покинуть меня, возлюбленный мой? — спросила она, с трудом переводя дух. — Нелегко мне было тебя настигнуть!»

Генрих не мог удержаться от слез, обнимая ее.

«Куда девалась река?» — вскричал он.

«А как по-твоему, чьи голубые волны над нами?»

Он глянул в небо и вместо небес увидел тихое течение голубой реки.

«Куда мы попали, Матильда, любимая?»

«Мы в пределе родительском».

«И мы не разлучимся?»

«Никогда», — ответила она. Их губы слились, она прильнула к нему, и уже ничто не могло расторгнуть эти узы. Она вверила его устам чудесное сокровенное слово¹³, пронизавшее всю его душу. Он бы ответил ей этим же словом, но дед окликнул его и разбудил. Генрих не пожалел бы всей своей жизни, лишь бы вспомнить это слово.

Глава седьмая

У своего ложа Генрих увидел Клингсора, который дружески приветствовал его. Встрепенувшись, Генрих обнял Клингсора.

— Это не вас он обнимает, — заметил Шванинг.

Генрих скрыл невольную улыбку и краску смущения, целуя мать в обе щеки.

— Вы не откажетесь разделить со мною завтрак в окрестностях города на живописном взгорье? — сказал Клингсор. — Утро великолепное, прохлада улаждает. Собирайтесь! А то Матильда давно готова.

Восхищенный Генрих рассыпался в благодарностях. С неподдельным пылом прильнул он к руке Клингсора и не заставил себя ждать. Они присоединились к Матильде, которая была еще лучше в будничном утреннем платье. Она приветливо поздоровалась с Генрихом. Одна рука Матильды была занята кошелкой, где находился завтрак, другую руку она без малейшего стеснения подала Генриху. Клингсор сопровождал их. Миновав город, уже охваченный дневным возбуждением, они достигли небольшой возвышенности над рекой, откуда под сенью могучих деревьев можно было любоваться необозримой далью.

— Хотя природа, — вскричал Генрих, — и до сих пор баловала меня своей красочностью, как добрая соседка, не скрывая различных своих богатств, такой плодотворной, такой неподдельной душевной ясности я еще не ведал. Как будто во мне самом эти дали, а вся эта великолепная окрестность — как будто моя же сокровенная греза. Внешность природы вроде бы прежняя, а сама природа такая разная. Как она преобразается, когда нам сопутствует ангел или некий дух могущественнее ангела; как не похожа тогда природа на ту, которая с нами, когда мы внимаем изливаниям страдальца или сетованиям крестьянина, обиженного погожими днями, так как всходы требуют скорее сумрачного ненастья. Вы, любезный учитель, даровали мне это блаженство; иначе не скажешь: блаженство. Невозможно выразить лучше то, что затаено во мне. Отрада, упоенье, восхищенье — всего лишь органы блаженства, приобщающего их к таинствам горней жизни.

Всем своим сердцем ощутил он руку Матильды, утопив огонь своего взора в отзывчивом спокойствии ее очей.

— Наше чувство, — ответил Клингсор, — относится к природе, как свет к веществу. Вещество сопротивляется свету, чьими преломлениями обусловлены различные цвета; свет вспыхивает на поверхности или в глубине вещества, и, если свет равен мраку, он пронизывает вещь; если же свету дано превозмочь мрак, излучение распространяется, просвечивая другие глубины. Впрочем, не бывает непроницаемого мрака, которого не преодолели бы вода, огонь и воздух, насытив глубину светом и сиянием.

— Я усвоил ваш урок, дорогой учитель. Наше чувство проникает людей, как свет проникает кристаллы. Естество людей прозрачно. Вас, любезная Матильда, я бы уподобил драгоценному сапфиру чистой воды¹. Как ясное небо, вы благоприятствуете взору, и нет ничего нежнее вашего света. Но, дорогой учитель, согласитесь ли вы со мной: сдается мне, чем глубже мы соприкасаемся с природой, тем безусловней пропадает охота и возможность о ней поведать.

— Тут следует различать², — ответил Клингсор. — Природу можно чувствовать и наслаждаться ею, но для нашего рассудка и целенаправленного миропорядка природа совсем другая. Опасно увлекаться одной из этих двух природ в ущерб другой. Такая обедняющая односторонность частенько встречается. Но ведь обе стороны сочетаются друг с другом, и, только найдя такое сочетание, человек благоденствует. К сожалению, сплошь и рядом люди даже не догадываются, какое это искусство: свободно двигаться внутри себя самих, в соответствующем разграничении, безо всякого насилия, разумно освоив стихии собственной души. Иначе эти стихии привыкают друг другу противодействовать, так что в конце концов устанавливается неуклюжая косность и, когда человек нуждается во всех своих способностях, дело не идет дальше разброда и распри, пока все не рухнет в хаотическом нагромождении. Со всей настоятельностью советую вам исследовать ваш рассудок и ваши природные склонности, чтобы вы могли старательно и прилежно поддерживать закономерную последовательность и равновесие между ними. Не могу себе представить поэта, который не постиг бы природу каждого занятия, не научился бы добиваться своего сообразными способами и, сохраняя присутствие духа, не предпочитал бы наиболее умственные и действенные из них. Вдохновенное безрассудство бесплодно и пагубно, и поэт едва ли сотворит чудеса, если сам он дивится чудотворству.

— Но разве можно быть поэтом, не полагаясь на человечность судьбы?

— Нельзя, что и говорить, ибо для зрелой мысли поэта невозможна судьба, лишенная человечности, однако счастливая готовность полагаться на судьбу не имеет ничего общего с пугливой подозрительностью, с гнетущим страхом незрячего суеверия.

Поэтическое чувство освежает, согревает, бодрит, и в этом смысле оно несовместимо с горячным иступлением, от которого сердце изнемогает. Иступление проходит быстро и бесследно, оно обедняет и отупляет; поэтическое же чувство четко обрисовывает свои проявления, благоприятствует формированию различных отношений, само себя увековечивает. Трезвое самоохладжение — вот в чем всегда нуждается молодой поэт. Настоящее мелодическое излияние свойственно всеобъемлющему, сосредоточенному, умиротворенному чувству. Разнуданный вихрь в сердце, лихорадочный озноб вместо осмысленной сосредоточенности раздражаются бессвязным бредом. Запомните: истинное чувство словно свет, умиротворенное, отзывчивое, эластичное, вездесущее, неуловимое в яственной своей действительности, как сам драгоценный свет, чья утонченная соразмерность не пренебрегает ни одной вещью, позволяя всему и всем выступить в чарующей самобытности. Природа поэта — подлинный металл, отвечающий на малейшее прикосновение как стеклянное волокно и при этом несокрушимый, подобно неотесанному кремню.

— Мне случалось уже замечать, — молвил Генрих, — в минуты, когда я уходил в себя, жизненность моя меньше сказывалась и давала себя знать скорее тогда, когда я просто бродил по своей прихоти, занимаясь то тем, то другим. Тогда-то во мне и обострялось нечто духовное, и я мог располагать всеми моими мышлениями, оборачивая мою мысль и так и эдак, словно мысль моя действительно воплотилась, с какого края ни возьми. Я задерживался у отца в мастер-

ской, испытывая тихую причастность к работе, очень довольный своей сноровкой, когда мне удавалось пособить отцу, удачно завершить его изделие. Умение влечет и подкрепляет на свой неповторимый лад, и вправду, когда сознаешь свою сноровку, удовлетворение устойчивее, отчетливее и, стало быть, предпочтительнее захлестывающего, неизъяснимого, беспредельно восхищающего наития.

— Поверьте мне, — ответил Клингсор, — я не против наития, только не надо накликать его, пускай оно само посетит вас. Такие посещения желательны, если редки: учащаяся, они гнетут и обессиливают. Торопитесь избавиться от упоительного дурмана, которым они сменяются; не мешкая, возвращайтесь к повседневным прилежным занятиям. Так рассвет прельщает нас грезами, чье коло-вращение глубже погружает нас в сон, и нужно стряхнуть этот сон во что бы то ни стало, иначе разморит истома и весь день потом уже не преодолеть мучительной усталости.

Поэзия, — добавил Клингсор, — по существу своему не допускает никаких прегрешений против своего строгого устава. Когда поэзия — просто удовольствие, поэзии больше нет. Поэту не подобает без дела скитаться целыми днями, не подобает подстерегать картины и ощущения. Так поступать — значит идти наперекор поэзии. Откровенное ясное чувство, изощренная мысль, острая наблюдательность, навык, сочетающий все способности в длительном, отрадном взаимодействии, — таковы предпосылки нашего искусства. Если вы подчинитесь моему руководству, ни одного дня не минет без того, чтобы вы не углубили своего жизненного опыта или не усвоили бы что-нибудь поучительное. В городе много всяких искусников. Здесь можно встретить просвещенных людей, сведущих и в государственных, и в торговых делах. Здесь недолго изучить все сословия и промыслы, все отношения и правила человеческой общежительности. Мне будет приятно наставлять вас в нашем искусстве, как в ремесле; мы вместе перечитаем превосходнейшие манускрипты. Матильда тоже учится, и вы могли бы учиться с нею, а в том, что касается игры на гитаре, она, конечно, не откажется стать вашей учительницей. Уроки будут выгекать один из другого, и, стоит вам вполне использовать прожитый день, вечерние развлечения, дружеские беседы, живописные окрестности всегда вознаградят вас отрадной новизною.

— Что может быть лучше жизни, которую вы мне сулите, любезный учитель! Когда бы не ваша наука, я не распознал бы возвышенного удела, который влечет меня, но я не смею уповать на успех без ваших наставлений.

Клигсор сердечно обнял Генриха. Матильда подала им завтрак, и Генрих вполголоса осведомился, по душе ли ей будет его присутствие на уроках и не возьмет ли она его в учение.

— Я бы остался вашим учеником на веки вечные, — молвил он, пока Клигсор глядел в другую сторону.

Матильда украдкой придвинулась к юноше и вся вспыхнула в его объятиях, слабеющими губами отвечая на его поцелуй. Тихо высвободившись, она, милая в своем изяществе, как дитя, протянула ему розу со своей груди и как бы спохватилась, вспомнив о своей кошелке. Генрих в безгласном восторге любовался девушкой; сначала поднес розу к своим губам, потом украсил ею грудь, он обратился в сторону Клигсора, взиравшего на город с высоты.

- Какой дорогой вы ехали сюда? — спросил Клингсор.
- Вон взгорье, через которое мы перевалили. За ним простираются дали, где таится наша дорога.
- Вы повидали много прекрасного.
- Почти на всем своем протяжении дорога была живописной.
- Местоположение вашего города, наверное, не хуже?
- Наши окрестности могут развлечь, но они еще не возделаны, и там нет большой реки, а без потоков земля как без глаз.
- Приятно было слушать, — молвил Клингсор, — как вы вчера вечером описывали свое путешествие. Не иначе, как дух поэтического искусства был вашим дружелюбным проводником. Ваши дорожные собеседники едва ли догадывались, что это он говорит в них. Вблизи поэта поэзия бьет ключом везде. Колыбель поэзии, Восток³, оваял вас упоительным романтическим томлением; с вами говорила война в своем неистовом великолепии; природа явилась вам в образе горняка, а история в образе отшельника.
- Вы не упоминаете драгоценнейшего, любезный учитель, — небесное явление любви. В вашей власти даровать мне его навеки.
- Ты согласна? — воскликнул Клингсор, глядя на подошедшую Матильду. — Готова ли ты стать вечной подругой Генриха? Твой ответ — мой ответ.
- Потрясенная Матильда спряталась в объятиях своего отца. Генрих трепетал в беспредельном ликовании.
- Пожелает ли он остаться со мною навеки, любимый отец?
- Он сам тебе скажет, — молвил растроганный Клингсор.
- Да ведь моей вечности не было бы без тебя, — вскричал Генрих, оросив слезами свои цветущие щеки. Слова сменились объятием. Клингсор прижал молодых к своей груди.
- Дети мои! — произнес он. — Храните ваши узы вопреки самой смерти. Что же такое вечная поэзия, если не жизнь в любви и верности!

Глава восьмая

После обеда, пока мать и дед продолжали сердечно радоваться счастью Генриха, благословляя в лице Матильды его хранительную судьбу, Клингсор уединился в своих покоях со своим новым сыном и предложил ему посмотреть книги. Потом они заговорили о поэзии.

— Не понимаю, — молвил Клингсор, — почему сплошь и рядом приписывают природе поэзию, как будто природа — сочинительница. Между тем природа поэтична лишь время от времени. Природа подобна человеку, и в ней враждебно поэзии многое: затхлая похоть, неповоротливое оцепенение, косность упорно противоборствуют поэзии. Право, стоило бы воспеть это великое противоборство. Иные земли, иные века, да и люди, по большей части, как бы всецело поработаны противниками поэзии, тогда как в своих родных пределах поэзия сказывается во всем. Эпохи подобного противоборства — вот история; запечатлеть их — задача соблазнительная и многообещающая. Этим эпохам свойственно порождать поэтов. Когда поэзия превращает неприятеля в лицо

поэтическое, он терпит унижительнейший урон и частенько, перепутав оружие в разгаре боя, страдает от своей собственной отравленной стрелы, а поэзия, раненная поэзией, быстро исцеляется, хорошеет и крепнет!

— Во всякой войне, — заметил Генрих, — действует, по-моему, поэзия. Люди воображают, что им надлежит биться за какое-нибудь ничтожное приобретение, а воителями втайне движет романтический дух¹, искореняющий в них зловерные пороки. Вооружаются ради поэзии, и оба стана осенены одною и той же незримою хорутвью.

— Война бывает, — ответил Клингсор, — когда всколыхнется изначальная стихия. Новые материки, новые племена — детища великого потопа. По-настоящему воюют лишь за веру, за нее войны готовы пасть — вот он, совершенный образ человеческого иступления. Отсюда распри, прежде всего распри народов, это уже доподлинная поэзия. Вот настоящее поприще для доблести, а доблесть — тот же возвышенный поэтический гений в своем роде, игра вселенских начал, в которых сама поэзия. Гений в сочетании с доблестью — удел вестника Божьего², такого героя наша поэзия пока еще не достойна.

— Как это понимать, дорогой отец? — сказал Генрих. — Неужели бывают явления, слишком величественные для поэзии?

— Вне всякого сомнения. Впрочем, лучше сказать, не для самой поэзии, а для наших человеческих дарований и устремлений. Не только всякий поэт вынужден довольствоваться своим природным даром, не смея притязать на большее (иначе ему грозит падение и удушение), для самого человеческого творчества существует известный предел живописуемого, за которым искусство теряет необходимую насыщенность и отчетливость, расплываясь в зыбкой, призрачной небыли. Всего опаснее такие поползновения в годы ученичества, когда безудержная мечта слишком легко прельщается запредельным в дерзкой погоне за сверхчувственным и невыразимым.

Зрелость убеждает нас в том, что следует остерегаться недостижимого и не стоит соперничать с философами, которые заняты выявлением простейшего и высочайшего. Искушенный жизнью поэт предпочитает в своем парении не превышать предела, позволяющего наглядно расположить благоприобретенное изобилие, всячески придерживаясь этого изобилия, откуда можно извлекать различные предметы, руководствуясь необходимыми вехами сравнений. Я бы позволил себе даже утверждать, что в поэзии всегда нужен хаос³, пронизывающий пелену равномерной гармонии. Сокровища вымысла занимают и радуют лишь в ненавязчивом сопоставлении; голая правильность ничуть не лучше математической таблицы. Совершеннейшая поэзия около нас, и она частенько облюбовывает заурядные предметы. Поэт никогда не отделяет поэзии от ограниченных средств, которыми поэзия располагает: иначе поэзия не была бы искусством. Да и человеческая речь сама по себе не выходит за пределы известного круга. Язык отдельного народа еще ограниченнее. Поэт осваивает свой язык на опыте и в раздумии. Поэт, которому ведомы возможности языка, достаточно умен для того, чтобы не насиловать язык в поисках невозможного. Как можно реже стягивает он словесные стихии воедино, чтобы не изнурить языковую мощь, злоупотребляя напряжением, восхитительным, когда оно уместно. К словесным

изыскам привержен лишь тот, кто горазд морочить простаков; это недостойно поэта. Всякому поэту следовало бы пойти в науку к музыкантам и живописцам. Живопись и музыка свидетельствуют о том, что нельзя расточать художественные приемы, что надлежащая выучка сказывается в чувстве меры. Зато другие художники были бы нам обязаны, переняв нашу внутреннюю свободу, сокровенную суть всякого творчества, нашу фантазию, всегда благоприятную для искусства. Они нуждаются в поэтичности, мы в музыкальности и в живописности, разумеется, сообразно с требованиями и особенностями нашего искусства.

Искусство определяется не своим предметом, а самим собою. У тебя будет случай убедиться, когда тебе лучше поется: конечно, тогда, когда воспеваешь то, что сам изведal и пережил. Отсюда явствует, что вся поэзия в пережитом. Сам помню:⁴ чем отдаленнее и неведомее был предмет, тем больше хотелось мне петь о нем в юности. К чему же это приводило? К пустопорожнему, напыщенному словесному убожеству без малейшего поэтического проблеска. Вот почему сказка требует величайшего искусства и, как правило, не удается молодому поэту.

— Послушать бы мне одну из твоих сказок, — молвил Генрих. — До сих пор я слышал сказки не часто, но всегда с неизъяснимым удовольствием, даже совсем незатейливые.

— Будь по-твоему, но дождемся вечера. Я еще не забыл одной сказки, сочиненной мною давно, так что молодость отчетливо запечатлелась в ней, но тем лучше: моя сказка, надеюсь, послужит тебе и развлечением и уроком; в ней ты найдешь подтверждение моим словам.

— Речь, — заметил Генрих, — это поистине малая вселенная в звуках и в знаках. Так же, как речью, человек не прочь располагать большой вселенной, рад бы без всякого стеснения выразить себя в ней. Через вселенную раскрыть запредельное — вот порыв, определяющий наше существование, вот упоение, которым живет поэзия⁵.

— Немалый вред, — отвечал Клигсор, — заключается в особом наименовании «поэзия», как и в том, что поэтическое ремесло отъединяет поэтов от остальных людей. Поэзия не есть что-то особенное. Человеческий дух действует именно через поэзию. Разве найдется в человеческой жизни минута, когда человек не был бы поэтом и созерцателем? — Матильда появилась, как бы предвзято следующие слова Клигсора: — Вот любовь, например. Она явственнее всего показывает, что без поэзии не было бы человечества. Любовь немая, у любви нет голоса, кроме поэзии. Или вообще любовь — та же поэзия, только поэзия высокая, природная. Но стоит ли растолковывать вещи, в которых ты осведомленнее меня?

— Разве любовь — не твоя дочь? — воскликнул Генрих, привлекая Матильду к себе, и они вместе склонились к руке Клигсора. Обняв их, Клигсор удалился.

— Матильда, любимая, — молвил Генрих, заключив этими словами долгий поцелуй, — боюсь, не грезится ли мне, что ты моя, но как мне поверить, что могло быть иначе!

— Не знаю, — ответила Матильда, — было ли время, когда ты был мне незнаком.

— И ты можешь любить меня?

— Кто мне скажет, что значит любить, но, поверь мне, моя жизнь словно только что началась, и ты мне так дорог, что ради тебя я готова тотчас умереть.

— Лишь в этот миг, моя Матильда, я почувствовал, что мы бессмертны.

— Генрих, любимый, какой ты хороший! Что за неведомый дух в тебе вещает? Куда мне, бедной, до тебя!

— Как мне стыдно это слышать! Только благодаря тебе стал я самим собой. Когда бы не ты, меня бы не было. Что такое дух без неба, а мое небо, моя опора и моя опора — ты.

— Как я была бы счастлива, если бы ты мог хранить верность, подобно моему отцу. Моя мать умерла, едва я родилась, и после ее смерти, наверное, не прошло ни одного дня, чтобы отец не плакал о ней.

— Надеюсь быть счастливее, хотя не стою такого счастья.

— Я сама предпочла бы не покидать тебя подольше, Генрих, дорогой мой. Тогда мне бы удалось перенять больше твоих достоинств.

— Ах, Матильда, сама смерть не разорвнит нас.

— Конечно, Генрих, там, где я, тебя не может не быть.

— Да, где бы ты ни была, Матильда, там я останусь вечно с тобою.

— Для меня вечность непостижима, но, сдается мне, вечность осеняет меня, когда ты в моих мыслях.

— Да, Матильда, вечность нам дарована любовью.

— Ты представить себе не можешь, любимый, как, вернувшись нынче поутру, я упала на колени перед образом Богоматери; не нахожу слов, как я проникновенно молилась. Я думала, что вся растаю в собственных слезах. Мне виделась ее улыбка. Так вот что значит испытывать благодарность!

— Любовь моя, небо ниспослало тебя мне, чтобы я тебя чтил. Я благоговею перед тобой. Ты моя святыня, через тебя доходят до Бога мои мольбы, в тебе говорит Бог со всей Своей неисчерпаемой любовью. Глубочайшая гармония, нерасторжимый союз любящих сердец — разве не в этом религия? Он же там, где двое сошлись⁶. Мне нужна целая вечность, чтобы тобой надышаться; грудь моя вовеки не насытится твоим духом. Ты божественное совершенство, нескончаемая жизнь таится в твоей красоте.

— Ах, Генрих, тебе ведомо, на что обречена роза: прижмешь ли ты, ласковый, как бывало, к своим устам увядшие уста и отцветшие ланиты? Не остается ли один и тот же след, когда приходит старость и уходит любовь?

— О, когда бы в моих глазах тебе было видно мое сокровенное чувство! Но твоя любовь не может сомневаться во мне. Когда я слышу, будто прелести не вечны, это для меня непостижимо. Нет, бывают вечные цветы. То, что меня постоянно притягивает к тебе, вызывая неутолимое желание, не связано со сроками нашей жизни. Когда бы ты распознала, в каком образе ты мне явлена, какое чудесное сияние торжествует в твоём облике, везде приветствуя меня, ты не боялась бы годов. Твой дольний облик — лишь твоя земная тень. Стихии здешнего в своем борении цепляются за эту тень, потому что природа еще не готова, однако таинственный целительный рай уже начал открываться мне, явив твою изначальную вечность⁷.

— Правда, дорогой Генрих! И я, глядя на тебя, испытываю то, о чем ты говоришь.

— Да, Матильда, мы привыкли думать, что горный мир от нас гораздо дальше, тогда как мы обитатели горного мира и созерцаем его уже здесь в сокровенном единении с нашим дольным естеством.

— Сколько еще чудес возвестишь ты мне, возлюбленный!

— О Матильда! Я возвещаю лишь то, что ты внушаешь мне. Тебе принадлежит все то, что я могу назвать своим; твоя любовь посвящает меня в таинство жизни, и мне открывается в глубине души святая святых; какие вдохновения сулишь ты мне! Кто знает, не окрылит ли нас наша любовь пламенем, чтобы нам вознестись в нашу горнюю обитель, пока старость и смерть еще неведомы нам. Как же не верить мне в чудеса, если ты моя, если я прижимаю тебя к своей груди и твоя любовь готова разделить со мной вечность?

— Для меня сейчас тоже все достоверно. Нет сомнений, что-то беззвучно во мне пламенеет; может быть, наше грядущее преображение уже сжигает земные тенья. Но ответь мне, Генрих, близка ли я тебе так же, как ты мне близок? Ты мне ближе всех, ближе отца моего, а ведь мой отец был мне дороже всего на свете.

— Матильда, любимая, как мне больно оттого, что я не в силах высказаться, раз и навсегда вверив тебе мое сердце. Впервые в жизни я открываю всю свою душу. Ничто во мне больше не укроется от тебя; волей-неволей разделишь ты любое мое ощущение, любой мой помысел. Невозможно будет различить нас в нашем единении. Моя любовь жаждет вся предаться тебе, больше ничто не утолит ее. В этом-то и таится любовь. Она непостижимо сочетает сокровеннейшее в тебе и во мне.

— Генрих, еще никто никого не любил такой любовью.

— Просто некого было так любить. Матильды ведь не было.

— Да и Генриха тоже.

— Ах, поклянись же мне снова остаться моею навсегда! Любовь не боится повторов.

— Да, Генрих, клянусь вечно тебе сопутствовать, как незримо сопутствует мне моя добрая мать.

— И я навеки твой, Матильда, клянусь любовью, в которой вечно сопутствует нам Бог.

Долгим объятием, бесчисленными поцелуями скреплены были сладостные узы, навсегда сочетавшие любящих.

Глава девятая

Вечером в дружеском кругу дед поднял тост за здоровье помолвленных и заверил, что свадьба будет знатная и долго ждать ее не придется.

— Зачем откладывать? — молвил старик. — Раньше жениться — дольше любить. Я всегда замечал: в семейной жизни всех счастливее те, что рано поженились. Брак требует умиления, на которое способна только юность. Разве могут разлучиться сердца, разделившие друг с другом свою блаженную весну? Память — надежнейшая почва для любви.

После трапезы общество умножилось. Генрих на правах сына напомнил Клингсору, что тот обещал. Тогда заговорил Клингсор:

— Нынче я посулил Генриху сказку и, пожалуй, расскажу ее, если вы расположены слушать.

— Генрих знал, что попросить, — ответил Шванинг. — А то мы уже стосковались по вашему искусству.

Все разместились вокруг жаркого камелька, Генрих рядышком с Матильдой, обвив ее стан рукою. Сказка началась.

«Нескончаемая ночь едва-едва воцарилась. Древний Витязь¹ огласил безлюдную глушь городских переулков звоном своего щита. Щит прозвенел троекратно, возвещая время. Тогда внутренний свет оживил огромные расписные окна дворца, пробуждая изображения на стеклах. Они постепенно оживлялись в разгорающемся красноватом сиянии, освещающем город. Даже громоздкие столпы и стены уже выступали из мрака; наконец они окунулись в незамутненную млечную голубизну, безмятежно играя своими оттенками. Теперь была видна вся окрестность; светящиеся облики, толчея копий, мечей, щитов, шлемов, которые со всех сторон кланялись коронам, возникающим то здесь, то там, и наконец вместе с ними отступили, образовав необозримый хоровод вокруг простого зеленого венка, — все это повторялось в ледяном зеркале моря, среди которого город вознесся на своей горе, и вдали до самого своего сердца кротко зарделись другие высокие горы, обрамлявшие море. Никто не распознал бы отдельных звуков; только неопикуемый шум доносился, как будто вдали работала чудовищная мастерская. Зато город явственно распознавался в своем освещении. Зеркально-гладкие стены были достойны очаровательных лучей, падавших на них, так что чертоги обнаруживали в своем стройном сочетании дивную соразмерность изысканного зодчества. У каждого окна совершеннейшие образцы гончарного искусства были украшены прелестным блеском разнообразнейших цветов: это расцвели кристаллы льда и снега.

Особенно хорош был обширный сад², разбитый прямо перед дворцом; под сенью металлических ветвей виднелись хрустальные стебельки; там счесть не было цветам-самоцветам и плодам-бриллиантам. Все это красочно светилось, не скупясь на обольстительные проблески, так что глаз нельзя было отвести, и оживленную красоту в средоточии сада увенчивал своей высью весь ледяной водомет. Древний витязь неторопливо ходил у дворцовых врат. За вратами послышался голос, назвавший древнего витязя по имени. Тот всем телом прильнул к вратам; врата растворились, покорно зазвучав, и древний витязь очутился в зале. Свой щит он держал перед глазами.

— Тебе все еще ничего не открылось? — скорбно молвила красавица, дочь Арктура³.

Она покоилась среди шелковых подушек на троне; тронном служил крупный кристалл серы, замысловато отделанный; усердные прислужницы растирали ей тело такое нежное, как будто в млечной белизне растворился пурпур. От этих участливых прикосновений тело красавицы дивно лучилось, освещая своим чарующим сиянием дворец и всю окрестность. Ароматный ветер веял в зале. Витязь безмолвствовал.

— Позволь мне коснуться твоего щита, — тихо молвила она.

Он остановился у самого трона, где был разостлан драгоценный ковер. Завладев его рукою, она нежно поднесла ее к своей божественной груди и потрогала его щит. Раздался звон доспехов; тело витязя исполнилось одушевляющей мощи. Очи его вспыхнули, и сердце явственно отозвалось в своих латах. Красавица Фрейя просияла, и с новым жаром распространились ее лучи.

— Государь близко, — человеческим голосом возвестила ненаглядная птица⁴, обитавшая в укромном уголке трона.

Прислужницы окутали принцессу тканью небесной голубизны, прикрыв своей повелительнице грудь. Опустив свой щит, витязь всматривался в купол, с которым зал сообщался двумя большими винтовыми лестницами. Сначала послышалась негромкая музыка, потом в куполе можно было видеть короля с целым сонмом придворных; монарх не замедлил спуститься со своей высоты в зал.

Чудесная птица распростерла свои ослепительные крыла и, плавно колебля ими, встретила короля своим пением, достойным тысячеголового хора:

Нас посетит прекрасный странник вскоре,
Мир будет вскоре вечностью согрет;
Земля растает, и оттаит море,
Проснется королева, будет свет;
Ночь ледяная минет, минет горе,
Вновь Муза восстановит свой завет;
И в лоне Фрейи мир воспламенится,
Разрозненное вновь соединится.

Король заключил дочь в свои объятия. Вокруг трона возникли духи светил, среди них витязь встал там, где ему надлежало. Зал едва вмещал звезды, так сочетавшиеся друг с дружкой, что просто загляденье. Служительницы поставили перед королем столик и ковчежец, где было видимо-невидимо листков; созвездия угадывались в глубокомысленных, чудодейственных письменах. Король трепетно подносил к своим устам эти листки, потом тщательно перетасовал их, протянув своей дочери некоторые из них. С другими король не расстался. Принцесса брала свои листки один за другим и раскладывала их на столике, а король, внимательно всматриваясь в свои, подолгу раздумывал, прежде чем положить на столик еще один. Порой, казалось, некая сила заставляла короля предпочесть определенный листок остальным. Однако то и дело король с нескрываемым удовольствием наблюдал, как стройно располагаются знаки в предначертаньях, потому что очередной листок достигал своей цели без промаха. С самого начала все присутствующие страстно увлеклись этой игрой, о чем свидетельствовало выражение их лиц и необычные жесты, как будто каждый ревностно трудился, не выпуская из рук незримого инструмента. Между тем в воздухе не смолкала музыка, приглушенная, но проникновенная; это звезды как бы звучали, обвивая друг друга в таинственном ритме общего возбуждения. Звезды шевелились, стремились, то чуть заметно скользили в неуловимых направлениях, с несравненным искусством следуя под музыку предначертани-

ям листов. В своей причудливости музыка не отставала от образов, чередующихся на столике, но вопреки диковинным диссонансам и частым шероховатостям целое угадывалось в бесхитростной согласованности. Соответствие между звездами и образами с непостижимой быстротой возобновлялось и возобновлялось. Звезды то перевивались между собою в необозримом единении, то вдруг выступали отдельными привлекательными сонмами, то нескончаемая череда рассеивалась, подобно лучу, мириадами блесков, то круги постоянно ширились, контуры вырисовывались, образуя великое, поражающее сочетание. Красочные облики на стеклах застывали в это время. Роскошное оперенье птицы непрерывно кольхалось, щеголяя всеми своими оттенками. Древний витязь наравне с другими был занят своей невидимой работой, когда раздался ликующий голос короля:

— Все к лучшему, Железо, метни свой меч, дабы вселенная постигла, где обитель мира!

Витязь выхватил меч, висевший у него на поясе и, как бы намереваясь потрогать острием небо, метнул меч в распахнутое окно. Над городом и надо льдами кометою пронесся меч, рассекая воздух, и, должно быть, раскололся, врезаясь в скалу: вспыхнув с пронзительным звоном, вдали разлетелись осколки.

В это время красавец Эрос⁵ еще безмятежно дремал в своей люльке, а Джиннистан⁶ его нянчила, качая люльку и давая грудь Музе⁷, молочной сестре Эроса. Над люлькой она разостлала свой красочный шарф, чтобы младенца не разбудила своим резким светом лампа Переписчика. Переписчик писал как ни в чем не бывало⁸, только иногда сердито косился на детей и бросал на кормилицу злобные взгляды, а та молча отвечала на них приветливой улыбкой.

Отец то появлялся, то снова исчезал⁹, выразив Джиннистан свое сердечное расположение. Он беспрестанно давал указания Переписчику, а Переписчик, заполнив очередной листок, вручал его госпоже¹⁰, чье божественное происхождение было сразу же заметно; облокотившись на жертвенник, госпожа безмятежно улыбалась и глаз не сводила с темной чаши, где светилась влага. В эту влагу она окунала листок за листком, потом извлекала их и, убедившись, что некоторые знаки не только не расплылись, но, напротив, ярко сверкают, возвращала листок Переписчику, тот присовокуплял его к толстой книге, частенько хмурясь, так как его старания далеко не всегда вознаграждались: сплошь и рядом все бывало смьто. Иногда госпожа оглядывалась на детей и на Джиннистан, погружала персты в чашу и брызгала на них влагой, причем, едва брызги попадали в кормилицу или в ребенка, начинала струиться голубая дымка, в которой виднелись тысячи диковинок, неотвязных во всех своих превращениях. Если же хоть одна из брызг задевала Переписчика, градом сыпались цифры и геометрические фигуры¹¹, которые Переписчик прилежно подбирал, чтобы повесить бусы на свою высохшую шею. То и дело навевалась мать Эроса, сама миловидность и нежность. Нельзя было сказать, что она сидит сложа руки; как рачительная хозяйка, она брала то одно, то другое; ворчун Переписчик недоверчиво косился на нее, и, когда новая пропажа не ускользала от его бдительного взора, он раздражался многословными обвинениями, но никто его не слушал. Эти неуместные придирки явно всем приелись. Мать дала свою грудь ма-

лютке Музе, но ненадолго: ее окликнули, и дитя, снова оказавшись на попечении Джиннистан, сосало куда охотнее. Внезапно вошел отец с гибкой железной спицей¹², которая попала ему во дворе. Переписчик стал мудрить над спицей, расторопно вращая ее так и эдак; Переписчик не замедлил установить, что, подвезанная посередке, спица на весу норовит указать на север. Джиннистан в свою очередь занялась этой спицей, испытала ее гибкость и прочность, дохнула на нее, и спица превратилась в змею, неожиданно ужалившую себя в хвост¹³. Переписчику спица уже наскучила. Во всех подробностях предал он бумаге свои выводы, распространяясь о том, какова, по его мнению, пригодность этой новинки. Переписчик не мог скрыть своего раздражения, когда его начинание было посправлено, так как влага вернула бумаге прежнюю белизну. Между тем кормилица не расставалась со своей игрушкой. Иногда она трогала ею люльку, так что младенец постепенно пробудился, сбросил свои пеленки, одной рукою как бы прогоняя докучный свет, другой рукою лова змею. Овладев змеею, он рванулся из люльки так стремительно, что Джиннистан отпрянула в страхе, а пораженный Переписчик едва усидел на своем месте; отрок, облаченный лишь золотом своих волос, остановился посреди покоя, с несказанным восторгом любуясь драгоценной своей добычей, которая простерлась в его дланях к северу, как бы вызывая в нем бурный порыв. Никто не успел заметить, как младенец вырос.

— София, — обратился он задушевно к прекрасной госпоже, — позволь мне напиток из чаши.

Не заставив себя долго просить, она подала ему чашу; он пил и все не мог напиться, а в чаше, казалось, влага не убывала. Наконец он отдал чашу, сердечно обняв прекрасную госпожу. Он приласкался к Джиннистан и получил от нее красочный шарф, которым пристойно опоясался. Маленькую Музу он принялся качать. Крошка сразу же залепетала, почувствовав к нему сердечную привязанность. Джиннистан увивалась вокруг него. Игривая и привлекательная, она льнула к нему с пылкостью невесты. Таинственным шепотом она манила юнца за собой в другие покои, однако София строгим взглядом смутила ее, напомнив ей про змейку; мать возвратилась, юнец бросился к ней с радостным плачем. Рассерженный Переписчик исчез. Явился отец и, пока сын с матерью ничего не замечали в своем тихом объятии, подкрался, не теряя времени, к пленительной Джиннистан, которая не оттолкнула его. София направилась вверх по лестнице. Маленькая Муза вооружилась пером Переписчика и попробовала писать. Мать и сын были поглощены негромкой беседой; отец поспешил уединиться с Джиннистан в соседнем покое, чтобы она помогла ему своими ласками забыть будничные заботы. Немало времени прошло, пока София снова не спустилась вниз. Переписчик был тут как тут. Отец покинул укромный покой, чтобы вернуться к своим занятиям. Когда Джиннистан вошла, щеки ее все еще горели. Переписчик не потерпел, чтобы маленькая Муза занимала его место; он долго бранился, устраняя беспорядок в своих письменных принадлежностях. Переписчик протянул Софии листки, исписанные Музой, так как ему нужна была чистая бумага; он вконец разгневался, когда София вернула ему рукопись, которая не только не расплылась, но ярко засияла, омытая в чаше. Муза ласкалась к своей матери, та дала ей грудь, подмела покои, проветрила их, распахнув окна,

и накрыла на стол, расставляя роскошные блюда. В окне виднелись живописные окрестности, над которыми голубое небо раскинулось как шатер. Отец во дворе не ленился. Когда утомление давало себя знать, он устремлял свои взоры к окну, где мог видеть Джиннистан, которая потчевала труженика сладостями. Сын с матерью тоже присоединились к нему, чтобы пособить везде, где нужно, готовясь осуществить задуманное. Переписчик скрипел пером и постоянно кривился, вынужденный задавать вопросы Джиннистан, чья безупречная память хранила все события. Эрос вышел, блистая своим вооружением; цветной шарф он теперь носил как перевязь; юнец обратился к Софии с просьбой о напутствии. Переписчик с непростительной навязчивостью предлагал уже обстоятельный план путешествия, но присутствующим было не до него.

— Тебе незачем задерживаться, Джиннистан тебе будет сопутствовать, — ответила София. — С ней не заблудишься, она везде своя. Джиннистан обернется твоей матерью¹⁴, чтобы ты ею не прельстился. Когда встретишь короля, не забудь обо мне; я твоя скорая помощница.

Джиннистан отбывала в образе матери, мать оставалась в образе Джиннистан, против чего отец отнюдь не возражал. Переписчика вполне устраивало расставание с этими двумя; он с особым удовольствием присвоил записи Джиннистан¹⁵, где во всех подробностях была прослежена история этого дома; теперь только маленькая Муза мозолила ему глаза, и ему нечего было бы больше желать, если бы она тоже присоединилась к путникам, оставив его в покое. София дала свое благословение коленопреклоненным и наполнила для них сосуд влагою из чаши: мать была очень удручена прощанием. Маленькая Муза предпочла бы тоже пуститься в путь; у отца было столько дел во дворе, что все остальное не особенно беспокоило его. Путники отбыли, когда стемнело; месяц уже взошел.

— Дорогой мой Эрос, — молвила Джиннистан, — поторопимся, ведь мой отец меня заждался; он так долго грустил по мне, обследуя всю землю в напрасных поисках. Смотри, как исхудал он, как потускнел его лик! Ты подтвердишь ему, что это я, хоть я и предстану перед ним не в своем обличии.

Любовь идет ночным путем¹⁶
И светит Месяц ей;
В убранстве праздничном своем
Открылся мир теней.

Облачена в голубизну
С каймою золотой,
Спешила в дальнюю страну
С причудницей мечтой.

Душою движет смутный жар,
И сквозь ночную мглу
Ее влечет грядущий дар
В таинственном пыли.

Нахмутив мрачное чело,
Не ведала Тоска,
Что время скорбное прошло:
Любовь недалека.

Малютке-змейке север мил,
Нет лучше проводниц;
Далекий путь не утомил
Обеих чаровниц.

Прошли пустыню наконец,
И расступилась мгла.
С Любовью рядом во дворец
Дочь Месяца вошла.

На троне Месяц тосковал,
Нахмутив скорбный лик.
Узнал он дочь, возликовал,
Счастливым, к ней приник.

Умиленный Эрос был свидетелем этой счастливой встречи. Старец наконец подавил свое волнение и оказал Эросу гостеприимство, затрубив со всей силой в свой большущий рог. Могучий призыв потряс вековую твердыню. Дрогнули островерхие башни, пламенеющие маковки, невысокие темные крыши. Твердыня осталась незыблемой вблизи заморских гор. Отовсюду стекалась челядь. Диковинные лица и одежда несказанно забавляли Джиннистан, а смельчак Эрос нисколько их не боялся. Джиннистан рада была встретить своих прежних приближенных; все обнаруживали перед ней новый блеск и новую мощь своего естества. Неистовая стихия прилива уступила место тихому отливу. Вековечные вихри льнули к бьющемуся сердцу пылких, порывистых землетрясений. Ласковые дожди любовались цветной радугой, которая меркла в разлуке с желанным солнцем. Гром ворчливо порицал шальные выходы сполохов, увлеченных бесчисленными тучками, которые толпились тут же, своими чарами без конца разжигая и прельщая юных обожателей. Обаятельные сестрицы, вечерние и предутренние сумерки, не могли вдоволь намиловаться с нашими путешественниками, блаженно плача у них в объятиях. Весь этот причудливый королевский двор¹⁷ являл собою неопишное зрелище. Престарелый король очей не сводил со своей дочери. Она сама блаженствовала в родимой твердыне, упиваясь редкостными достопримечательностями, памятными ей. Ее радость не знала границ, когда отец позволил ей отпереть сокровищницу и позабавить Эроса игрой¹⁸, пока условный знак не возвестит ему, что пора в путь. Сокровищницей оказался необозримый вертоград, изобильный и роскошный сверх всякого вероятно. Среди чудовищных туч не было числа воздушным замкам; они затмевали друг друга красотою своего ошеломляющего зодчества. Там паслось множество ненаглядных ярок; где серебряное, где золотое, где розовое руно; рощу населяли невиданные твари.

Здесь и там возникали примечательные образы; торжественные процессии, невиданные выезды наблюдались всюду, так что зритель не успевал за ними уследить. На клумбах красовались разные цветы. В кладовых едва умещались различные доспехи, ценнейшие ковры, ткани, пологи, чаши; изделиям и снастям счету не было. Прямо перед зрителями возвышалась целая романтическая страна, где теснились города, крепости, храмы, усыпальницы, а красоту возделанных долин дополняло жуткое обаяние безлюдных дебрей и горных круч. Невозможно было распределить цвета удачнее. Лед и снег настоящей иллюминацией вспыхивали на горных пиках. Долины зеленели, улыбаясь. Даль облеклась переменчивой голубизною; над морем в тумане трепетали разноцветные вымпелы многочисленных кораблей. Корабль тонул в открытом море, а на берегу поселяне благодушествовали за своей трапезой; вдалеке ужасало своей красотой извержение вулкана или опустошительное землетрясение, а вблизи под сенью деревьев блаженствовали влюбленные. На склоне горы жестокое сражение, а под горою сцена, где мельтешат уморительные личины. Поодаль юная покойница в гробу; гроб обнимает юноша, не находя утешения; отец с матерью рыдают рядом; а вдалеке красавица подносит младенца к своей материнской груди; ангелы сидят у ног ее и любят ее, порхая среди ветвей. Картины без конца преображались, и вместо них уже шла единая великая мистерия. Вездесущая буря потрясла небо и землю до самых оснований. Отовсюду лезли страшилища. Громовой голос возвещал битву. Скелеты с черными стягами, рать, наводящая ужас, надвигались грозовой тучей с мрачных скал, застывая врасплох жизнь, чьи молодые силы беспечно торжествовали на безоблачных просторах, не предвидя опасности. Началось жуткое противоборство, земля содрогнулась, вихри завывали, падучие звезды прорезали ночь своими зловещими вспышками. С невероятной свирепостью войско упырей истребляло живых, терзая беззащитные тела. Языки огня рванулись ввысь; пламя бушевало с диким ревом, испепеляя рожденных жизнью. Внезапно из-под сумрачного пепла хлынули млечно-голубые воды; распространяясь повсюду.

Перепуганная нежить попыталась было скрыться, однако наводнение не щадило омерзительного исчадия, настигая беглецов. Скоро никаких страшилищ не осталось. Земля и небо растворились в отрадной музыке. Чудо-цветок плавал, блистая на нежных волнах. Над водами возникла ослепительная арка; по обоим ее краям виднелись великолепные троны, достойные своих богоподобных обладателей. С чашей в руке выше всех сидела София, а рядом с ней царственный муж, чьи кудри были увенчаны дубовой листвой; пальма мира заменяла в его деснице скипетр. Чашечка плавучего цветка осенена была листом лилии; сидя на этом листе, маленькая Муза вторила струнам арфы задушевнейшим пением. Среди лепестков почил юная красавица, обняв навеки своего возлюбленного, который клонился к ней: это был сам Эрос. Соцветие поменьше опоясало обоих, словно два тела выше чресел образовали один цветок.

Эрос в своем восторге не скупился на благодарности. Пылко привлек он к себе Джиннистан, а та даже не подумала отстраниться. Изнуренный дорожными тяготами и разнообразными впечатлениями, Эрос хотел отрадной неги. Джиннистан, весьма прельщенная его юношеской красотой, не предложила ему утолить жажду влагой из сосуда¹⁹, подаренного Софией. Джиннистан указала

Эросу в сторонке место, где лучше выкупаться, и помогла юноше освободиться от доспехов, чаруя его своим причудливым ночным убором. Эрос нырнул в коварные глубины, откуда возвратился как во хмелю. Когда Джиннистан выгнала его насухо, юность взвырала в нем со всей своей силой. Возлюбленная привиделась ему, и в упоительном безумии он обнял прелестную Джиннистан. Беспечно уступил он своему неистовому пылу и, утешенный всеми прелестями своей спутницы, задремал наконец у нее на груди.

Между тем дома все изменилось к худшему. Переписчик вовлек челядь в свои тайные козни. Неприязненный исподтишка давно готовился прибрать к рукам дом и выйти из повиновения. Переписчик улучил наконец такую возможность. Сперва его приспешники лишили свободы Мать, наложив на нее железные оковы. Отец тоже угодил в заточение, где его держали на хлебе и воде.

Возня за стеной насторожила маленькую Музу. Спрятавшись за жертвенником, она заметила дверцу сбоку, второпях отворила ее и нашла лестницу, ведущую под жертвенник. Маленькая Муза не забыла захлопнуть за собой дверцу и начала во мраке спускаться по ступенькам. Разъяренный Переписчик вбежал, намереваясь свести счеты с маленькой Музой и схватить Софию. Ни той, ни другой найти не удалось. Чаша тоже отсутствовала, и взбешенный Переписчик ударил по жертвеннику, который разлетелся на тысячу осколков, хотя ступени так и не открылись.

Немало времени спускалась маленькая Муза. Наконец лестница вывела ее на простор, где гордо высились колоннада. Исполинские ворота были заперты. Очертания распознавались благодаря своему сумраку. Казалось, вместо воздуха простиралась необозримая тень; в небе виднелось черное, лучащееся тело. Предметы были видны совершенно отчетливо, потому что каждое очертание чернело по-своему, наделенное своим особенным отсветом; казалось, тень выступает здесь вместо света, а свет вместо тени. Этот неведомый мир понравился Музе. Она улавливала все его приметы, как любопытное дитя. Потом она приблизилась к воротам, где, лежа на массивном постаменте, красовался сфинкс²⁰.

— Чего ты ищешь? — молвил сфинкс.

— Свое достойное, — отвечала Муза.

— Откуда ты?

— Я посланница старины.

— Ты еще мала...

— И никогда не повзрослею.

— Кто за тебя?

— Я сама за себя. Сестры где? — молвила Муза.

— Их нет, и они повсюду, — произнес в ответ Сфинкс.

— Ты узнаешь меня?

— Нет еще.

— Где Любовь?

— Там, где Фантазия.

— А где София?

Ответ Сфинкса был неразборчив, только его крылья зашумели.

— София и Любовь! — раздался победный клич Музы, перед которой распахнулись ворота.

Она очутилась в чудовищной пещере и весело приблизилась к древним се-
страм²¹, занятым своими таинственными трудами при черном свете убогого ноч-
ника. Они старались не замечать своей маленькой гостью, а та усердствовала,
прилежно к ним ласкаясь. Наконец одна буркнула с перекошенным лицом:

— Зачем ты здесь околачиваешься, бездельница? Почему тебя не задержа-
ли? Ты здесь озорничаеть, так что вздрагивает слабый огонек. Масло расходует-
ся впустую. Неужели ты не можешь сесть и чем-нибудь заняться?

— Прелестная кузина, — молвила Муза. — Праздность мне совсем не по вку-
су. Признаюсь, ваша привратница²² рассмешила меня. Ей так хотелось прижать
меня к своей груди, но, должно быть, она чересчур плотно покушала и, право
же, тяжела на подъем. Что, если я сяду к двери и начну прясть? Здесь мне тем-
но; к тому же такая пряха, как я, болтушка и певунья, — плохая соседка для
вашего глубокомыслия.

— Отсюда тебе не уйти, но там, за стенкой, сквозь толщу свет пробивается
сверху, вот и поработай там, если ты такая мастерица. Тут страшно много ста-
рых концов, попробуй спрясть их, только смотри не отвлекайся: если ты пре-
рвешь нитку, остальные нитки тебя опутают и удавят. — Старуха за своей пря-
жей коварно захихикала.

С полными горстями ниток, с прялкой и веретеном обосновалась Муза в
уголке, отведенном ей. Она прильнула к щелке: над ней взошло созвездие Фе-
никса. Хорошее предзнаменование²³ приободрило Музу; с легким сердцем при-
нялась она прясть и запела вполголоса у приоткрытой двери:

Вам в кельях спать негоже,
Рассвет развеял сны;
Пора покинуть ложе
Вам, дети старины!

Все ваши нитки нужно
Мне воедино свить,
Чтоб сочетались дружно,
Одну составив нить.

Один во всех таится,
Быть всем в одном дано;
И сердце не двоится:
На всех оно одно.

Подобны вы химере,
Лишь призрак, лишь душа;
Играйте же в пещере
Святых старух страша!

Маленькие ноги Музы были заняты веретеном, не затихавшим ни на миг, в то
время как ее ручонки сучили тонкую нить. Пока она пела, можно было видеть

множество проблесков, через приоткрытую дверь проникавших в пещеру, чтобы там сновать в мерзких обличьях. Сердитые старухи покуда работали в ожидании, когда маленькая Муза отчаянно завизжит, но как же они всполошились, когда кто-то, встав позади них, сунул прямо в пряжу свой жуткий нос; достаточно было бросить взгляд вокруг, чтобы убедиться: пещера кишмя кишит отвратительными образинами, с которыми сладу нет. Перепуганные старухи дико заголосили, вцепившись одна в другую; они превратились бы в камень со страху, когда бы в этот миг не ворвался Переписчик и не принес корень мандрагоры²⁴. Проблески притаились в расщелинах, и пещера ярко осветилась, потому что черная лампа в сутолоке опрокинулась и погасла. Старухи воспрянули духом, увидев Переписчика, но маленькая Муза навлекла на себя их гнев. Они потребовали ее к себе в пещеру и зловеще прохрипели, чтобы она не смела больше пряхть. Переписчик издевательски посмеивался, уверенный, что Музе теперь от него не ускользнуть.

— Приятно видеть, — говорил он, — что ты теперь знаешь свое место и даже научилась прилежанию. Уж здесь-то тебе спуску не дадут. Тебе просто посчастливилось попасть сюда. Живи подольше и побольше радуйся.

— Ты мой известный доброжелатель, и я тебе очень благодарна, — отвечала Муза. — Вид у тебя самый преуспевающий. Тебе бы песочные часы да косу, тогда бы и ты выглядел как ближайшая родня моих прелестных кузин. Хочешь моток мягчайшего гусяного пуха? У них на щечках его вдоволь, знай себе щипи.

Казалось, Переписчик приготовился напасть на нее. Она предостерегла его, усмехнувшись:

— Если ты дорожишь своей прекрасной шевелюрой и смьшленными очами, будь осторожен: не забудь, что я царапаюсь, а у тебя больше ничего нет.

Подавляя бешенство, Переписчик обратился к старухам, которые то протирали себе глаза, то пытались нащупать свои веретена. При погасшей лампе поиски были напрасны, и старухи отводили душу, проклиная Музу.

— Пошлите-ка ее, — посоветовал коварный Переписчик, — на охоту за тарантулами, тогда вам будет чем заправить вашу лампу. Могу вас обрадовать: Эрос мечется без отдыха, так что вашим ножницам не придется бездействовать. Его мамаша то и дело принуждала вас продлевать ваши нити, завтра ее ждет костер.

Увидев, что Муза не смогла удержать слез при последних его словах, Переписчик щекоткой вызвал у себя смех, оделил старух мандрагорой и, задрвав нос, удалился. Сестры, ворча, отправили Музу на поиски тарантулов, хотя масло еще далеко не иссякло, и Муза поспешила прочь. С нарочитой громкостью она распахнула ворота, так что они с грохотом затворились, а сама украдкой проскользнула в задний угол пещеры, где таилась лесенка, ведущая наверх. Муза цепко взобралась по ступенькам и быстро достигла крышки, открыв которую оказалась в палатах Арктура.

Муза увидела короля, восседавшего в кругу своих советников²⁵. Северный венец сиял у него на челе. В левой руке у него была лилия, в правой весы. Орел и лев охраняли его стопы.

— Монарх! — молвила Муза с благоговейным поклоном. — Твоему незыблемому трону упрочиться! Твоему страждущему сердцу вновь утешиться! Мудрости скорее возвратиться! Вечному миру проснуться! Мятущейся Любви успоко-

иться! Сердцу человеческому восторжествовать! Былому воскреснуть, осуществиться грядущему!

Король тронул ее ясное чело своей лилией:

— Проси и обрящешь!

— У меня три просьбы. Если я появлюсь в четвертый раз, значит, Любовь у порога. Теперь мне нужна лира.

— Эридан²⁶, подай лиру, — велел король.

Журча, хлынул сверху Эридан, и в его сияющем потоке Муза нашла лиру. Пророчески зарокотали струны, когда Муза коснулась их; по слову короля, Музе поднесли кубок; она пригубила и, очень благодарная, поспешно удалилась. Муза пересекла скользкое ледяное море прихотливыми плавными прыжками-взлетами, а струны весело звучали, послушные перстам.

Лед отвечал на прыжки торжествующим звоном. Вняв этому звону, Скала Печали откликалась на тысячи ладов: она думала, что это на обратном пути кричат ее дети, чьи поиски увенчались успехом.

Муза быстро достигла побережья. Там она увидела свою мать²⁷, которая как будто исхудала и побледнела, обрела степенную статность и некое величие, а в тонких чертах ее лица угадывалась безысходная скорбь и умиленная преданность.

— Что с тобой сделалось, милая матушка? — молвила Муза. — По-моему, ты очень изменилась. Только сокровенная примета убедила меня в том, что это ты. Я все ждала, что твоя грудь подкрепит меня; я так долго томилась по тебе.

Джиннистан сердечно пригрела ее, отзывчивая и просветленная.

— Я сразу подумала, — ответила она, — Переписчику тебя не изловить. Встреча с тобой целительна для меня. Мне худо, я совсем оскудела; однако вознаграждение не за горами. Я надеюсь хоть немного отдохнуть. Эрос недалеко; когда он тебя узнает, расскажи ему что-нибудь, пусть он задержится хоть немного. А пока иди ко мне; я покормлю тебя, чем могу.

Она взяла маленькую Музу на руки, та с удовольствием прильнула к материнской груди, а Джиннистан, поглядывая на нее с улыбкой, говорила:

— Это из-за меня Эрос такой буйный и переменчивый. Но я, признаться, не сожалею о том, что было: в его объятиях я обрела бессмертие²⁸. Я боялась растаять от его любовного пыла. Горний насильник, он словно хотел заклевать меня, дерзко насладившись трепетом своей жертвы. За кошунственными восторгами последовало запоздалое пробуждение, и оба мы таинственно переменились. Длинными серебристыми крылами облеклись его белые плечи, его прелестное, пышное, гибкое тело. Изобильная мощь, которая, вдруг забив ключом, увлекла его из отрочества в юность, вся как будто устремила в ослепительные крыла²⁹, и снова вышел из юноши отрок. Безмятежное сияние лика было подменено неверным проблеском блуждающего огня, божественная сдержанность — коварной скрытностью, умиротворенная значительность — прихотливым ребячеством, возвышенное изящество — озорной неприкаянностью.

Я не на шутку прельстилась шаловливым отроком, а он мучил меня язвительной холодностью, пренебрегая моими трогательнейшими мольбами. Я сама заметила, что я стала другая. Беззаботную просветленность омрачила тревож-

ная печаль и привязчивая застенчивость. Я жаждала уединиться с Эросом в тайном убежище, где бы никто не видел нас. Не смея заглянуть в его глаза, уничтожившие меня, я, посрамленная, испытывала нестерпимый стыд. Ни о ком другом я не помышляла, и я охотно пожертвовала бы жизнью, лишь бы он испривился. Он не щадил моих чувств, а я не могла разлюбить его.

С тех пор как он расстался со мной, пустившись в путь вопреки моим горючим слезам и жалобным увещаниям, я повсюду пытаюсь догнать его. Он, кажется, так и норовит поглумиться надо мной. Стоит мне приблизиться, он, лукавый, ускользает от меня на своих крылах. Его лук всем причиняет бедствия. Я не успеваю утешать страдальцев, а меня утешить некому. Я слышу печальные зовы и узнаю, где пролетел он, а когда мне надо спешить к другим скорбящим, горькие жалобы покинутых мною поражают меня в самое сердце. Переписчик бешено злобствует в погоне за нами и в отместку терзает страждущих. Порождение той непостижимой ночи — целые полчища маленьких причудников³⁰, чья внешность и прозвание напоминают их деда. Унаследовав от своего отца крылья, они не отстают от него, жестоко истязают всех беззащитных, пронзенных отцовской стрелой. Но вот летит ликующий сонм. Я не могу больше задерживаться. Прощай, моя радость! Я сама не своя, когда он вблизи. Желаю тебе преуспеть!

Джиннистан поспешила за Эросом, который пронесся бы мимо, не соизволив даже посмотреть на нее ласково. Однако он дружелюбно обратился к Музе, а маленькие пажки окружили ее, беспечно танцуя. Музе приятно было встретиться со своим молочным братом, и она жизнерадостно запела, играя на своей лире. Казалось, Эрос готов образумиться, он даже бросил свой лук. Малыши заснули, поникнув на траву. Эрос подпустил к себе Джиннистан и беспрекословно сносил ее нежности. Постепенно он тоже поник на грудь к Джиннистан и забылся сном, осенив ее своими крылами. Это было величайшей наградой для усталой Джиннистан; блаженствуя, она не могла налюбоваться красотой спящего. Пока Муза пела, отовсюду вышползли тарангулы³¹, опутали стебли трав своими поблескивающими тенетами и проворно засновали под музыку на своих нитях. Муза приободрила свою мать, посулив ей подмогу в ближайшем будущем. Скала отвечала лире мягкими отзвуками, так что сонным слаще спалось. Джиннистан все еще берегла заветный сосуд, и достаточно было нескольких капель, рассеявшихся в воздухе, чтобы навеять спящим упоительные грезы. Муза продолжала свое странствие, но теперь сосуд был при ней. При этом струны не бездействовали, а зачарованные тарангулы сопутствовали ладам, проворно вытягивая свои нити, чтобы не отстать.

Вдалеке перед нею над зеленью леса вскоре вознеслось пламя: это польхал костер. Скорбно посмотрела она в небо и приободрилась, распознав голубое покрывало Софии, колыхавшееся над землею, чтобы вовеки никто не видел ужасной могилы. В небе злобно багровело огнистое солнце,³² свирепое пламя питалось присвоенным светом, и, хотя солнце как будто алчно берегло свой свет, оно тускнело, и все заметнее проступали на нем пятна. Солнце меркло, а пламя крепло, разгораясь добела. Все упорнее пламя поглощало свет, насыщаясь блеском, так что вскоре исчез венец дневного светила и остался только болезненно рдеющий диск, завистливый гнев лишь способствовал дальнейшему изнурительному

излучению. Наконец, в море посыпалась черная изгарь, это были останки солнца. Пламя сверкало неопишимо. Больше нечему было гореть. Тихо охватывая вышину, пламя потянулось к северу. Муза вошла во двор, где запустение сразу бросалось в глаза; дом покуда совсем обветшал. В щелях оконных карнизов укоренился терновник, разрушенная лестница кишела червями. Слышно было, как бесчинствуют в доме; Переписчик со своими пособниками праздновал огненную смерть Матери³³. Однако все это сборище ужаснулось, когда сторело солнце.

Несмотря на все старания, им не удалось погасить пламя; они только сами ожглись при этом и теперь в бешенстве кощунствовали, завывая от боли и страха. Они совсем всполошились при появлении Музы и с яростным воплем напустились на нее, чтобы выместить свою злобу. Муза спряталась от них за колыбелью; ее хотели поймать, однако сами ловцы один за другим угодили в тента к тарантулам, за что заплатились: карающим укусам не было конца. Вся шайка заплясала, беснуясь, а Муза сопровождала эту пляску насмешливыми ладами своей лиры. Уморительные корчи плясунов развеселили Музу; она уже добралась до осколков разбитого жертвенника. Прибрав эти осколки, Муза обнаружила потайную лестницу и, неразлучная со своими тарантулами, направилась под землю.

Сфинкс встретил Музу вопросом:

- Что неожиданнее молнии?
- Возмездие, — молвила Муза.
- Что ненадежнее всего?
- Мнимое достояние.
- Кто постиг мир?
- Тот, кто постиг самого себя³⁴.
- В чем вечная тайна?
- В Любви.
- Кто хранит эту тайну?
- София³⁵.

Сфинкс болезненно скорчился, и Муза вернулась в пещеру.

— Я добыла вам тарантулов, — обратилась она к старухам, чья лампа горела, как прежде, способствуя усидчивым трудам. На старух напал страх, и одна из них бросилась на Музу, грозя ей своими ножницами. Не заметив при этом тарантула, старуха наступила на него, и тот укусил ее в пятку. Старуха взвыла. Другие хотели было пособить ей, но тоже получили свое, искусанные рассерженными тарантулами.

Это помешало им добраться до Музы, они только неистово скакали вокруг нее.

— Изволь соткать нам, — яростно закричали старухи малютке, — бальные платьица. Наши жесткие юбки сковывают нас, нам до смерти жарко, да не забудь пропитать нитку паучьим жиром, чтоб не лопнула, и укрась ткань цветами, возвращенными огнем, не то тебе конец!

— Будь по-вашему, — молвила Муза, исчезая за стеною. — Я попотчую вас отменными мухами, — обратилась она к паукам-крестовикам, чья легчайшая ткань облекала потолок и стены, — а вы потрудитесь побыстрее соткать три хорошеньких платьица. Украсьте ткань цветами, цветы не заставят себя ждать.

Пауки выразили готовность и начали ткать особенно проворно. Муза проскользнула к лестнице и поспешила к Арктуру.

— Монарх, — молвила она, — злобные танцуют, добрые почипот. Пламя уже здесь?

— Пламя здесь, — отвечал король. — Ночь прошла, тает лед. Моя супруга приближается. Моя врагиня пала³⁶. Жизнь сказывается во всем. Пока еще нельзя мне явить себя, ибо я не король, пока я один³⁷. Выскажи свое желание!

— Я пришла, — молвила Муза, — за цветами, возвращенными огнем. Они, как известно, во власти твоего сведущего цветовода.

— Цинк, — крикнул король, — добудь цветов!

Цветовод покинул сонм придворных, принес горшок, наполненный огнем, и посеял семена, подобные блестящей пыли. Долго ждать не пришлось, цветы вспыхнули. Муза возвращалась, неся цветы в своем переднике. Пауки не теряли времени даром, не хватало только цветов, которыми пауки немедленно воспользовались, обнаружив немалую сноровку и редкий вкус. Муза позаботилась о том, чтобы концы остались у пауков и не рвались.

Она подала платяя измученным танцовщицам, которые поникли в испарине с непривычки и несколько мгновений приходили в себя. С незаурядной расторопностью и умением переодевала Муза костлявых очаровательниц, без устали продолжавших поносить услужливую малютку; сняв прежние наряды, она облачила старух в новые, очень миленькие, да и пришлось платьица как раз впору. Деловито выполняя свои обязанности, Муза вслух восхищалась прелестями и любезностью владычиц, а те, весьма польщенные, явно радовались щегольским обновкам. Усталость прошла, их уже снова подмывало танцевать, и они бодро вальсировали, лукаво посулив малютке долголетие и щедрое вознаграждение. Муза направилась в соседнюю пещеру и возвестила паукам:

— Теперь вы можете спокойно закусить этими мухами; я завлекла их к вам в тенета.

Паукам и так уже надоели беспрестанные рывки; ткачи не расстались еще со своим изделием, а старухи прыгали в исступлении, так что целое полчище пауков вылезло из щелей и напало на танцовщиц; старухи пустили было в ход ножницы, однако Муза под шумок захватила их с собой. Старухи не осилили своих трудолюбивых собратьев, которым давно не доставалось такое роскошное угощение; каждая косточка была высосана досуха. Муза глянула в расщелину скалы: там наверху оказался Персей³⁸, у которого был огромный железный щит. Ножницы сами собой вознеслись, притянутые щитом, и Муза поручила герою подрезать Эросу крылышки, запечатлеть сестер своим щитом и довести до конца великое начинание.

Оставив затем подземное царство, она весело устремилась в палаты Арктура.

— Льняная пряжа готова. Безжизненное вновь лишилось души. Не будет власти, кроме жизни, образующей и направляющей безжизненное. Сокровенное откроется, наружное затаятся. Занавес не преминет подняться, вот-вот начнут играть. У меня еще одна просьба, и я начну пряхть вечность, чьи дни — мои нити.

— Блаженное дитя, — молвил король в умилении, — ты освобождаешь нас.

— Чем я была бы, когда бы не София, моя крестная, — ответила маленькая Муза. — Вели, чтобы меня сопровождали Турмалин, Цветовод и Золото³⁹. Не пропадать же пеплу моей приемной матери⁴⁰, а древнему миродержателю⁴¹ время встать и поднять землю, чтобы земля больше не обременяла хаоса.

Король кликнул всех троих и приказал им сопутствовать маленькой Музе.

В городе рассвело, на улицах кипела жизнь.

Морские волны с шумом растекались по расселинам скалы, которую Муза миновала, сидя на королевской колеснице со своими спутниками. Турмалин бережно ловил в воздухе каждую частицу пепла. Они объезжали землю, пока не нашли древнего исполина и не спустились по его плечам. Казалось, удар поразил великана, чьи мышцы как будто онемели. Золото вложило ему в уста золотой, Цветовод подставил блюдо под бедра великану. Муза потрогала ему веки и опрокинула свой сосуд ему на чело. Когда влага, смочив веки, попала на уста и, струясь по всему телу, достигла блюда, молниеносная жизнь пронизала каждый мускул. Открыв глаза, великан встал как ни в чем не бывало. Земля поднялась, Муза одним прыжком присоединилась к своим спутникам, стоявшим на земле, и приветливо пожелала великану доброго утра.

— Ты снова здесь, прелестное дитя? — молвил старец. — То-то грезилась ты мне без конца. Я все думал, ты посетишь меня, пока моя земля и мои веки не отяжелели. Я вроде бы совсем заспался.

— Земля больше не тяжела, она никогда не тяготила добрых, — ответила Муза. — Вновь начинается старина. К тебе уже возвращаются прежние наперсники. Я напряду тебе веселых дней, ты больше не будешь трудиться один, ты разделишь нашу отраду, рука об руку с подругой сподобишься ты юности и мощи. Где наши прежние утешительницы, гостеприимные геспериды?⁴²

— Они там, где София. Вот-вот они увидят свой сад в цвету, вот-вот повеет аромат их золотых плодов. Геспериды кружат, срывая стебли, изнывающие в одиночестве.

Муза покинула его и побежала к дому, от которого остались одни руины. Стены оплел плющ. Там, где был раньше двор, теперь высился тенистый кустарник, а на ветхих ступенях нога утопала во мху. Муза переступила через порог. Жертвенник был восстановлен. Около него стояла София, у ног ее лежал Эрос в полном вооружении; он выглядел строгим и величавым как никогда. Драгоценный светильник был подвешен к потолку. Пол сверкал самоцветами, так что жертвенник возвышался в средоточии большого круга, являвшего изысканные знаменательные узоры. Отец лежал как бы в глубоком забытии; Джиннистан плакала, склоняясь над ним. Ее цветущая краса вся была одухотворена чертами молитвенной преданности. Святая София ласково привлекла Музу к себе, приняв у нее из рук урну с пеплом.

— Милое дитя, — молвила София, — усердная и преданная, отныне ты общена к вечным светилам. В себе самой ты предпочла бессмертное начало. Владей Фениксом! Ты одушевишь нашу грядущую жизнь! Пора тебе будить жения⁴³. Вестник призывает: Эросу время разыскать и пробудить Фрейю.

Муза неописуемо возликовала при этих словах. Кликнув своих спутников Золото и Цинка, Муза приблизилась к лежащему. Джиннистан с надеждою

ждала, что она предпримет. Расплавив монету, Золото окунуло лежащего отца в блистающий поток. Цинк укрепил свою цепь⁴⁴ на груди Джиннистан. Трепетные волны приподняли тело.

— Нагнись, милая матушка, — молвила Муза, — тронь ладонью сердце любимого.

Джиннистан послушалась. Она узрела множество своих отражений. Влага и цепь, сердце и рука соприкоснулись. Спящий пробудился и заключил в свои объятия упоенную невесту. Металл застыл, образовав чистейшее зеркало. Отец встал, его глаза сияли, но, хотя облик его блистал красотой и премудростью, тело его как бы отличалось вечной текучей зыбкостью; оно прельщало бесчисленными всплесками, обнаруживая своей утонченной изменчивостью любое чувство.

Блаженная чета приблизилась к Софии, та посвятила их торжественно друг другу и заповедала им обо всем вопрошать зеркало: оно показывает подлинные облики, рассеивает ложную видимость, навеки удерживает первоначальные черты. Потом она опрокинула урну с пеплом в чашу, стоявшую на жертвеннике. Влага нежно взыграла, подтверждая, что растворение совершилось; одежды и волосы окружающих пошевелил тихий ветерок.

София вверила чашу Эросу, тот поднес ее другим. Все вкусили божественного напитка, и сердца несказанно возликовали, восприняв задушевную ласку Матери. Отныне каждый был с ней неразлучен и как бы просветлен таинством ее вселения.

Чаемое было обретено и превзойдено обретением. Все постигли, чем восполнена их прежняя ущербность, и оказалось, что под этим кровом собрались блаженные.

София возвестила:

— Все сподобились великого откровения, однако на веки вечные тайна неисчерпаема. Рождение нового мира совершается в муках; пепел, растворенный в слезах, — эликсир бессмертия. Небесная мать обретается в каждом сердце, из века в век родит она каждого младенца. Слышите трепет упоительного рождества у вас в груди?

Она опустошила чашу над жертвенником. Недра земли дрогнули. София молвила:

— Эрос, не медли! С твоей сестрой ступай к твоей возлюбленной. Я не покину вас!

Эрос и Муза со своими спутниками тут же отправились. Землею овладела неодолимая весна. Все всколыхнулось и ожило. Земля льнула к покрывалу. Веселая сумятица началась в небе: месяц и облака неслись на север. Королевская твердыня ослепительным блеском переливалась над морем; на крепостную стену вышел король во всем величии со своими приближенными. Прах клубился тут и там, в клубах его угадывались незабвенные облики. То и дело возникали по пути бесчисленные сонмы юношей и дев, спешащих ко двору, и раздавались ликующие приветственные возгласы. Кое-где на холмах счастливые влюбленные никак не могли прервать своих объятий; они слишком истомились друг по другу и, едва проснувшись, принимали обновленную вселенную за свою грезу, однако над этим заблуждением непрерывно торжествовала отрадная явь.

Цветы и деревья неудержимо произрастали, облекаясь листьями. Все обрело дар слова и музыки. На каждом шагу здоровалась Муза со встречными, узнавая своих давних друзей. Кроткие звери ласкались к пробужденным людям. Растительный мир услаждал всех, плодонося, благоухая, даруя людям изысканное убранство. Не было человеческого сердца, с которого не свалился бы камень; былой гнет образовал незыблемую основу.

Путники достигли моря. Корабль из гладкой стали стоял на плаву, причаленный к берегу. Они вступили на борт и отчалили. Нос корабля указал на север, как бы в стремительном полете растревожив привязчивые волны. Лепечущие тростники сдержали этот буйный бег, и корабль тихо коснулся побережья. Путешественники поспешили взойти по широким ступеням. Столица во всем своем блеске являла восхитительное зрелище для Любви. Источник ожил и заиграл во дворе; деревья трепетали, упоительно зазвучав; дивная жизнь как будто билась и вскипала, согревая стволы и листья, вспыхивая в цветах и в плодах. Древний витязь предстал путникам у дворцовых врат.

— Высокочтимый старец, — произнесла Муза, — Эросу не обойтись без твоего меча. Золотом дарована цепь, что свяжет грудь его и море⁴⁵. За эту цепь держись, как я, и проводи нас в зал, где спит принцесса.

Старец вручил Эросу меч; Эрос поднес рукоять к своей груди, направив меч склоненным острием вперед. Двери в зал растворились, и Эрос, преисполненный восторга, шагнул к почивающей Фрейе. Внезапно раздался громовой удар. От принцессы к мечу рванулась яркая искра; меч и цепь вспыхнули, маленькая Муза не устояла бы на ногах, когда бы не витязь. Оперенный шлем Эроса едва не слетел с него.

— Бросай меч, — закричала Муза, — буди свою возлюбленную!

Выпустив меч из рук, Эрос подбежал к принцессе и с жаром прильнул к желанному устам. Открыв огромные темные очи, принцесса увидела своего суженого. Вечные узы⁴⁶ были скреплены долгим поцелуем.

Король и София рука об руку снизошли с купола. Их сопровождали светила и духи стихий сияющей чередой. Неописуемо отрадный дневной свет распространился в зале, во дворце, в городе, на небесах. Несметные сонмы хлынули в просторный королевский зал; в молитвенном безмолвии все созерцали коленопреклоненную чету; король и королева удостоили своего благословения жениха и невесту. Король снял свою диадему и увенчал ею золотокудрого Эроса. Древний витязь освободил Эроса от вооружения, и король облек его своей мантией. Потом король вложил в левую руку Эроса лилию, а София связала сплетенные руки любящих бесценным украшением, возлагая при этом свою корону на темные косы Фрейи.

— Да здравствуют наши исконные властители, — кричал народ, — они никогда не покидали нас, а мы их забыли! Их власть вовеки не минует! Какое счастье! Мы тоже просим благословения!

София обратилась к молодой королеве:

— Вверх воздуху эмблему вашего обручения, чтобы вечные узы сочетали народ и вселенную с вами.

Драгоценность растаяла в воздухе, и вскоре каждое чело окружено было

сияющим нимбом, и яркая полоса возникла над городом, над морем и над землей, где навеки восторжествовала весна. Приблизился Персей с веретеном и коробкой. Он отдал коробку молодому королю.

— В ней, — молвил он, — все, что осталось от прежних твоих недругов.

В коробке оказалась каменная плита с черными и белыми клетками, а в придачу к ней целый набор фигурок из алебаstra и черного мрамора.

— Эта игра называется шахматами⁴⁷, — объяснила София. — Война заключена отныне только в этих клетках и фигурах; в них увековечены былые мрачные времена.

Персей обернулся к Музе и вручил ей веретено:

— У тебя в руках это веретено сулит нам вечную отраду. Для нас ты будешь прясть сама себя, и твоя золотая нить никогда не разорвется.

Посылшалась музыка: это Феникс опустился у ног Музы, раскинув перед нею свои крыла; приняв на них Музу, он воспарил над самым тронном, чтобы никогда больше не садиться. Муза божественно пела, приступая к своей новой пряже; казалось, нить возникает у нее в груди. Неизведанное восхищение охватило народ; все залюбовались ненаглядной малюткой. В дверях уже слышались новые возгласы восторга. Сопровождаемый чудесами своего двора, переступил через порог старец Месяц, как бы предваряя триумф: следом на руках народа явилась Джиннистан со своим женихом.

Цветы оплетали новоприбывших; королевская семья радушно обласкала их, а молодой король с королевой во всеулыбашье уполномочили их править на земле.

— Пожалуйте меня, — попросил Месяц, — былой областью Парок, чьи невиданные чертоги как раз поднялись из-под земли перед самым дворцом. Там буду я услаждать вас увлекательными зрелищами;⁴⁸ маленькая Муза посодействует мне в этом.

Король удовлетворил его просьбу; маленькая Муза дружелюбно кивнула; народ предвкушал неведомое наслаждение.

Геспериды пожелали новым властителям счастливого царствования, вверяя свои сады монаршему покровительству. Король не отказал им в своей милости, и счету не было другим торжествующим вестникам. Между тем трон исподволь менялся, и вот уже вместо него раскинулась роскошная брачная постель. Феникс парил над занавесью вместе с маленькой Музой. Сзади ложе держалось на трех кариатидах⁴⁹ из темного порфира; базальтовый сфинкс подпирал его спереди. Возлюбленная вспыхнула в объятиях короля, и его пример не пропал даром: никто в народе больше не скрывал своей любви. Ничто не заглушало упоенного лепета и поцелуев. София молвила наконец:

— С нами Мать; она не покинет нас, и в этом наша отрада. Вы найдете нас в нашей обители; в том храме мы всегда пребудем, оберегая вселенскую тайну.

Муза прилежно пряла, распевая на весь мир:

Владеет вечность миром с этих пор,
Любовью завершился давний спор;
Скорбь минула, как сон, в моей стихии;
Святыня сердца вверена Софии».

Часть вторая
ОБРЕТЕНИЕ.
МОНАСТЫРЬ, ИЛИ ПРЕДДВЕРИЕ

ASTRALIS

Дарована мне летним утром юность.
Пульс жизненный тогда забился вдруг
Впервые для меня, — пока любовь
В свои восторги глубже погружалась.
Явь открывалась мне, мое желанье
Проникновенной цельности предаться
Усиливалось властно каждый миг.
Блаженством бытие мое зачато.
Я средоточие, святой родник,
Откуда в мир томленье излилось,
Куда, многообразно преломляясь,
Потом томленье тихое течет.
Неведом вам, при вас возник я.
Однажды разве не при вас,
Лунатик, я, незваный, посетил
Веселый вечер тот?¹ Забыли вы
Страх сладостный, воспламенивший вас?
Благоухал я в чашечке медовой,
Покачивался тихо мой цветок
В сиянье золотом. Ключ сокровенный,
Я был бореньем нежным. Сквозь меня
В меня впадало всё, меня качая;
И мой цветок впервые опылился.
Пир поцелуем кончился, не так ли?
В мой собственный поток я впал тогда.
Не просто молния — преображенье!
Весь мой цветок тогда пришел в движенье.
Обрел я самого себя в тот миг²,
Земные чувства мыслями постиг.
Я был слепым еще, но звезд немало
Во мне, в чудесных далях трепетало.
Я был далеким эхом вездесущим
Времен минувших и времен грядущих.

В томлении, в любви неугасимой
Произрастанье мыслей — только взлет;
Тогда узнал я, как блаженство жжет,
И стала боль моя невыносимой³.
Был светел холм⁴, и расцветали дали;
Пророчества тогда крылами стали⁵.
С Матильдой Генрих приобщен к святине,
Они в едином образе отныне.
Преображенье — вот мое рожденье;
Я в небесах земное перевозмог,
Пока подводит время свой итог,
Утратив навсегда свое владенье,
И требует обратно свой залог.

Новый мир близится, настает;
Солнечный свет затмит он вот-вот.
Будущее, чей свет беспечален,
Брежит среди замшелых развалин.
Событие, будничное в старину,
Уподобляется дивному сну.
Всякий во всем, и всё во всяком;⁶
Бог знаменован камнем и злагом.
Божий дух в человеке и звере;
Чувство наше сопутствует вере.
Пространство и время больше не в счет,
В прошлом будущее настает.
Отныне властвует Любовь.
Прясть начинает Муза вновь⁷.
Ведется древняя игра,
И заклинанья вспомнить пора.
Душа мировая пробуждена,
Волнуется всюду, цветет она.
Всё друг во друге прозревает,
Всё друг во друге созревает.
Каждый во всех остальных заблистал
И, торжествуя в этом смешенье,
У них в глубинах велик и мал,
Во всех находит свое завершенье,
Тысячу новых своих начал.
Весь мир стал сном, сон миром стал.
То, что, казалось, было давно,
В грядущем далью возвещено.
Явить фантазия готова
Нити свои в сочетании странном,

И под покровом и без покрова
 Магическим рассеясь туманом.
 Со смертью жизнь в торжестве первозданном,
 С любовью боль не разлучить;
 И нет числа глубоким ранам,
 Которых нам не залечить.
 И сердце вдруг осиротеет,
 Его прозреть заставит боль;
 И безнадежно запустеет
 Земная тусклая юдоль!
 В слезах растает быстро тело,
 Мир станет сенью гробовой,
 Покуда сердце не сгорело,
 Во мрак роняя пепел свой³.

Глава первая

Глубоко задумавшись, пилигрим направлялся в горы по узкой тропе¹. День клонился к вечеру. Голубой воздух был пронизан резким ветром. Его переменчивые неясные голоса замирали, не успев прозвучать. Быть может, ветер подул оттуда, где осталось детство? Или подхватил он говор других земель? Эхо все еще не покидало сердца, хотя голоса казались незнакомыми. Пилигрим достиг тех гор, которые сулили вознаградить его паломничество. Сулили? Никто больше ничего не сулил ему. Гнеущая тревога, леденящая сущь беспросветной тоски влекли его в жуткую гористую пустыню. Тягостное паломничество подавило изнурительную борьбу душевных бурь. Усталость его была тиха. Вокруг него уже громоздилось неведомое; однако, опустившись на камень, он предпочел всматриваться в пройденный путь. Пилигрим подумал, что грезит или грезил до сих пор. Казалось, невозможно было окинуть взором всю красоту, возникшую перед ним. Душа его не выдержала, и он сразу же залился слезами, готовый бесследно исчезнуть в этой дали, завещав ей свои слезы. Содрогаясь от рыданий, он как бы опамятовался; тихое отрадное дуновение подкрепило его; вселенная вернулась к нему, и, бывшие утешители, помыслы заговорили вновь.

Аугсбург являл издалека свои башни. У самого окоема зеркальные воды пугали и завораживали своим блеском². Исполинский лес кивал путнику с величавым сочувствием; горы зубчатой стеною оберегали равнину и, казалось, многозначительно вторили своими речами лесу: «Воды, бегите, вам не избежать нас; где струи, там струги, летучие струги мои. Я сокрушу тебя, я задушю тебя, в недра мои залучу тебя. С нами в союзе ты, пилигрим; твой недруг — наш недруг, детище наше; бежит похититель, но как избежать нас?»

Скорбный пилигрим обратился к былому, но куда девалось прежнее невыразимое упоение? Лучшие воспоминания едва влачили, померкшие. Широкополая шляпа не старила пилигрима, однако ночному цветку не свойственны яркие краски. Целебный нектар его весны пролился слезами, пылкий дух его

изнемог в глубоких вздохах. Сумеречный оттенок пепла возобладал над богатой расцветкой жизни.

Поодаль на горном склоне под вековым дубом привиделся пилигриму коленапоклоненный монах.

«Никак, это старик придворный капеллан?» — подумалось пилигриму, которого не слишком удивила бы такая встреча. Но вблизи монах как бы вырос, и облик его вырисовывался уже не так отчетливо. Пилигрим заметил свою оплошность: перед ним возвышался всего лишь камень, осененный деревом. Однако, умиротворенный и растроганный, он обхватил камень руками и, всхлипывая, прильнул к нему: «Ах, если бы теперь сбылись предсказания, и Мать Небесная утешила бы меня Своим знаменьем! Кто еще поддержит меня, когда мне так тяжело? Или ни один святой не снизойдет к моей заброшенности, помянув меня в своих молитвах? Как нужна мне сейчас твоя молитва, незабвенный отец мой!»

Как бы в ответ на его мысли дерево затрепетало. Смутно зазвучал камень, и, словно зародившись в сокровенных земных недрах, донеслись чистые детские голоса, поющие хором:

Не ведала, бывало,
Счастливая, скорбей;
Теперь ей горя мало:
Младенец милый с ней.
Младенцу беспрестанно
Целует щеки мать
С любовью несказанной,
В которой благодать.

Детские голоса, казалось, были бы рады петь без конца. Неоднократно пропели они свой стишок. Когда тишина воцарилась вновь, пораженный пилигрим вял некоему голосу, как будто само дерево заговорило: «Когда, заиграв на своей лютне, ты прославишь меня песней, тебе явится бедная дева³. Прими ее и не расставайся с нею. Вспомни меня, когда будешь у императора. Я облюбовала это местопребыванье; я здесь, и со мною мое дитя. Воздвигни мне надежную уютную обитель. Мое дитя восторжествовало над смертью⁴. Не сокрушайся, я тебя не покидаю. Пожви еще немного на земле, утешен девой, пока твоя кончина не сподобила тебя нашей отрады».

— Это говорила Матильда, — вскричал пилигрим и в молитве преклонил колени.

Пронизав крону дерева, непрерывное сияние хлынуло ему в глаза, позволив различить преуменьшенное далью, непостижимое великолепие, перед которым бессильно описание и красочная живопись. Там царили восхитительнейшие облики; глубочайший восторг, ликование, истинно небесная отрада стали доступны созерцанию, так что даже неодушевленные сосуды: столпы, ковры, словом, зримое убранство не казалось изделием: все это словно само взошло, сочетавшись в своем природном вожделении, как буйная растительность.

Невозможно себе представить человеческие образы совершеннее тех, что встречались там в благоговейном, сладостном общении. Пилигрим видел свою возлюбленную; она предшествовала всем остальным, как бы обращаясь к нему. Однако ни единого звука не доносилось до него, и оставалось только с ненасытной скорбью всматриваться в милый лик, пока она, приложив руку к сердцу, нежно приветствовала его своей улыбкой. Бесконечно утешенный и ободренный, он еще упивался своим целительным восхищением, когда все скрылось. Чудотворное сияние унесло с собою тягостные печали и горести, так что на сердце вновь прояснилось, а дух воспрянул, по-прежнему вольный. Все прошло, кроме смутной сокровенной тоски, чья болезненная жалоба еще слышалась в тайниках души. Одиночество больше не терзало, несказанная утрата больше не растревляла душевных ран; мрачного, опустошающего страха, гробового оцепенения как не бывало, и пилигрим словно очнулся в обжитом, осмысленном мире. Все с ним как бы сблизилось, вещая явственнее прежнего; жизнь снова заговорила в нем, увенчанная своим же собственным проявлением, смертью; и, как дитя, в блаженном умилении созерцал он свой преходящий земной век. Будущее и былое сочетались в нем кровными узами. Настоящее покинуло его, и он в своем уединении, утратив мир, возлюбил утраченное, чувствуя себя гостем в этих просторных красочных палатах, где вряд ли суждено ему задержаться. Когда свечерело, земля показалась ему родным старым домом; скиталец вернулся наконец, а жилище заброшено.

Ожило множество воспоминаний. Не было такого камня, дерева или пригорка, который не взывал бы снова и снова к памяти, знаменуя минувшее событие. Струны лютни вторили песне пилигрима:⁵

1

Слезы, здесь вам время слиться,
Помолиться
В тихом таинстве напева;
В этой пустыни чудесной
Был мне явлен рай небесный,
Слезы — пчелы возле древа.

2

В грозы к ним густая крона
Благосклонна;
Вековые ветви крепки;
Благодатная в награду
Приобщеньем к вертограду
Оживит сухие щепки⁶.

3

Упоен утес плененный,
К Ней склоненный.

В Ней почтил он совершенство.
Как не плакать на молитве?
За Нее в смертельной битве
Кровь свою пролить — блаженство.

4

Обретает здесь томленье
Исцеленье.
На коленях стой в надежде:
Будет страждущий излечен;
Вспомнит, весел и беспечен,
Как он жаловался прежде.

5

Строгий дух в таких оплотах
На высотах;
Если горестные пени
Вдруг посылаются в долинах,
Легче сердцу на вершинах,
Там, где ввысь ведут ступени.

6

Средь мирского бездорожья,
Матерь Божья⁷,
Свет являя долгожданный,
Возвратила Ты мне силы.
Ты, Матильда, светоч милый,
Чувств моих венец желанный.

7

Возвестишь по доброй воле
Ты, доколе
Мне скитаться в ожиданье;
В каждой песне верен чуду,
Эту землю славить буду.
Наше близится свиданье.

8

Чудеса времен текущих,
Дней грядущих!
Ваши здесь душа согрета.
Это место незабвенно.
Сны дурные смыл мгновенно
Пресвятой источник света.

Пилигрим ничего не замечал, пока пел. Посмотрев прямо перед собой, неподалеку от камня он увидел юную девушку, как будто хорошо знавшую его, потому что, радушно поздоровавшись, она позвала путника ужинать. Он сердечно обнял ее. Она сама и весь ее обиход сразу приглянулись ему по душе. Девушка попросила повременить немного, приблизилась к дереву и, отрешенно улыбаясь, устремила взор ввысь, пока на траву съпались многочисленные розы из ее передника. Смиренно преклонив колени, она быстро встала и удалилась вместе с пилигримом.

- От кого ты слышала обо мне? — осведомился он.
- От нашей Матери.
- Кто она такая?
- Богоматерь.
- Ты здесь давно?
- С тех пор как покинула могилу.
- Ты уже испытала смерть?
- Иначе откуда же моя жизнь?
- Ты здесь одна?
- Старец остался дома, однако мне знакомы многие другие жители.
- Готова ты мне сопутствовать?
- Конечно! Ты мне по сердцу.
- Разве ты меня знаешь?
- Издавна; у меня когда-то была мать, постоянно говорившая о тебе.
- У тебя не одна мать?
- Мать не одна, потому что Она одна-единственная.
- Как ее имя?
- Мария.
- А как зовется твой отец?
- Граф фон Гогенцоллерн.
- Его-то я знаю!
- Еще бы тебе не знать своего отца!
- Мой отец остался в Эйзенахе.
- У тебя не один отец, как не одна мать⁸.
- Куда мы направляемся?
- Домой, куда же еще...

Перед ними раскинулась обширная лесная поляна, где возвышались полуразрушенные укрепления, опоясанные глубокими рвами. Цепкий подлесок льнул к древним стенам — так зеленеющий венчик окаймляет серебристую старческую седину. Можно было окинуть взором бесконечные времена и заметить при этом, как величайшие события вмещались в мимолетные ослепительные минуты, о чем свидетельствовали сумрачные камни, молниевидные трещины, утрюпые длинные тени. Так небо позволяет нам созерцать беспредельную даль, подернутую мгlistой голубизною, и, словно в млечных переливах, непорочных, как ланиты ребенка, неисчислимую череду своих громоздких, необъятных миров. Они миновали древние врата, и пилигрим, к немалому своему изумлению, обнаружил вокруг необычные насаждения, убедившись, что среди руин таятся кра-

соты ненаглядного сада. За деревьями ютился каменный домик, отстроенный на новый лад; окна были достаточно велики, чтобы пропускать свет в изобилии. Возле дома красовался широколиственный кустарник, чьи гибкие ветви нуждались в кольшках; старик стоял и подвязывал хрупкую поросль.

Провожатая вела пилигрима прямо к старику и, приблизившись, молвила:

— Это Генрих; о нем ты меня часто спрашивал.

Когда старик обратился к нему, Генриху почудилось, будто он снова встретился с горняком.

— Ты у врача Сильвестра⁹, — молвила девушка.

Сильвестр принял Генриха с радостью и поведал ему:

— Твой отец был не старше тебя¹⁰, когда посетил меня; это было уже давно.

Он расположил меня к себе, и я был не прочь показать ему бесценные древние клады, что завещал нам безвременно почивший мир. На мой взгляд, в твоём отце таился великий ваятель или живописец. Глаз у него был быстрый и ненасыпный, именно такой глаз творит. Лицо его свидетельствовало о неколебимом, выносливом усердии. Однако он оказался слишком восприимчив к нынешней суете и не придал значения требованиям своего глубочайшего призвания. Сумрачное угрюмое небо его отчизны не пощадило хрупкого побега, и редкостный цветок зачах в нем. Он просто набил себе руку, как всякий умелец; возможные наития обернулись чудачеством.

— Я и сам, — ответил Генрих, — нередко с горечью наблюдал в нем тайную досаду. В его неутомимом трудолюбии не чувствуется подлинного пыла, он сжился со своей работой — и только. Он словно страдает от некоего изъяна, и его не может утешить беспечное житейское довольство, преуспеяние в делах, почет и приязнь соседей, привыкших ценить его мнение во всем, что касается нашего города. Все, кто знает его, убеждены, что он счастливее; никто не подозревает, как приелась ему жизнь, как одинок он подчас в этом мире, как он стремится в другой мир, усердствуя в надежде подавить это чувство, а вовсе не ради прибыли.

— Меня поражает одно обстоятельство, — заметил Сильвестр. — Он позволил вам расти исключительно под влиянием вашей матушки, а сам как будто остерегался посягнуть на ваши искания, навязать вам то или иное ремесло. Можно сказать, вам посчастливилось: по милости ваших родителей, ваша юность не испытала ни малейшего стеснения, а на долю других обычно выпадают разве только жалкие крохи обильного пиршества, на которое набрасывались все, кому не лень, сообразно со своей алчностью и прихотями.

— И вправду, — отвечал Генрих, — родители воспитывали меня лишь своим примером и душевным опытом, а мой учитель придворный капеллан — своими наставлениями, никакого другого воспитания я не ведал. Хотя мой отец, всегда сохраняя упорную, трезвую рассудительность, привык в любом случае различать металл и художественную отделку, он, сдается мне, без всякой задней мысли, непреднамеренно, с богобоязненным трепетом преклоняется перед возвышенным и неизъяснимым в жизни, так что дитя для него — цветок, в который поддается всматриваться с кротким самоотречением. Неистощимый родник сказывается здесь, даруя свой чистый дух; и это впечатляющее величие ребенка, сведущего

в наивысшем, несомненное хранительное участие при первых шагах этой неискушенной души, чей ненадежный путь едва-едва начинается, влияние таинственного соприкосновения, еще не изглаженного дольными водами, и, наконец, гармоническое приобщение к своему поэтическому прошлому, когда мир был для нас яснее, приветливее, чудеснее и вещей дух, почти не таясь, напутствовал нас, — все это, как некая святыня, внушало моему отцу подобающую робость.

— Отдохнем здесь на дерновой скамье среди цветов, — прервал его старик. — Циана¹¹ кликнет нас, когда приготовит ужин, а пока, если моя просьба не затруднит вас, поведайте мне подробнее о вашем прошлом. Нам, старикам, отраднее всего внимать повествованиям о детских годах, как будто вы со мною делитесь благоуханием цветка, недоступного мне с тех пор, как миновало мое детство. Правда, я хотел бы сперва услышать от вас, по душе ли вам моя уединенная обитель и мой вертоград, чьи цветы — моя утеха. Это цветник моего сердца. Вы не увидите здесь ничего, кроме сердечной взаимной любви. Здесь окружен я моим потомством, как будто я старое дерево, и этой жизнерадостной юности не было бы без моих корней.

— Счастливый отец, — молвил Генрих, — вселенная — ваш вертоград. Ваши дети процветают, но их матери — руины. Красочная творческая жизнь вскормлена останками старины. Или смерть матери необходима для того, чтобы потомство не зачахло, а отцу остается в одиночестве лить вечные слезы у нее на могиле?

Пытаясь утешить плачущего юношу рукопожатием, Сильвестр поднялся со скамьи; незабудка едва-едва распустилась; он украсил ею кипарисовую ветвь, которую вручил своему гостю. Таинственным прикосновением волновал в сумерках ветер хвою сосен, высившихся над руинами. Сосны отвечали смутным ропотом.

Генрих скрыл свои слезы, обняв доброго Сильвестра, а когда он поднял глаза, над лесом уже сияла вечерняя звезда во всем своем величии.

Вскоре Сильвестр нарушил молчание:

— Жалко, что не довелось мне наблюдать вас в Эйзенахе, когда вы играли со своими одногодками. Ваш отец, ваша матушка, ваша крестная, достойнейшая государыня, добрые друзья вашего дома и этот старец придворный капеллан — лучшего окружения и пожелать нельзя. Их речи, надо полагать, с малых лет способствовали вашему развитию, ведь у вас не было ни братьев, ни сестер. К тому же, сдается мне, тамошние окрестности на редкость живописны и достопамятны.

— Только теперь, в отдалении, — заметил Генрих, — посетив много других областей, научился я ценить свои родные места. Для злака, для дерева, для пригорка и утеса предопределена окрестность, своеобразная, но неизменная, известный предел, дальше которого ничего не видать. Их окрестность — их достояние, под стать которому вся их природа, вся их вещественность. Другие пространства открыты лишь человеку и зверю; они владеют всеми пространствами, образующими вселенную, так сказать, беспредельный предел, и к беспредельности человек и зверь приравниваются, что так же несомненно для наблюдателя, как приверженность злака своей узкой полосе. Поэтому пу-

тешественники среди людей, перелетные среди птиц и хищники среди четвероногих выделяются своей сообразительностью, необычными дарованиями или повадками. Но, разумеется, и среди этих избранных кто лучше, кто хуже усваивает воспитующие внушения, на которые не скупится вселенная, щедрая по самой своей гармонической сути. Далеко не всегда наделен человек уравновешенностью и наблюдательностью, необходимыми для того, чтобы уловить чередования и сочетания в достопримечательном, осмыслить и сопоставить виденное как подобает. Теперь я все чаще распознаю в моих первых помыслах немеркнущие цвета отчизны, ее веянья, неповторимое предзнаменование моей личности, которое я постепенно разгадываю, все отчетливее постигая: судьбою и личностью называют, в сущности, одно и то же.

— А для меня, — молвил Сильвестр, — неодолимее всего обаяние живой природы, земля, как бы примеривающая различные облачения. Особенно привлекает меня кропотливое исследование флоры, чьи дети так мало похожи друг на друга. Сама почва говорит всходами, как словами; в каждом новом листе, в каждой цветке по-своему раскрывается некая тайна, чья любовь, чье вожделение недвижно и безмолвно, так что образуется кроткое, безгласное растение. Когда где-нибудь в безлюдных дебрях встречается такой цветок, разве не вся окрестность причастна его красоте, разве крылатые малютки певчие не льнут именно к нему? Так и оросил бы землю блаженными словами, чтобы руки и ноги вросли в нее, укоренились, навеки закрепив благодатное соседство. Любовь даровала изнывающему миру свой непостижимый зеленый покров, и эта изысканная тайнопись лишь для любимого разборчива, недаром на востоке каждый цветок что-нибудь означает. Тут, сколько ни читай, все будет мало; день за днем обнаруживаются новые значения; когда природа любит, она, не таясь, просвещает нас неизведанными восторгами, так что упиваешься без конца; вот сокровенный соблазн, влекущий меня странствовать по земле; где-нибудь найдется ключ к любой загадке; лишь постепенно постигаешь начало и цель каждого пути.

— Действительно, — согласился Генрих, — наша беседа о детских годах и о воспитании наваяна вашим садом; настоящие провозвестники детства — невинное племя цветов; цветы втихомолку оживили у нас в памяти и накликали к нам на уста свидетельство истинного союза. Мой отец тоже глубоко предан саду; нигде не бывает ему так хорошо, как в своем цветнике. Отсюда его чуткое внимание к детям: в цветах узнаешь детей. Совершенное изобилие неисчерпаемой жизни, яростные стихии последующих эпох, ослепительное светопреставление, все и вся в золотом грядущем созерцаются еще здесь в сокровенной нерасторжимости, однако уже обновленные нежно и явственно. Любовь неодолима, однако здесь любовь — произрастание, а не всеожжение. Вместо губительного пыла здесь летучий аромат; и здесь души проникновенно сочетаются в упительной неге, но здесь не увидишь дикого иступления, алчной страсти, свойственной зверю. Первоначальное детство никнет к земле; напротив, не распознается ли в облаках грядущее небесное детство, обетованный рай, столь благосклонный к своему здешнему предвестию?

— Спору нет, облака оваяны тайной, — ответил Сильвестр, — та или иная облачность порою приобретает над нами странную власть. Облака плывут, как бы

готовые приобщить нас к своей сумрачной прохладе, чтобы мы им сопутствовали, а когда они своим изяществом и красочностью напоминают нам, как улечиваются наши задушевные чаянья, сияние овладевает всей землей, и мы предчувствуем неизъяснимое, неопишное великолепие. Но иногда в небе распространяется хмурое, гнетущее, жуткое ненастье, как будто сама древняя Ночь ополчила против нас все свои мороки. Кажется, небо навеки омрачилось, нет больше ласковой голубизны, и медно-красная ржавчина на черно-серой тверди заставляет болезненно ныть человеческое сердце. А когда высовываются зловещие огненные жала и сокрушительный гром подобен издевательскому хохоту, унижительный страх пронизывает нас, и, если не восторгивает сознание нашего духовного избрничества, мы воображаем, будто преисподняя на нас наслала свои полчища и свирепые демоны помьяают нами. Так напоминает о себе былая природа, чуждая человечности, но так же пробуждает нас природа высшая, наша небесная совесть. Твердыня смертной природы потрясена, зато сияет бессмертное в своем просветляющем самопознании.

— Когда же вселенная, — спросил Генрих, — избавится от ужасов, страданий, бедствий и перестанет нуждаться в зле?

— Когда в мире будет властвовать одна только совесть¹², которой благонаравно покорится укрощенная природа. Теперь повсюду властвует слабость, отсюда и зло, ибо что такое слабость, если не притупленность нравственного чувства, склонного пренебрегать собственной свободой.

— Поведайте же мне, в чем природа совести.

— Об этом надо просить Бога. Познание совести — это сама совесть. Попробуйте поведать мне, в чем заключается поэзия.

— Наше сокровенное существо не поддается выявлению.

— Насколько же сокровеннее совершенная целостность. Поймет ли глухой, что такое музыка?

— Итак, чувство всегда сродни миру, который в нем явлен, и усваивается только то, что принадлежит нам?

— Вселенную составляют бесчисленные миры, меньший мир всегда заключен в большем. Все чувства подытоживаются единым чувством. Нет такого мира, и нет такого чувства, которому были бы чужды остальные миры в своей последовательности. Но всему присущ свой срок и свой обычай. Лишь вселенскому «я» дано постигнуть своеобразие нашего мира. Кто знает, способны ли мы, замкнутые в нашем теле, действительно приобщиться к мирам иным, обретая иные чувства, или, познавая, мы только совершенствуем наш здешний жизненный опыт новыми возможностями?

— А не совпадают ли эти два пути? — молвил Генрих. — Для меня несомненно одно: лишь с помощью Музы дано мне освоить мой нынешний мир. Даже если чувства и миры порождены совестью, этим средоточием нашего существа, для меня совесть — лишь душа вселенского стиха, лишь проявление извечной романтической соборности, жизни, единой в неисчерпаемом разнообразии.

— Добрый пилигрим, — ответил Сильвестр, — строгая законченность, воплощение истины — всегда свидетельство совести. Совесть по-своему сказывается, преображаясь в любом побуждении, в любом искусстве, осмысленно обрисовы-

вающем свой мир. Мы все совершенствуемся ради свободы, иначе не скажешь; только свобода — это вовсе не умозрение, это изначальное творчество, без которого нет бытия, истинное художество. Вольный замысел художника покоряет, придерживаясь размеренной мудрой постепенности. Художник располагает предметами своего искусства, он владеет ими, они не связывают и не тяготят его. Этой безграничной вольностью, художеством или властью и живет совесть, откровение божественной самобытности, первичное самосоздание нашего существа; и в каждом начинании художника явственно нисходит целостный мир вне всяких заблуждений — Слово Божие.

— Итак, то, что прежде, помнится, слыло этикой, на самом деле религия, истинная наука, теология, если воспользоваться привычным наименованием? Законодательство, над которым благочестие, как Бог над природой? Воздвижение Слова, гармония помышлений, в которых читается, выступает или таится горнее соответственно той или иной степени совершенства? Религия для проничательности и для разума, правый суд, справедливое определение и разрешение всех жизненных вопросов, сопутствующих отдельному лицу?

— Так или иначе, — молвил Сильвестр, — совесть от рождения сопутствует человеку и приобщает его к Богу. Совесть — как бы земная наместница Бога, поэтому для многих нет ничего выше совести. Однако учения, именуемые этическими или моральными, не сумели поныне даже приблизительно очертить совершенный облик этой благородной, пространной и такой личной идеи. Совесть человека — это сам человек в своей совершенной человечности, небесный Адам. Совесть не поддается членению, она избегает общих предписаний и не сводится к разным добродетелям. Добродетель едина; это безупречная твердая воля, не знающая колебаний, когда настает ее час. В своей одушевляющей неповторимой цельности она владеет телом человеческим, этим нежным символом; кто, как не она, движет всеми фибрами нашего духовного существа, не позволяя им бездействовать.

— О достойный отец мой! — воскликнул Генрих, перебивая его. — Ваши речи восхищают меня, просвещая! Конечно же Музу вдохновляет сама добродетель в привлекательном убранстве; ей повинуются поэтическое искусство, чье истинное назначение — пробуждать сущее в его совершенной первозданности. Ошеломляющее своеобразие роднит истинную песню и высокий подвиг. Когда согласие устанавливается в обжитом мире, спокойная совесть — обаятельная собеседница или вечная сказительница Муза. Эти луга и замки — исконная обитель поэта, пока поэт на земле; добродетель — его проводница и вдохновительница. Если добродетель причастна человечеству как некое божественное сияние свыше, Муза тоже такова, и поэту без всякого сомнения позволительно верить своим наитиям, руководствоваться наставлениями горних вестников, когда поэт одарен сверх земной меры, словом, по-детски кротко внимать своему гению. И в поэте вещает сверхчувственное начало вселенной, и до нас доносятся чарующие призывы обитателей, более родных и более свойственных нам. Вера для добродетели то же, что наитие в заветах Музы, и если в Святых Писаниях собраны предания об Откровениях, заветы Музы, не скупясь на краски, запечатлевают нездешнюю горную жизнь в сказаниях, чей исток — чудо. Муза

и предание в причудливых нарядах задушевно сотрудничают на своих извилистых стезях; Библия и завет Музы — союзные светила.

— Вы верно говорите, — молвил Сильвестр. — Сами видите: природа зиждется на одной добродетели, чей дух упрочивает ее. Он воспламеняет, живит, просвещает дольную ограниченность. От звездного свода в этой величественной твердыне до последнего завитка в цветной кайме луга все основано единым духом; он приобщает нас ко всему, являя неисповедимый путь естественной истории, чья цель — просветление.

— Да, вы уже убедили меня в том, как восхитительно сочетаются добродетель и религия. В границах пережитого, в пределах земной предприимчивости — везде сказывается совесть, связующая дольний мир с мирами иными. На высотах чувства дает себя знать религия, и в необходимости, доселе как бы загадочной, в нашем сокровеннейшем побуждении, всевластном, но якобы беспредметном, обретается дивная, многолика, желанная родина, блаженное Богочеловечество в неизъяснимой проникновенности, когда обожающая воля или любовь, не покидая нас, царит во всех тайниках нашей души.

— Вы PROVIDЕЦ, потому что вы чисты сердцем, — ответил Сильвестр. — Для вас нет непостижимого; вы прочитаете вселенную со всеми быльями, как Святое Писание; оно остается для нас образцом, бесхитростно являя единое бытие в словесах и в преданиях, если не описывая, то внушая истину нашей душе, которую волнует и открывает восхищение.

Природа не отказала моей пылкости в том, что вы извели, упиваясь вашей вдохновительницей речью. Искусство, история были преподаны мне природой. Известная всему миру гора Этна, что на Сицилии, высилась вблизи нашего жилища. Моим родителям принадлежал уютный дом, воздвигнутый в духе прежнего зодчества; море совсем рядом разбивалось о прибрежные утесы; осененный старыми-престарыми каштанами, дом был достоин великолепного сада, где все цвело и плодоносило. Рыбаки, пастухи, виноградари расселились по соседству в своих лачугах. Под нашим кровом изобиловали разные припасы, насыщающие и улаживающие жизнь, а домашняя утварь своей продуманной отделкой угождала даже затаенным пристрастиям. Имелись многообразные сокровища, как бы предназначенные своей красотой возносить наше чувство над повседневными нуждами, чтобы мы впоследствии удостоились другой жизни, более для нас подобающей, а пока наслаждались нашим истинным призванием в безгрешных предвещаниях и предвкушениях. Взор привлекали каменные изваяния людей, вазы, украшенные живописными сценами, камни поменьше, вернее, безупречные резные фигурки и другие изделия, вероятно завещанные нам быльями, счастливейшими эпохами. Множество пергаментных свитков хранилось в ларцах; письма невообразимым строем запечатлели наследие тех веков; их наука, их нравы, предания и песни оживали в оборотах речи, не утративших своей изысканной прелести. Мой отец был известен как сведущий астролог, и к нему постоянно обращались, иногда пускаясь в долгое путешествие, чтобы побеседовать с ним, а так как человечество привыкло благоговеть перед прорицателями, никто не скупился, воздавая должное столь необычному искусству; щедрые преподношения вполне позволяли отцу пользоваться удовольствиями обеспеченной жизни...

ЛЮДВИГ ТИК О ПРОДОЛЖЕНИИ РОМАНА

Дальше продвинуться в работе над второй частью автору не довелось. Назвав первую часть «Чаяньем», эту часть назвал он «Обретением», так как в ней осмысливаются и сбываются предчувствия, еще смутные в первой части. За «Офтердингеном» должны были последовать еще шесть романов, согласно замыслу поэта, надеявшегося посвятить по одному роману своим воззрениям на физику, на гражданское устройство, на предпринимательство, на историю, на политику и на любовь, как «Офтердингена» посвятил он поэзии. Нет нужды объяснять искушенному читателю, что в данном сочинении автор отнюдь не стеснял себя буквальной верностью эпохе или особе прославленного миннезингера, хотя все в романе овеяно его эпохой и его духом. Не только друзья поэта безутешны, само искусство обездолено: остался незавершенным роман, вторая часть которого превзошла бы первую своей самобытностью и величием. Ибо автор меньше всего пытался просто представить какие-нибудь обстоятельства, обрисовать одну из многих сторон поэзии, подчиняя действие и персонажей задачам истолкования, нет, он вознамерился, о чем определенно свидетельствует уже последняя глава первой части, осветить поэзию как таковую в ее глубочайших устремлениях. Вот почему природа, история, война, мирная повседневность во всей своей заурядности оборачиваются поэзией, чей живительный дух пронизывает вещи.

Надеюсь, что мне удастся на основании подробностей, запомнившихся после бесед с моим другом, и с помощью набросков, обнаруженных мною в его черновиках, показать читателю, какою была задумана вторая часть романа.

Для поэта, овладевшего своим искусством в самом его средоточии, нет ничего непримиримого и неприемлемого; он обрел ключ ко всем загадкам; магическими узлами своего воображения способен поэт сочетать любые времена с любыми мирами; нет больше ничего сверхъестественного, ибо само естество чудотворно; таково это творение, и сказка, завершающая первую часть, поражает читателя особенно дерзкими сочетаниями; в сказке упразднены все границы времен, слывших до сих пор обособленными в неприязненном противостоянии миров. Именно сказка, по замыслу поэта, в основном предваряет вторую часть, где повседневность неуклонно впадает в чудеснейшее; так что повествование определяется их общением, истолковывающим и обогащающим; явление духа, возвестившего стихи пролога, предполагалось после каждой главы; ему надлежало поддерживать веянье чудесного в каждом предмете. Этот прием позволял бы неразрывно сочетать зримое с незримым. Сама поэзия представлена этим

вещим духом, он же астральный человек, рожденный объятием Генриха и Матильды. Вот стихи, предназначенные для романа; в этих стихах со всей неприужденностью сказывается сокровенный дух, присущий книгам нашего автора:

Когда в числе и в очертанье¹
 Не раскрывается создание,
 Когда стихом и поцелуем
 Над мудростью мы торжествуем,
 Когда, предчувствуя свободу,
 Обрящет мир свою природу,
 Когда сольется тень со светом,
 Сияньем чистым став при этом,
 И в песне разве что да в сказке
 Былое подлежит огласке,
 Тайное слово одно таково,
 Что гинет превратное естество.

Старец, некогда оказавший гостеприимство Офтердингену-отцу, — собеседник Генриха, садовник; не он отец юной девы по имени Циана; ее отец граф фон Гогенцоллерн; Восток — ее родина, рано покинутая, но памятная; ее мать умерла и после смерти растила свою дочь в горах, где та долго жила странной жизнью; у нее был брат, уже давно скончавшийся; однажды она сама чуть не умерла, уже похороненная в склепе, однако спасенная чудесным искусством старого врача. Она довольна жизнью и ласкова; таинственное — ее стихия. Она повествует поэту о его жизни, которая известна ей со слов матери. Отправившись по совету Цианы в отделенную обитель, Генрих там находит монахов, как бы некое сообщество духов; весь монастырь подобен мистической ложе: там царит магия. Тамошние священнослужители призваны возжигать благословенное пламя в юных сердцах. Напев братьев доносится издалека; Генрих сподобляется видения в храме. С престарелым чернецом беседует Генрих о смерти и магии; смерть и философский камень смутно грезятся ему; Генриха привлекают монастырский сад и кладбище; последнему посвящены такие стихи:

Наше тихое веселье²,
 Нивы, цветники, чертоги,
 Утварь нашу, скарб домашний
 Славьте, вспомнив нас.
 Вечно длится новоселье,
 К нам приводят все дороги,
 В очагах огонь всегдашний,
 Новый пламень, что ни час.
 Ослепительные чаши,
 Увлажненные слезами.
 Шпоры, кольца золотые
 Бережно храним;

А в пещерах сокровенных
Мириады несравненных
Самоцветов драгоценных:
Этот клад неисчислим.

Дети времени седого,
Повелители былого.
Духи звезд великим кругом
Соединены.
Здесь любятся друг другом
Жены, девы, старцы, дети;
Замкнут круг тысячелетий
В мире вечной старины.

Каждый гость, как мы, беспечен.
Никогда не удалится
Тот, кто радостно пирует
С нами за столом.
Бег часов песочных вечен,
Здесь нельзя не исцелиться;
Исцеление чарует:
Здесь не плачут о былом.

И в свягом своем покое
Благосклонно к нашим взорам
Задушевно голубое³
Небо навсегда.
В одеяньях окрыленных
Мы вверяемся просторам,
Где среди лугов зеленых
Неизвестны холода.

Упоенье вечной ночи,
Власть беззвучных средоточий,
Игры тайных сочетаний
Нам постичь дано.
Сладостный предел желаний:
Заиграть в потоке цельном,
Словно брызги в беспредельном,
И пригубить заодно.

Стала жизнь для нас любовью;
Задушевно, как стихии,
Слиться рады мы в потоки;
В этом наша жизнь.

Разлучаются потоки,
Сталкиваются стихии
С беспредельною любовью:
Сердце в сердце — наша жизнь.

Нежный говор слышен смутно,
Мы прислушаемся чутко;
Зрелище блаженных чудно.
Пища наша — поцелуй.
Нам другой не нужно дани.
Стало все для нас плодами.
Перси нас предугадали
В жертвенном пылу.

Раствориться бы в желанном;
С ним в томленье беспрестанном,
В сочетанье долгожданном
Слиться бы вполне;
И прельщать всегда друг друга,
Поглощать всегда друг друга,
Насыщать всегда друг друга
Лишь друг другом в глубине.

Мы в блаженстве пребываем.
Искра тусклая мирская
Дико вспыхнула, сверкая,
Чтобы догореть;
Был могильный холм насыпан,
Догорел костер печальный,
Чтоб душе многострадальной
Черт земных не видеть впредь.

Волшебством воспоминаний
В нас тревоги зазвучали;
Жар былых очарований
В сердце не угас;
Раны вечные бывают;
Богоданные печали
Нас в один поток сливают,
Растворив сначала нас.

Сокровенными волнами
В океан течем первичный;
Богу в сердце мы впадаем
С ним наедине;

Божье сердце движет нами;
Обретаем круг привычный,
В нашей вечной быстрине.

Сбросьте цепи золотые,
Изумруды и рубины;
Сбейте пряжки⁴, звон заклятый
С блеском заодно!
Покидайте гробовые
Бездны, логова, руины.
К Музе в горние палаты
Взмьгть цветущим суждено.

Знать бы людям нашу силу!
Мы причастны неизменно
Их счастливым упованиям
Помощью своей.
С беззаботным ликованьем
Уходили бы в могилу;
Время бы прошло мгновенно.
Приходите к нам скорей!

Обрести бы нам совместно
Жизнь и смерть в едином слове!
Будет слово нам известно,
Будет связан дух земли.
Нам в твоих пределах тесно,
Меркнешь ты при нашем зове;
Мы пленим тебя совместно.
Век твой минул, дух земли!⁵

Вероятно, это стихотворение опять-таки предшествовало бы второй главе как пролог. Здесь намечался поворотный пункт; глубочайшее спокойствие смерти приводило бы к высотам жизни; Генрих посетил мертвых и даже общался с ними; продолжение книги было задумано в драматической форме; повествование лишь оттеняло бы слегка смысл в сочетании различных сцен. Вот Генрих в тревожной Италии, сотрясаемой битвами; он военачальник, у него в подчинении рать. Стихии войны играют всеми своими поэтическими красками. Генрих врывается во вражеский город, возглавив удальцов; любовь благородного пизанца к флорентийской деве представлена как эпизод. Воинственные песнопения. «Война как возвышенное, гуманное единоборство, поистине величественна в своей мудрости. Дух старинных рыцарских орденов. Конные ристания. Дух вакхического томления. Человеку подобает пасть от руки человека; это достойнее, чем умереть по произволу рока. Человек ищет смерти. Воитель жаждет подвига и славы — в этом его жизнь. Тень павшего воителя жива. Воинский дух — упоение

смертью. Война обосновалась на земле. Земля обречена войне». Сын императора Фридриха II знакомится с Генрихом в Пизе; между ними завязывается тесная дружба. Генрих также посещает Лоретто⁶. Тут последовали бы некоторые песни.

Поэт заброшен бурей в Грецию. Древность покоряет его своей героикой и роскошным искусством. Некий грек рассуждает с Генрихом о морали. Было бы уже не чуждо Генриху, он учится понимать древние изваяния и легенды. Обсуждаются государственные учреждения греков, их мифы.

Освоив героическую старину и древность, Генрих прибывает на Восток, о котором мечтал еще ребенком. Генрих видит Иерусалим, изучает восточные стихотворения. Он сталкивается с мусульманами; таинственные события увлекают его в безлюдную местность, где находит он родичей восточной девы (см. первую часть); нравы и обычаи кочевников. Персидские сказки. Свидетельства глубочайшей старины. При всей пестроте повествования книга не должна была терять своей особой красочности, возвекая голубой цветок; предстояло сочетать многообразнейшие сюжеты иногда самого неожиданного происхождения: эллинские, восточные, ветхозаветные, христианские; веянья и отголоски то индийской, то нордической мифологии. Крестовые походы. Мореплавание. Генрих в Риме. Исторические судьбы Рима.

Генрих многое испытал и пережил. Он снова в Германии. Генрих навещает своего деда, оценит его глубокомысленную задушевность. Клингсор с ним неразлучен. Их разговоры по вечерам.

Генрих при дворе императора Фридриха, он представлен государю. По замыслу автора, двор впечатляет своей значительностью; было бы выведено собрание избранных, возвышеннейшие, удивительные посланцы всего тогдашнего мира, круг, достойный своего государя. Торжествует истинное величие, благородная общительность. Истоковывается германский дух и германская история. Генрих – собеседник императора. Между ними заходит речь о началах правления, о принципе империи. Смутные слухи об Америке и Ост-Индии. Воззрения государя. Кесарь мистический. Книга «*De tribus impostoribus*»⁷.

По-новому испытав и, по сравнению с «Чаяньем», то есть с первой частью, гораздо глубже изведав природу, жизнь, смерть, войну, Восток, историю и поэзию, Генрих обретает самого себя, как свою исконную родину. Постигая себя и мир, он жаждет просветления; сказка со всей причудливостью проникает в его жизнь, так как сердце готово ее воспринять.

В манессовской рукописи⁸ сохранилась трудная для толкования песнь Генриха фон Офтердингена и Клингсора, соревнующихся с другими миннезингерами; впрочем, автор намеревался представить не этот песенный турнир, а другое необычное поэтическое противоборство: столкновение добра со злом в песнях веры и безверия, зримое и незримое в противостоянии. «В своем вакхическом упоении поэты соперничают, прельщенные смертью». Прославляются разные науки; математика не уступает другим в своей поэтичности. Гимн индийской флоре. Индийская мифология выступает в новом свете.

Этим завершается земная жизнь Генриха, близится обретение. В этом смысле всего романа; сбывается сказка, венчающая первую часть.

Ясность и законченность устанавливаются чудом, в котором сама природа: уничтожены все преграды, истина неразлучна с Музой; бывшее не просто было, оно есть; вера, фантазия, поэзия ведут в святая святых задушевности.

Генрих попадает в царство Софии, постигая природу как аллегорическую возможность; перед этим он обсуждает с Клингсором разные таинственные предзнаменования и предвестия. Они осеняют его, когда ненароком он внял старинному напеву, где упоминается глубокий омут, неведомый людям. Напевом преодолено забвение; Генрих находит омут, а в омуте золотой ключ, некогда похищенный вороном, так что Генриху не удалось до сих пор вернуть свою пропажу⁹. Сразу же после смерти Матильды старец преподнес Генриху этот ключ с таким напутствием: нужно вручить ключ императору, которому ведомо дальнейшее. Генрих так и поступает; ошастливленный император показывает ему древний пергамент, согласно которому надлежит ознакомить с ним человека, нежданно-негаданно доставившего однажды золотой ключ; этого избранника ждет заповедный древний клад, приносящий счастье, карбункул, которого все еще недостает короне. Пергамент указывает приметы клада. Руководствуясь этими приметам, Генрих ищет заветную гору; в пути Генриху снова встречается странник, поведавший некогда ему и его родителям о голубом цветке; они беседуют о прозрении. Генриху открываются недра горы; Циана преданно сопутствует ему.

Генрих быстро достигает удивительного края, где воздух, вода, цветы не имеют ничего общего с нашей земной природой. Повествование перемежается драматическими сценами. «Люди, звери, злаки, камни, светила, стихии, звуки, цвета образуют одну семью; они едины в своих деяньях и речах, как соплеменники». «Цветы и звери рассказывают о человеке». «Зримое царство сказки наступает, действительность уподобляется сказке». Перед Генрихом голубой цветок, то есть Матильда: она во сне хранит карбункул. Малютка, дитя Матильды и Генриха, стережет гроб; ей дано омолодить своего отца. «Это дитя — младенчество вселенной, Золотой век до всех веков и после них». Больше нет противоречия между христианской и языческой верой. Гимны, посвященные Орфею, Психее и другим.

Генрих расколдовывает Матильду, сорвав голубой цветок, и, снова утратив ее, камнеет в отчаянье. Эдда (голубой цветок, уроженка Востока, Матильда) приносит себя в жертву Генриху-камню; Генрих оборачивается звучащим деревом. Срубив дерево, Циана предаёт огню его и себя; Генрих оборачивается золотым овном. Эдда, Матильда, приносит его в жертву, он вновь обретает человеческий облик. Меняя облики, Генрих участвует в причудливых диалогах.

Генриху приносит счастье Матильда, она же уроженка Востока и Циана. Наступает отраднейшее торжество задушевности. До этого не было ничего, кроме смерти. Последняя греза увенчана явью. «Снова выступает Клингсор, он же король Атлантиды. Мать Генриха — Фантазия, отец — Разум; Шванинг — Месяц; горняк — антиквар, он же древний витязь Железо. Император Фридрих — Арктур. Снова появляется граф фон Гогенцоллерн и кушцы». Все растворяется в аллегории. Камень вручен Цианой императору, но сам Генрих, оказывается, поэт, о котором ему поведали кушцы в своей сказке.

Последний морок удручает блаженную страну: она все еще заморожена чередованием времен года. Генрих ниспровергает власть солнца. Написано лишь начало поэмы, которой предстояло завершить роман:

БРАКОСОЧЕТАНИЕ ВРЕМЕН ГОДА¹⁰

В мысли свои погружен был новый король¹¹. Вспоминал он
Грезу ночную свою¹², повествование и весть.
Как он впервые тогда о цветке небесном услышал
И в прорицанье постиг мощь самовластной любви.
Кажется, все еще слышит он голос проницательный;
Кажется, только что гость¹³ был в дружелюбном кругу.
Месяц порою светил, от ветра ставни стучали,
В юной груди бушевал всепроницающий пыл.
«Эдда¹⁴, — король произнес, — какое желанье таится
В сердце нежном твоём? Сердце болит отчего?
Молви! Помочь мы вольны, мы властвуем. Дивным веленьем
Время преобразив, счастье даруй небесам!»
«Если бы распря времен завершилась, когда бы с грядущим
И с настоящим навек прошлое переплелось,
Если бы осень с весной и с летом зима сочеталась,
Мудро могли бы вдвоем юность и старость играть,
Так что источник скорбей иссяк бы, супрут мой любимый,
Все возжеленья тогда были бы утолены».
Так рекла королева. Король красавицу обнял:
«Наших достойно небес высшее слово твое.
То, что давно на уста глубоким навеяно чувством,
Внятно, торжественно ты первая произнесла.
Где колесница? Сплотим времена быстротечного года,
Соединим времена рода людского затем».

Они отправляются на солнце и находят сначала день, потом ночь, на севере зиму, на юге лето; на востоке обретают весну, на западе осень. Они достигают юность, потом старость, былое, как и грядущее¹⁵.

Я вверил читателю то, что запечатлелось в моей памяти и сохранилось в разрозненных черновиках моего друга. Если бы это великое начинание было осуществлено, новая поэзия обогатилась бы памятником, над которым не властно время. Я предпочел ограничиться таким сдержанным, немногословным свидетельством, чтобы не погрешить против достоверности и не привнести своих домыслов. Надеюсь, что фрагментарность этих стихов и записей не оставит читателя равнодушным, как во мне самом поврежденная картина Рафаэля или Корреджо своим уцелевшим фрагментом не вызвала бы сожаления, более трепетного.



ДОПОЛНЕНИЯ

УЧЕНИКИ В САИСЕ

Глава первая УЧЕНИК

Причудливы стези людские. Кто наблюдает их в поисках сходства, тот распознает, как образуются странные начертания, принадлежащие, судя по всему, к неисчислимым, загадочным письменам, приметным повсюду: на крыльях, на яичной скорлупе, в тучках, в снежинках, в кристаллах, в камнях различной формы, на замерзших водах, в недрах и на поверхности гор, в растительном и животном царстве, в человеке, в небесных огнях, в расположении смоляных и стеклянных шариков¹, чувствительных к прикосновению, в металлических опилках вокруг магнита и в необычных стечениях обстоятельств. Кажется, вот-вот обрешь ключ к чарующим письменам, постигнешь этот язык, однако смутное чаянье избегает четких схем, как бы отказывается отлиться в ключ более совершенный. Наши чувства как бы пропитаны всеобщим растворителем². Лишь на мгновение твердеют наши влечения и помыслы. Таково происхождение чайний, однако слишком быстро все тает вновь, как прежде, перед взором.

До меня донесли такие слова: «Лишь неведением обусловлено неведомое; неведение — это исканье, располагающее искомым, так что искать уже нечего. Языком не владеют потому, что язык сам собой не владеет и не желает владеть; истинный санскрит³ — речь ради самой речи; это не что иное, как упоение речью».

Вскоре после этого некто произнес: «Истолкования противопоставлены священным письменам. В совершенной речи сказывается преизбыток вечной жизни, а для нас такое писание созвучно первоначальным тайнам, ибо в таком писании слышна всемирная гармония». Вне сомнения, голос вещал о нашем учителе⁴, ибо ему дано сочетать приметы, разрозненные повсюду. Необычный свет вспыхивает в его взорах, когда нам явлены возвышенные руны и учитель заглядывает нам в глаза, не озарилось ли уже наше внутреннее небо, позволяя отчетливо читать предначертанное. Когда наше уныние подтверждает, что тьма все еще непроглядна, он ободряет нас и сулит упорной, непоколебимой зоркости торжество в будущем. Охотно вспоминает он, как в детстве был одержим неусыпным стремлением изощрять, напрягать, обогащать свои чувства. Он всматривался в звезды и, как умел, передавал на песке их приметы и местоположение. Без усталости смотрел он в море небесное, и ему никогда не надоедало наблюдать эту синеву, эти волны, эти тучи и лучи. Он искал камни, цветы, насекомых и в разных сочетаниях раскладывал свои находки. При этом не упускал он из виду людей и зверушек, сидел на морском берегу, облюбовывал раковины. Настороженно внимал он своей душе и помыслам. Невдомек ему было, куда душа стре-

мится, томясь. Повзрослев, он странствовал, исследовал чужие края, чужие зыби, чужие небеса, невиданные светила, незнакомые растения, зверей, иноземные народы, углублялся в пещеры, в разноцветных наслоениях и пластах изучал состав земли, лепил из глины прихотливые подобия скал. И везде убеждался, что ему ничто не чуждо, какие бы странные союзы и соединения ему ни встречались: в нем самом уживалось не меньше загадок. Вскоре он обнаружил во всем взаимодействии скрещенья, соответствия. Тогда он уже понял: ничего не существует порознь. Чувственные свидетельства едва вмещались в необозримые красочные видения, в которых совпадали слух, зрение, осязание, мысль⁵. Ликуя, он сопрягал инородное. В звездах видел людей, а в людях звезды, в камне угадывал зверя, а в облаке злак; он постигал игру явлений и стихий, он извещал, что, где и как обнаруживается; ради ладов и звуков он умел уже затронуть струны.

Что он такое теперь, от него не узнаешь. Он только внушает нам, что мы сами, руководствуясь его указаниями и своими побуждениями, изведем пройденный им путь. Кое-кто из наших распростился с ним, вернулся в родительский дом и поступил в учение ради хлеба насущного. Иных он сам направил, не сказав нам куда: это его избранники. Кто пробыл с ним недолго, кто подольше. Один был еще ребенком⁶, а учитель хотел уступить ему свое место. В его больших темных глазах таилась небесная голубизна, лилейная кожа излучала свет, кудри вились, как прозрачные тучки на закате. Его голос пронизал нас до самого сердца, и мы были бы рады одарить его нашими цветами, камнями, перьями. Его улыбка отличалась неизъяснимой значительностью, в его присутствии мы испытывали таинственное блаженство. «Он еще возвратится, — предрек учитель, — чтобы не покидать нас; тогда уроков больше не будет». Учитель назначил ему провожатого; тот нередко вызывал прежде наше сожаление. Никто не видел его веселым; сколько лет провел он здесь, а ни в чем не преуспел; когда мы выходили на поиски кристаллов или цветов, они ему не попадались. Он был близорук, разноцветные узоры у него не выходили. Он то и дело разбивал что-нибудь. Однако своей наблюдательностью и чуткостью он превосходил всех остальных. Еще до того, как в нашем кругу гостил ребенок, было время, когда он приобрел и явил неожиданную сноровку. В один прекрасный день он удалился, печальный, и мы напрасно ждали его к ночи. Мы очень тревожились о нем, когда вдруг на рассвете в ближней роще раздался его голос. Ликованье звучало в торжественной песне нам всем на удивленье; учитель обратил своей взор к Востоку, таким он мне едва ли явится снова. Вскоре мы окружили счастливец, который, сияя невыразимым восторгом, держал невзрачный камешек причудливого вида. Когда находка оказалась в руках учителя, он долго целовал ее, обвел нас влажными глазами и заполнил этим камешком пустовавшее средоточие сверкающих узоров.

Эти мгновения останутся в моей памяти навеки. Наши души как бы мельком восприняли ясное предвестие иного дивного мира. Моя сноровка тоже оставляет желать лучшего, другим как будто бы доступнее сокровища природы. Зато ко мне благоволит учитель; он разрешает мне сидеть и думать, когда искатели уходят. Опыт учителя мне до сих пор неведом. Все меня влечет в меня же само-

го. Второму голосу я внял, сдается мне, постигнув некий смысл. Мне по душе диковинные россыпи и начертанья в залах, только, мнится мне, это всего лишь ризы, пологи, оклады, предвещающие образ чудотворный, божественный; он вечно в моих мыслях. Их я не собираю, мне бы разобрать их. Мне думается, это веки, указующие путь в святилище, где сном глубоким объята дева, ею дух мой бредит. От учителя об этом я не слышал никогда и с ним не поделюсь моею неизреченной тайной. Довериться бы мне тому ребенку, лик его неким сходством обнадеживал меня, при нем во мне все прояснялось. Побыл бы он здесь подольше, я бы лучше в себя вчитался. Быть может, мое сердце разомкнулось бы, язык обрел бы свободу. Сопроводить ребенка тоже был бы я не прочь. Не довелось мне с ним отправиться. Не знаю, сколько времени я здесь пробуду. Не остаться бы мне здесь навеки. От самого себя таюся, однако до глубины души проникся я верой: здесь обрету я то, что вечно меня влечет, она близка. Когда сопутствует мне вера, все сочетается ради меня в одном высоком образе, в неведомой гармонии, все к одному пределу стремится. Все тогда мне сродно, все дорого, то, что казалось мне далеким в разобценье, вдруг дается в руки, как предметы обихода.

Не приобщен я к разобценью, единеньем подобным и привлечен, и отстранен я. Не способен и не склонен я понимать учителя. Люблю в нем эту непонятность. Уверен я, он мне сочувствует; не помню, чтобы он противоречил моим порывам или моим стремлениям. Он скорее предпочел бы, чтобы мы избрали сами свой путь; нехоженным путем идут к неведомым пределам, нет пути, который не кончался бы в чертоге на родине священной. И мне бы выполнить мое предначертанье:⁷ когда, согласно письмам, не приподнять нам, смертным, полога, искать бессмертия нам надлежит; кто полога поднять не чает, тот недостойн зваться учеником в Саисе.

Глава вторая ПРИРОДА

Наверное, далеко не сразу решились люди определить общими наименованиями многообразные предметы своих чувств, при этом выделив самих себя. Опыт бы содействовал совершенствованию навыков, а навыки всегда разграничиваются, обособляясь, что с большой наглядностью можно уподобить преломлению светового луча. Так наше внутреннее существо разобцается в отдельных способностях, и подобное разобцение лишь усугублено дальнейшим опытом. Не признак ли старческой хворости в нынешнем человечестве эта немощь, для которой уже несовместимы краски собственного духа, так что не удастся играть в древнюю естественность¹ и вкушать неизведанное в бесчисленных соединениях. Чем глубже согласие, тем оно привлекательнее для стихийных начал и воплощений, готовых впасть в него со всей своей неповторимой цельностью; каково восприятие, таково и впечатление; вот почему на заре человечества единосущное, родственное, союзное угадывалось едва ли не во всем; живейшее своеобразие не могло не сказываться в мирозерцании; сама природа веяла в любом человеческом по-

ступке; окрестная вселенная не только не опровергала воображаемого, а, напротив, лишь в нем находила свое истинное выражение. Думы наших предков со своей направленностью и внешней предметностью, стало быть, остаются для нас органическим проявлением самого земного бытия, изобразившегося в них как достоверное былое, и нам не найти более целесообразных приспособлений, когда мы намерены точнее исследовать изначальную соразмерность мироздания в его прежнем взаимодействии с теми, кем оно населено. Мы заметили, что человеческая пытливость сразу же обратилась к наиглубокомысленнейшим загадкам, а ключ к этому чудесному чертогу виделся то в изначальном скоплении действительных данностей, то в некоем соответствии воображаемого и неизведанного. Нельзя при этом не засвидетельствовать общего чаянья обрести искомое в текущем, неизвестном и зыбком². Устойчивая вещественность в своей громоздкой неуклюжести, пожалуй, давала разуму достаточный повод усматривать в ней подчиненное второстепенное бытие. Добросовестного мыслителя³, впрочем, весьма скоро озадачило непредвиденное препятствие: как вывести образы из этой зыбкой, безбрежной стихии? Мыслитель готов был счесть развязкой некую слитность, сводя первоосновы к неизменным, четким частицам, дробным сверх всякого представления, предполагая, что непомерный объем составляется из этих мельчайших брызг, пускай при участии начал, свойственных разуму, стихий, влекущих и отвращающих. Обоснованию подобных гипотез предшествуют, очевидно, сказания и песни, изобилующие яркими, наглядными подробностями; люди, боги, звери выступают как содружество искусников, а происхождение вселенной засвидетельствовано подкупающей простотой повествования. Во всяком случае, так мы убеждаемся, что вселенная — *произведение* в своей изначальной произвольности, а даже для тех, кто пренебрегает своенравным племенем вымыслов, такое зрелище не лишено знаменательности. Отождествление вселенского и человеческого в едином свершении, когда везде прослеживаются человеческие обстоятельства и свойства, — вот идея, чьими преобразованиями сближаются отдаленнейшие эпохи, ибо за нее как будто говорят ее обаяние и доходчивость. Да и сама произвольность природы едва ли не восполнена идеей человеческой личности, чья человечность в своей определенности, кажется, меньше всего противится постижению. Должно быть, потому истинная любовь к природе предпочитает прочим ухищрениям поэтическое искусство, в котором дух природы сказывается откровеннее. Неподдельная поэзия позволяет читателю или слушателю ощутить, как действует сокровенная осмысленность, приобщая к небесной телесности, возносящейся в самой природе превыше нее. Естествоиспытатели и поэты всегда составляли как бы особую народность, сплоченную общим языком. То, что естествоиспытатели накапливали в совокупности, сочетая свои находки в продуманном изобилии, поэты приготавливали как насущное продовольствие для человеческих алчущих сердец, вычленив и чеканя из непомерной природы множество уменьшенных, неповторимых, привлекательных подобию. Пока поэты не долго думая увлекались преходящим и зыбким, естествоиспытатели, разъяв острыми лезвиями сокровенную соразмерность, силились вникнуть в сочленения. Дружелюбная природа, умерщвляемая руками естествоиспытателей, только держалась, словно безжизненное тело, однако, вдохновленная поэзией, как возбуди-

тельным вином, она не таила своих священнейших, отраднейших наитий, воспарив над своей повседневностью, достигала небес; вещая танцовщица была рада каждому гостю и, развеселившись, не скупилась на дары. Так природа упивалась райскими радостями с поэтом и обращалась к естествоиспытателю, не иначе как захворав и вознамерившись покаяться. Зато при этом она не уклонялась ни от каких вопросов и по достоинству ценила своего трезвого, твердого собеседника. Следовательно, тот, кто стремится постигнуть ее сокровенное чувство, наверно преуспеет, застав ее среди поэтов: скрытности как не бывало, и обнаруживаются все чудеса ее сердца. Однако тот, кто к ней не привержен душевно, кто лишь восхищен или озадачен тем или иным ее свойством, больше узнает, пристально осматривая ложе ее недуга или ее гробницу.

Природа ничуть не менее своеобразна в причудливом общении, чем тот или иной человек: если с детьми природа ведет себя как дитя, непринужденно принаравливаясь к детскому сердцу, то божеству природа предстает как божество, которому доступна духовная высота. Сказать, что некое естество наличествует, — значит уже позволить себе недопустимую выпренность, ибо чем больше ищешь достоверности в рассуждениях и толках о естестве, тем безнадежнее теряется естественность. Хорошо, если страсть к целостному познанию природы возвысится до тоски, до трепетной, смиренной тоски, которую едва ли отвергнет эта застывшая отрешенность, позволяя хотя бы в будущем уповать на более теплую взаимность. Весь наш внутренний мир — сфера неизъяснимого веянья, чей источник в неисчерпаемых недрах. Когда вокруг нас простирается дивная природа, воспринимаемая и не воспринимаемая нами, в этом веянье мы склонны слышать призыв ее, наше с ней сочувствие, только одному мерещится родина, окутанная этими голубыми недоступными тенями, юношеская любовь, родители и родичи, старая дружба, бывлые отрадные годы, а другому представляются нездешние, обетованные сокровища, и в чаянье затаенной, грядущей, изобильной жизни он уже раскрывает объятия вождельной новизне. Далеко не все способны сохранять спокойствие среди таких великолепий, стремясь постигнуть лишь само это зрелище в его целостности и слаженности, в дробных частностях не теряя из виду сверкающих уз, поддерживающих стройную сплоченность отдельных органов, так что это убранство, наподобие светильника при богослужении возносящееся над зияющей тьмою, своей одушевленностью вознаграждает бескорыстного наблюдателя. Так различается природа в созерцании, и если с одной стороны она прельщает забавной причудой или угощением, с другой точки зрения восприятие природы оборачивается возвышеннейшим вероисповеданием, наделяя человеческую жизнь целью, ладом и смыслом. Уже в детстве рода человеческого среди некоторых племен проявлялось глубокомыслие, усматривавшее в природе олицетворение божества, тогда как беспечные соплеменники предпочитали воздать должное лишь ее гостеприимству: упивались воздухом, как вином, по ночам затевали танцы при светочах звезд, в животном и растительном мире находили разве что изысканные кушанья, словом, довольствовались хорошей поварней и кладовой, не замечая безмольного таинственного капища. Иные, впрочем, шли дальше в своих размышлениях, выявляя в нынешней природе начала великие, но запу-

щенные, денно и ночью в творческих исканиях восстанавливая ее совершеннейшие прообразы. Каждый из них участвовал по-своему в решении необъятной общей задачи: кто надеялся воскресить заглохшие, забытые лады деревьев и дуновений, кто воплощал в каменных и бронзовых изваяниях свои чаянья, провидя новую красоту рода человеческого; выбирали утесы покрасивее, чтобы вновь превратить их в обители, возвращали дневному свету клады, таившиеся в подземельях, укрощали неудержимые потоки, обживали суровую морскую зыбь, возрождали в бесплодных местностях прежнюю роскошную флору и фауну, умеряли половодье в лесистых поймах, разводили редкостные цветы и овощи, распахивали целину, чтобы почва зачала, восприняв живительное величие и пылкое сиянье, приобщала краски к прелестной упорядоченности в картинах и взаимодействиях, а дебри, луговины, родники, утесы — к былому благообразию садов, вдыхали музыку в живые органы, чтобы они развивались, пробужденные в сладостном трепете, оберегали беззащитных, брошенных, не чуждых человечности животных, избавляли дубравы от прожорливых страшилищ, этих уродливых детищ извращенного воображения. Природа не замедлила усвоить былую приветливость; сделавшись мягче и отраднее, она охотно утоляла людские вождения. Исподволь ее сердце заволновалось в знакомом человеческом порыве, ее мечтанья прояснились, и она, как прежде, преодолела свою замкнутость, не оставляя без ответа доброжелательную любознательность; уже чудится неспешный возврат золотой старины⁴, когда природа благоприятствовала людям, утешала их, священнодействовала, творила ради них чудеса, разделяя с людьми обитель, где в наитии свыше человек обретал бессмертие. Еще навестят землю созвездия, враждовавшие с ней в пору вековых затмений, солнце перестанет возносить свой властный скипетр и присоединится к другим звездам⁵, встретятся все племена вселенной, разрозненные так давно. Свои обретут своих, изживется старое сиротство, что ни день, то будут новые свиданья, новые ласки; тогда на земле объявятся некогда отшедшие, нет холма, где не занимался бы пробужденный пепел, везде возгорается жизнь, старые домашние очаги восстанавливаются, старина молодеет, былое — лишь будущая греза непреходящего, неоглядного Сегодня⁶. Кто старается превозмочь дикость природы, тот, сородич и единоведец остальных, посещает художника в его мастерской, улавливает повсюду внезапные проявления поэтического искусства, свойственного всем сословиям, наблюдает природу неустанно, сближается с нею, покорствуется всем ее манованиям, по малейшему знаку рад отправиться в тягостный путь, какие бы затхлые склепы ни предстояло миновать, ибо неопишемые клады ждут его несомненно, огонек рудничной лампы не шелохнется, достигнув цели, и не предугадаешь заранее сокровенных небес, являемых обаятельной хранительницей земных недр. Очевидно, безнадежнее других теряет верное направление тот, кто возомнит себя знатоком неведомого, вкратце пересказывая его устав и якобы никогда не заблуждаясь. Истина не открывается ни одному из тех, кто обособился, подобно острову, избегая при этом усилий. Нечаянно преуспевает лишь ребенок или тот, кто младенчески прост в своих безотчетных поступках. Длительная, неуклонная приверженность, наблюдательность, изощренная и неподвзятая, чуткость к неуловимым залагам

и приметам, проникновенное поэтическое одушевление, утонченная чувствительность, сердце, бесхитрое в страхе Божьем, — все это необходимо, чтобы сблизиться с природой, обычно отвергающей необоснованные притязания. Мудрый согласится, что человечество едва ли доступно для постижения, пока человечность не вполне расцвела. Чувствам противопоказано усыпление, и, даже если не все они пробуждаются одновременно, их следует упражнять, а не подавлять, иначе они притупятся. Как дарование живописца уже угадывается в неутомимом отроке, разрисовывающем стены и гладкий песок, чтобы насытить очертания многоцветной красочностью, так вселенская мудрость уже дает себя знать в человеке, не упускающем из виду ни одного предмета в природе, в любопытном, зорком, способном накапливать броское и ликовать, когда благоприобретенное искусство обогащается новым наблюдением, навыком или сведением.

Правда, иные полагают, что слишком хлопотно гнаться за природой в ее непрерывном разобщении, не говоря уже о том, что такое начинание не предвещает ничего доброго, ничем не обнадеживает и никуда не ведет. Если в плотном веществе невозможно выявить последнюю неделимую частицу или тончайшую нить в его ткани, так как все убывает и возрастает, исчезая в беспредельном, столь же неисчерпаемы вещественность и движение: нет конца разновидностям, сочетаниям, единичным случаям, озадачивающим нас. Если нам видится неподвижность, значит, мы устали напрягать наше внимание и не дорожим больше сокровищем времени, наблюдаем от нечего делать, вычисляем скуки ради, и недалеко уже до настоящего бреда, когда вот-вот сорвешься в смертельную пропасть. Да и как ни углубляйся в природу, везде увидишь зловещие жернова уничтожения, всеобъемлющий круговорот, гигантский безысходный смерч, ненасытное, всепоглощающее неистовство, губительное исчадие бездны; редкие проблески только усугубляют угрозу тьмы, и нельзя не обмереть при виде стольких пугал. Где человек, там и смерть, как единственное спасение, иначе следовало бы считать безумного блаженнейшим. Куда, как не в пропасть, влечет сам порыв к постижению этого всеобъемлющего двигателя, именно в таком порыве кроется опасность: стоит поддасться соблазну, и сразу же начинает засасывать некое подобие усиливающегося водоворота, никогда не отпускающего своих жертв, так что гнетущая тьма неотвратима. Такую ловушку подстраивает лукавая природа, на каждом шагу норовя извести ненавистный человеческий расщепок. Хорошо еще, что люди в своей неискушенной простоте, как дети, не обращают внимания на бури, грозящие со всех сторон обжитому покою и ежеминутно готовые все сокрушать. Разве что благодаря стихийной междоусобице в самой природе поныне сохранился человеческий род, однако великий срок неминуем; не останется ни одного человека, который не предпочел в единомышленном великом порыве вместе с другими преодолеть свою горестную участь, взломать свое мрачное узилище, бескорыстно отвергнув свое земное достояние, избавить себя и себе подобных от исконного гнета ради лучшей обители, где от века простирается спасительный отчий покров. По крайней мере, такой конец менее унижителен для человечества, ибо он предупредит неминуемую жестокую гибель или одичание в последовательном распаде всех умственных способнос-

тей, то есть в иступлении, что хуже гибели. Чтобы освоиться со стихийными началами, с миром животным и растительным, с горами и зыбями, человеку нельзя не опуститься до сходства с ними, а дух природы в том и проявляется, что присваивает, искажает, разлагает божественность и человечность в необузданных стихиях своего жуткого ненасытного произвола: что еще доступно зрению, если не руины бывшего величия, последки жуткого пиршества, да и ради этого не расхищено ли небо?

«Хорошо же, — говорят отважнейшие, — объединившись, давайте изнурим такую противницу в долгой, тщательно рассчитанной борьбе. Попробуем, не поддастся ли природа вкрадчивой отраве. Да вдохновит исследователя возвышенная доблесть, которую не страшит отверзающаяся бездна, когда согражданам грозит опасность. Искусство втайне уже не раз побеждало природу, так что не отступайте, учитесь по-своему завязывать сокровенные узы, дабы природа сама себя пожелала. Не пренебрегайте стихийными распрями, они позволят вам надеть ярмо на природу⁷, как на пресловутого огнедъшащего быка. Ей нельзя не признать вашего главенства. Сынам человеческим надлежит упорствовать и веровать. Общие искания сблизят с нами наших отпавших братьев, звездное колдовращение будет вращать прялку нашей жизни, и новый Джиннистан⁸ там созиждется для нас по нашей воле усердием наших служителей. Пускай же разрушительное буйство природы нас обнадеживает, а не удручает; она сама възыскует нашей власти и дорого искупит свое неистовство. Упьемся свободой, воодушевляющей нашу жизнь и нашу смерть; вот истоки потопа, укрощающего природу, омоемся же, чтобы возродиться и окрепнуть ради доблестных деяний. Здесь положен предел зверству этого страшилища; самая малость свободы сковывает, ограничивает, упорядочивает разорительную дикость».

«Это верно, — соглашаются некоторые, — больше негде искать чудодейственного. Вот родник свободы, к ней влекутся наши взоры; лишь в этой незамутненной, неисчерпаемой, чарующей прозрачности явлена целость мироздания, здесь омовенье трепетных духов, души зримы здесь все до одной, здесь можно видеть все сокровища и клады. Зачем же обследовать в томительном усилье тусклую видимость вселенной? Куда яснее вселенная в самих нас⁹, в этом роднике. Здесь в прозренье выступает подлинная суть необозримого, запутанного, красочного действа, и, когда мы углубляемся потом в природу, обогашенные своими взорами, для нас неведомого нет, нет ликов, чуждых нам, нет заблуждений. Взаимопонимание не нуждается в длительном опыте, довольствуясь малейшим сопоставлением, редкими следами на песке. Нет в мире ничего, кроме великой грамоты, которую мы научились читать, и нас ничто не застигнет врасплох, ибо мы заранее постигли, как идут всемирные часы. Лишь нас одних вполне пьянит природа, ибо мы не пьянеем никогда, не ведаем горячечного бреда и нашей просветленной трезвостью защищены от колебаний и сомнений».

«Другие говорят несуразное, — наставляет последних строгий собеседник¹⁰. — Неужели они не замечают, как достоверно запечатлено природой их существо? Они только изнуряют самих себя неистовым суетумудрием. Им невдомек, что за

природу они принимают свое тщетное измышление, бесплодное марево собственной грезы. Конечно, для них природа — хищное страшилище, которым, однако, прикидываются их же потаенные страсти в необычном нечаянном оскале. Когда человек бодрствует, его не страшит подобное исчадие разнужданных видений и не вводит в заблуждение обманчивый морок временного бессилия. Человек чувствует свою власть над миром, его могущественное Я¹¹ превыше зияющей пустоты и во веки веков не унизится до этого безысходного коловращения. Являть согласие, приобщать к нему — вот внутреннее призванье человека. Окруженный своими созданными, он выходит в беспредельность, вечно приближаясь к ним и к самому себе, шаг за шагом все отчетливее постигая незблемое, вездесущее, возвышенное достоинство вселенского строя, облекающего собою человеческое Я. Суть вселенной — мысль, ею одною оправдана вселенная, первоначальное ристалище мысли, буйно распускающейся в детстве, чтобы впоследствии узреть во вселенной священное воплощение своего трудолюбия, поприще истинной церкви. А дотоле человеку подобает благоговеть перед нею, как перед символом своего существа, чье совершенствование неизреченно в бесчисленных степенях. Стало быть, страстному исследователю природы нужно преуспеть в добродетели и в трудах, нужно воссоздать лучшее сокровище своей души, и тайна природы обнаружится словно невзначай. Ни одно явление не похоже на другое; любое из них — загадка, а к разгадке ведет лишь подвиг добродетели. Кто способен постигнуть этот путь и осмыслить каждый свой шаг в безупречной последовательности, тот навсегда покорит природу».

Такая разногласища тревожит ученика. Он готов согласиться со всеми, и его чувства теряются в непривычном разладе. Затаенное борение наконец прекращается, и над сокрушительным столкновением омраченных стихий возникает примиряющий дух, чье наитие предсказано юному сердцу внезапным подъемом и прозорливою ясностью.

Беспечный друг, в своем венке из роз и повилики, приблизился, подпрыгивая, и заметил сидящего в глубокой задумчивости.

— Вот путаник, — вскричал друг, — ты же совсем сбился с толку. Этак ты вряд ли достигнешь чего-нибудь. Нет ничего дороже лада, а разве ты в ладу с природой? Тебе еще далеко до старости, так неужели юность не владеет каждой твоей жилкой? Неужели тоскующей любви не тесно в твоей груди? И не надоело ли тебе отшельничать? Или природа отшельница? Отшельнику чуждо веселье, чужды влеченья; зачем тебе природа, если тебя ничто не влечет? Лишь людскому общению он присущ, дух, проникающий все твои чувства тысячецветным сиянием, объемлющий тебя, как ласковый невидимка. Когда мы пируем, у него отверзаются уста, он председательствует, от него проистекают жизнелюбивейшие песнопения. Любовь еще неведома тебе, несчастный; с первым поцелуем ты воспримешь новый мир, тысячами потоков хлынет жизнь в твое упоенное сердце.

Сказку хочу я тебе рассказать¹², послушай-ка!

В стародавние времена жил в дальней западной стороне один юнец. Сердце у него было предоброе, зато нрав такой, что причудливей некуда. Все-то он печалился невесть о чем, ходил себе да помалкивал, посиживал одиноко, пока

остальные беззаботно забавлялись, и был великий охотник до всякой невидали. Всё, бывало, тянет его в пещеры да в лесные дебри, всё, бывало, обращается он к четвероногим и пернатым, к деревьям и утесам с такими бреднями, разумеется, что умора, да и только. Однако сам он при этом лишь хмурился, мрачней, так что белка, мартышка, попугай и снегирь напрасно старались развеселить его, то есть образумить. Гусыня не скупилась на сказки, ручей музицировал, увальневалун скоморошничал; привязчивая роза украдкой льнула к нему, когда он проходил мимо, и, цепкая, таилась в его кудрях, плющ как бы норовил смахнуть у него со лба назойливые попечения. Однако уныние и угрюмость не уступали. Этим он очень удручал своих родителей, не ведавших, что предпринять. Ни на какую болезнь юнец не жаловался, от пищи не отказывался, ни на что не сетовал, совсем еще недавно казалось, не найдешь другого такого весельчака и зайчика; во всех забавах он первенствовал, не было девицы, которая не заглядывалась бы на него. Уж очень он был хорош собою, суцая находка для живописца, и на танцах никто не мог с ним соперничать. Одна из девиц уродилась ему под стать, прелестная, ненаглядная, вся как восковая свечечка, волосы — золотые нити, уста — пунцовые вишни, точеная фигурка, очи как вороненья. Взглянув на нее, каждый терял голову: такова была ее красота. Тогда Роза-цветик — так она звалась — всем сердцем была расположена к прекрасному Гиацинту¹³ — так звался он, умиравший от любви к ней. Их сверстники ничего не подозревали. Фиалка первой выдала влюбленных; домашние кошечки давно уже смекнули, в чем дело, и не мудрено: дома соседствовали. Когда по ночам Гиацинт появлялся в своем окне, а Роза-цветик — в своем, кошечки рыскали тут же, подстерегая мышей, замечали обоих бодрствующих и своими смешками и поддразниваньями, нередко слишком внятными, донимали влюбленных. Фиалка доверительно сообщила такую новость землянике, земляника, приятельница крыжовника, ничего от него не скрыла, и тот не переставая расточал свои колкости, стоило Гиацинту подступить; не только сад, но и лес недолго оставался в неведении, так что при виде Гиацинта вся окрестность откликнулась: Роза-цветик — ты мой светик. Гиацинт на это досадовал, однако как было ему не прыснуть со смеху, когда скользкая ящерка, пригревшись на камне, шевелила хвостиком и напевала:

Роза-цветик ослепла вдруг,
Ей показался матерью друг.
Гиацинта целует, ей недосуг,
Позабыла, что значит испуг.

Скажут, обозналась она,
А Роза-цветик не смущена.
Что впустую толковать!
Лучше друга целовать!

Увы, мимолетно счастье! Объявился некий чужеземец, странник, повидавший столько, что другие диву давались, длиннобородый, глаза запавшие, жут-

кие брови, одеяние чудное, ткань вся в складках и таинственных эмблемах. Родители Гиацинта были хозяевами дома, возле которого сел отдохнуть пришелец. Гиацинт, отличавшийся любопытством, тут же оказался рядом с ним, попотчевал странника хлебом и вином. Тогда он раздвинул свою седую бороду и завел повествование до поздней ночи, а замороженный Гиацинт не расставался с ним, даже не шевелился, лишь внимал без устали. Как выяснилось впоследствии, странник описывал чужбину, неведомые края, разные чудеса да диковинки, пробыл с Гиацинтом три дня и брал его с собою чуть ли не в земные недра. Каких только злоключений не наклкала Роза-цветик на престарелого чародея. Когда Гиацинт прямо-таки помешался на его рассказях, позабыл все на свете, едой и то пренебрегал, старик наконец ушел, подарив Гиацинту на память книжку, в которой ни слова не разберешь. Гиацинт снабдил старика плодами, хлебом, вином и долго-долго провожал его, насилу простился. На обратном пути Гиацинт приуныл, и с тех пор его как подменили. Роза-цветик совсем извелась, убедившись, что Гиацинту теперь не до нее; а он все больше замыкался в себе. В один прекрасный день юноша пришел домой, сам на себя непохожий. Он обнял своих родителей и залился слезами. «Мне суждено отправиться на чужбину, — молвил он. — Странная старица в лесу объяснила, как мне исцелиться; она сожгла книгу на костре и послала меня к вам просить благословения. Быть может, я ухажу ненадолго, быть может, навеки. А Роза-цветик... Передайте ей от меня привет. Я бы сам переговорил с ней на прощанье, только невдомек мне, что на меня напало; здесь мне нельзя оставаться; я бы рад вызвать в памяти прошлое, но между мной и прошлым возникают неумолимые помыслы; я утратил прежнюю беспечность и с нею самого себя, свою любовь, надо мне отправляться на поиски. Я бы не потаил от вас, куда держу путь, когда бы сам ведал, где обитает мать вещей, сокровенная дева. Ее взыскует мой внутренний пыл. Не поминайте меня лихом!» Гиацинта не смогли удержать, и он исчез. Безутешные родители глаз не осушали, Роза-цветик, вся в слезах, не покидала своей комнаты. Между тем Гиацинт поспешал изо всех сил через доли и дебри, через горы и реки, стремясь в неведомый край. Везде допытывался он, как найти святую богиню (Изиду), обращался к людям и зверям, к деревьям и утесам. Кто насмеялся, кто помалкивал, никто не говорил ничего вразумительного. Сперва Гиацинт забрел в необжитую глушь, где мгла и тучи преградили ему путь вечным ненастьем; потом, казалось, конца и краю не будет жгучим пескам и пылающей пыли; пока он странствовал, чувства его обновились: он постиг длительность, и сердечное смятение прошло; он смирился, и неодолимая страсть исподволь завершилась тихим, но властным влечением, поглотившим его всецело. Мнилось, минули многие годы. Уже шаг за шагом расщедривалась и пестрела земля, воздух был чист и лучист, путь пролегал проторенный, зеленая поросль прельщала отрадною свежестью, хотя речь листвы до него не доходила и, по всей вероятности, поросль молчала, приобщая в безмолвии сердце к своему зеленому блеску и живительному покою. Все упоительней крепло желание в нем, все пышней, все роскошней листва наливалась, все слышней, все беспечней играли птицы и звери, все целебнее пахли плоды, все гуще, все глубже синело небо, все ласковей воздух грел, все жарче любовь его жгла, все стремительней мчалось время,

как будто срок наступал. День пришел, и ему повстречался кристально чистый ручей, сонм цветов нисходил по склону под сенью колонн, черневших до самого неба. Он понял язык, на котором цветы дружелюбно с ним поздоровались. «Дорогие сородичи, — спросил он, — как мне отыскать святилище Изи́ды? Оно не за горами, судя по всему, а вы вроде бы здешние, не то что я». — «Нет, и мы всего-навсего прохожие, — возразили цветы, — духи странствуют целым племенем, а мы служим у них разведчиками и посыльными, правда, там, где мы были недавно, имя Изи́ды до нас донеслось. Поднимайся все выше и выше по пройденной нами стезе, там скорее ответ обретешь». Так цветы и ручей говорили с улыбкой, они угостили Гиацинта студенным питьем и продолжали свой путь. Юноша послушался, все вопрошал да вопрошал, и долгие поиски привели его к чертогу, тающемуся в пальмах среди великолепной рощи. Сердце Гиацинта содрогалось в неутолимом пылу, упоительнейшая тревога снедала его в этом пределе, где все времена года навеки неразлучны. Среди райских финиамов почил он, ибо греза — единственная проводница у входа в святая святых. По нескончаемым залам, где изобиловали чудеса, волшебница-греза вела его, завлекая своими ладами в чередование мелодий. Казалось, он все узнаёт и в неведомом этом величье, но приметы земного пропали бесследно, как будто бы в некоем веянье сгинув, небесная дева предстала ему, он откинул сверкающее неведомое покрывало, и Роза-цветик поникла к нему на руки. Нездешняя гармония облекла любящих в таинстве свиданья, в пылу взаимности, удаляя несродное этому царству восторгов. Гиацинт и Роза-цветик потом прожили много лет, неразлучные, на радость своим родителям и друзьям; их внуки поминали добрым словом странную старицу за наставление и за костер, а внукам счету не было, тогда еще потомство ниспосылалось людям по их желанию.

Обнявшись на прощанье, ученики отправились кто куда. Под необозримыми сводами, где витает эхо, в ярко освещенной пустоте по-прежнему таинственно переговаривалось тысячеликое, разноязычное сборище, образовавшееся в этих стенах, расположенное замысловатыми хорами. Одна сокровенная стихия бросала вызов другим. Все они жаждали своих былых вольностей и пределов. Маленькое, удовлетворенное своим положением, невозмутимо взирало на причудливое столпотворение, царившее вокруг. Прочие вопили, давая выход гибельным скорбям и терзаниям, тосковали по утраченному благополучию. Когда, лелеемые природой, они совместно приобщались к свободе и всякая потребность находила утоление, стоило ей возникнуть.

— О, почему человек, — сетовали они, — не улавливает сокровенного лада в природе и не чувствителен к явному строю. Однако человеку едва ли введома наша сплоченность, хотя порознь мы просто сходим на нет. Человек ничему не дает покоя, жестоко насильничает, разлучая нас, повсюду вносит лишь разлад. А как он преуспел бы в дружелюбном сближении с нами, восстанавливая всемирные узы, свойственные Золотому веку, он же сам дал той эпохе достойное наименование. Тогда человек находил с нами общий язык. В своем притязании на божественность он отпал от нас; нам не разгадать его непостижимых стремлений; он уже больше не голос, призванный вторить, не всеобъемлющий порыв.

Впрочем, наша неизменная отрада, наше постоянное довольство манят его порой, среди нас встречаются избранники, внушающие ему странное пристрастие. Обаяние золота, загадка цвета, услады влаги отчасти доступны ему; памятники древности намекают ему на чудеса, таящиеся в камне; однако ему не дано упитаться начинаниями природы, не дано узреть нашего сокровенного экстатического священнодействия. Неужели чувствование никогда не умудрит его? Это небесное восприятие, неподдельнейшее из всех, до сих пор почти неведомо ему, между тем чувствованием вновь обретается милая старина; чувствование — изначальноный сокровенный свет, который лучше, красочней, мощнее в своих преломлениях. Тогда в человеке засияли бы созвездия; цельность мира открылась бы умудренному в чувствовании отчетливее, неповторимее, нежели нынешний зримый мир в своих внешних пределах. Он достиг бы совершенства в этой нескончаемой игре, и от всех прежних безумных побуждений избавила бы его непреходящая, все более глубокая отрада, чей источник в ней же самой. Мысль — всего лишь греза чувствования, его останки, меркнущая, угасающая жизнь.

Они переговаривались, а высокие окна не задерживали солнечных лучей, и в мягком лепете сливались отдельные реплики, неутолимое чайнье давало себя знать во всех обличьях, все млеало, сладостно согреваясь, и в полнейшем покое природа начинала петь всем на диво. Люди заговорили неподалеку, растворились огромные двустворчатые двери, ведущие в сад, и несколько путников расположились на просторных ступенях лестницы в тени чертога. Прелестный вид открывался в обрамлении голубых гор, пленявших взоры своею высью. Приветливые дети радушно потчевали гостей; в напитках и кушаньях не было недостатка, и присутствующие не замедлили увлечься разговором.

— Любое начинание требует, чтобы мы сосредоточились, посвятив ему все свое существо, — вступил в разговор некто, — и если мы в этом преуспеем, сразу же рождаются помыслы или посещает нас череда неизведанных ощущений, в которых угадывается разве что нежный трепет Стержня, чье назначение — раскрашивать или звучать, а быть может, это сжатия податливой стихии в чертаньях, столь причудливых, что диву даешься. Оттуда, где запечатлена наша сосредоточенность, каких только окраин не достигают они в своей безудержной жизненности, захватывая само наше существо. Едва начнешь отвлекаться или прихотливо разбрасываться, игра мгновенно прекращается, так как, по всей вероятности, это было лишь излучение или влияние нашего же существа, возбуждившего всю податливую отзывчивую протяженность, если не преломлявшегося в ней, да и вообще, не сами ли волны этого моря чудили, задевая косную сосредоточенность? Нельзя не отметить, что одна только эта игра¹⁴ действительно являет человеку его самобытность и особенную свободу, как будто человек спал глубоким сном и теперь, пробужденный, обретает в мирозданье свою обитель при ясном дне, впервые торжествующем в глубине души. Человек мнит себя непревзойденным в своем совершенствовании, когда, располагая обычными чувствами, совмещая разумность и впечатлительность, он при этом не прерывает вышеупомянутой игры. Отсюда обогащение двойственного опыта: вне человека больше нет ничего непроницаемого, в самом человеке множатся образы и предвестия, так что две вселенные соприкасаются в проникновенной жизненно-

сти и человек постигает истинную свободу в упоении могущества. Неудивительно, что человек пытается превратить это соприкосновение в доподлинную вечность, включая в него все множество своих впечатлений, не жалеет усилий, выявляя взаимность обеих вселенных, исследуя их строй, их приязнь и неприязнь. Природой именуют единство всех воздействий, испытываемых нами, так что природа непосредственно соотносится с нашим телом в его фибрах, именуемых чувствами. Неведомые, скрытые соответствия нашей телесности намекают на неведомую, скрытую согласованность природы, и наше тело приобщает нас к ее чудесной соборности, которая открывается нам соразмерно строению и возможностям нашего тела. Уместен вопрос, действительно ли постижима природа природ через эту отдельную природу и до какой степени наши помыслы и напряженность нашей сосредоточенности зависят от нее, если не она от них зависит, а тогда неизбежен разлад с природой и не исключена утрата ее трепетной отзывчивости. Очевидно, сначала предстоит постигнуть сокровенную согласованность и строение нашего тела; лишь при этом условии мы вправе рассчитывать, что вопрос не останется без ответа и природа вещей перестанет быть недоступной для нас. В то же время напрашивается вывод, что нашей пронизательности подобает во всех отношениях изощряться, до того как испытать на слаженности нашего тела¹⁵ свою способность осмысливать природу через этот смысл, а при такой способности любые мыслительные действия совершались бы сами собой, приобретаая непринужденность в искусстве чередований, затейливых сплетений и разъятий. В конце концов, надлежало бы пристально исследовать каждое впечатление, столь же тщательно подметить малейшие подробности мыслительной игры, обусловленной впечатлениями, а если это также приведет к появлению новых помыслов, вникнуть и в них, чтобы шаг за шагом постигнуть их двигатель и воспроизводить его обороты до тех пор, пока не заучишь действия, безусловно свойственные данному впечатлению в отличие от прочих. Когда бы только посчастливилось опознать хоть некоторые действия, входящие в алфавит природы, дальнейшее прочтение встречало бы все меньше затруднений, а способность производить и направлять помыслы позволила бы исследователю, не нуждаясь более в действительном исходном впечатлении, предопределять замыслы природы, намечать ее завязывающиеся союзы, что осуществило бы все наши чаянья.

— Не чрезмерное ли это посягательство, — предостерегает другой, — выводить самоё природу из простого скопления ее наружных воздействий и обличий, принимая ее то за чудовищный пожар, то за некое шарообразное диво, то за двойственность или тройственность или усматривая в ней что-нибудь вроде еще одной неведомой стихии. Позволительно думать, что природа — плод неизъяснимого соглашения, примирившего беспредельную несовместимость сторон, чудесное сопряжение духов, свидание и соитие неисчислимых миров.

— Отважмся посягать, — молвил третий, — чем прихотливее свиты мрежи¹⁶, тем удачливее смельчак, закидывающий их. Внушим каждому готовность ни перед чем не останавливаться, пока хватит сил; почтим каждого, кому дано залучать вещи в тенета своих неизведанных грез. Или тебе невдомек, что грядущий географ природы, составляя свою великую карту, будет руководство-

ваться именно совершенными системами? Их сопоставит он, и в таком лишь сопоставлении мы постигнем странный предел. Однако изведать природу еще не значит постигнуть ее, одно отстоит от другого, как небо от земли. Истинный тайновидец едва ли не научится со временем сочетать воздействия различных стихий ради насущного и прекрасного; природа позволит искуснику своеобразно играть на ней, оставаясь при этом неразгаданной. Разгадать природу способен лишь ее исследователь, читающий книгу эпох, причастный свершениям природы, не чуждый мирской жизни как возвышенного поприща тех же свершений; он улавливает смысл в природе и, вещей, прорицает. Доселе никто не приближался к таинственной меже, за которой священная нива. Разве что вестники Божьи обмолвились разрозненными реченьями о запредельном знании, и трудно себе представить, как чающая мудрость, не вняв подобному указанию, лишила природу былого и грядущего, низвела ее к монотонному устройству. Нет Божества вне свершения, и, если, кроме природы, нет больше цельности, сопоставимой с человеком, как отказать природе в свершении, достойном человека, то есть в одухотворенности? Природа без духа — уже не природа, которой только и уподобляется человечество; и непостижимый вопрос напрасен без природы как без неотъемлемого ответа, а неисчерпаемый ответ без нее тщетен как всякий ответ без вопроса.

— Лишь предчувствия поэтов свидетельствуют о том, что сулит человеку природа, — начал юный красавец, — и здесь позволительно повторить, что поэты насквозь проникнуты человечностью и малейшее побуждение отчетливо в них отражается, безостановочное, не замутненное в беспрестанных превращениях, передаваясь по всем направлениям. Им природа ни в чем не отказывает. Душа природы, недоступная всем остальным, не таится от них, и, прибегая к ней, они не прогадывают, упоенные всеми уладами Золотого века. Природа занимает их своим непостоянством, этим признаком всеобъемлющего чувства, и живейшее глубочайшее человеческое обаяние не сравнится с ней, неотразимо прихотливой в своих замысловатых выходках и наитиях, в своей прямоте и в своих околичностях, в своих великих назиданиях и причудах. Играючи одаривает она своим затейливым изобилием всех тех, кто не избегает ее. Изящество, одушевление, уверенность привносятся повсюду ее всемерным попечением, и, если в частности распознается лишь бездумный, неосмысленный двигатель, стоит вникнуть в подоплеку, и обнаружится чудесная согласованность с человеческим сердцем в стечениях и чередованиях отдельных обстоятельств. Ветер — воздушный поток, обусловленный различными сторонними воздействиями, однако только ли это означает он для сердца в печальной заброшенности, порывистый и шумный, долетающий из некоего любимого края, множеством смутных заунывных ладов приобщающий затаенную боль к проникновенной гармонии, как будто сама природа скорбит? Разве к юному влюбленному не обращается с чарующей искренностью вся его душа, уже зачавшая свои будущие цветы, раскинувшись едва зазеленевшими, неяркими, весенними пажитями, а полновесная светящаяся кисть винограда, полускрытая в широколиственной тени, — не лучший ли, не соблазнительнейший ли образ роскошества, побуждающего душу в упоении

приобщиться к стихии золотого вина? Поэтов порицают за словесные излишества, чуть ли не снисходительно признавая за ними право на переносные, картинные выражения, и подчас, даже не затрудняя себя изысканиями, опрометчиво усматривают в поэтических грезах неизъяснимую способность воспринимать звуки и облики, недоступные другим, с восхитительным сумасбродством по своей прихоти создавать и воссоздавать свою действительность, тогда как, по моему, поэты страдают разве что излишней умеренностью, едва-едва предчувствуя волшебство поэтического языка, забавляясь грезами, словно дитя, в чьих ручонках волшебная палочка отца. Поэты не ведают своего могущества и тех миров, которыми они самодержавно располагают. Не музыка ли воистину движет камнями и дубравами, смиряет их, и они, как прирученные твари, послушны повеленьям? Или не окружают любимую прекраснейшие цветы в счастливой готовности послужить ей убранством? Или не ради нее небо проясняется и море стихает? Неужели только в чертах лица, в телодвижениях, в кровообращении, в бледности и румянце, а не во всей природе проявляется душевная жизнь каждого из тех сверхъестественных созданий, которых мы зовем людьми? Или мой странный собеседник утес не на «ты» со мною, когда я обращаюсь к нему? Что же я такое, если не ручей, когда я томно никну над ним и мой взор тщетно ловит струи, неудержимые, как мои помыслы? Царство растений открывается лишь безмятежному блаженному сердцу, звериное царство — лишь беспечному детству или первобытности. Не знаю, как насчет камней или созвездий, но если кто постиг их, его величие бесспорно. Изваяния, заветанные утраченной эпохой¹⁷, когда торжествовала человечность, сияют, исполненные сокровенного духа, лучезарные в постижении камня, столь целостном, что умудренный созерцатель сам как бы облекается камнем, исподволь затрагивающим душу. Перед лицом величия каменеешь, так что наше изумление неуместно, когда величие природы овладевает нами, а мы не ведаем, где оно. Не застыла ли природа камнем, увидев Бога? Или ужаснувшись при встрече с человеком?

Внимая этим словам, тот, кто высказался сначала, предался пристальному созерцанию; издали выступили разноцветные горы, и вечер с ласковой задушевностью окутал местность. Безмолвие длилось, пока не было нарушено заговорившим созерцателем:

— Познать природу — значит внутренне пережить все ступени ее становления в их очередности. В таком начинании все определяется священным влечением к жизни, сродной нам и внятной, когда найдены надлежащие предпосылки, ибо, если природа познаваема, она не что иное, как способ установить связь и согласие между умами. Мысль ведет человека назад, туда, где его исток, его изначальное назначение, созидательный взор в средоточии, сочетающем порождение и постижение в неразрывном, таинственном чередовании, когда истинное блаженство в том, чтобы мгновенно сотворить, зачать себя самого в сокровенном. Взору, безраздельно углубившемуся в это *проявление*, откроются еще не виданные начала эпох и миров, как бы в необозримом действе перед ним постепенно формируется природа, и в малейшем намеке на твердь среди вездесущей зыби вновь и вновь сказывается Гений Любви, все неразрывнее сочетающий Ты и Я. Достоверно истолковывать природу — значит подробно повествовать об этой задушевной кос-

могонии; мысли, в своей всеобъемлющей стройности созвучные бытию, без всякого внешнего принуждения располагаются так, что перед нами — совершенное подобие космоса в его соразмерности. Правда, невозмутимо вглядываться в мир и творить, наблюдая, способен далеко не каждый; ничего не добьется тот, кому не свойственна упорная, непреклонная вдумчивость и суровая ясность отчетливых выводов; и нет надежды на признание в нашем косном веке, но тем ценнее восторг неусыпного прозрения, когда сближаешься со всей вселенной.

— Да, — заметил другой, — беспредельное единение в природе — вот что достойно внимания прежде всего. Кажется, вся природа везде налицо. Когда горит свеча, в ее горении участвуют все стихии; природа вечно во всем сама себя знаменует и преображает, зеленея, цветет, расцветая, плодоносит; она уже была, есть и будет в каждом отрезке времени, и неведомы пространства, предположительно обусловленные ею же, так что наша система природы — не солнце ли всего-навсего в космосе, распространившем на нее свои узы, излучение, веяние, восприимчивость, о чем с наибольшей убедительностью для начала свидетельствует наш дух, благодаря которому наша природа проникается духом космоса, а дух нашей природы передается другим, ей подобным.

— Когда мыслитель, — заговорил третий, — стремясь к деятельности, как добывает художнику, искусно применяет свои духовные порывы в поисках простого начертания, чья загадочная видимость вмещала бы вселенную, когда он обрисовывает природу танцем, если можно так выразиться, когда порывы сопровождаются словами, обозначающими их направленность, любовь к природе велит восхищаться этим отважным предприятием, этим торжеством дарований, свойственных человеку. Художник ничуть не грешит, превознося деятельность: что такое художник, если не творец и не деятель, властный и сведущий; что такое искусство, если не способ осваивать все, не навык, позволяющий воссоздать мир в духе самого художника, чей мир определяется деятельностью, ибо мир художника — это его искусство. Здесь тоже зрима природа в неизведанном величии; лишь людское неразумие пренебрегает причудливо перепутанными, неудобочитаемыми письменами. Зато священнослужитель по достоинству ценит восхитительные новшества, располагая на своем алтаре эти измерительные приборы рядом с магнитной стрелкой, надежной проводницей, указующей неисчислимым кораблям в неверном океане обжитые побережья и пристани отчизны. Не одних мыслителей влечет знание, встречаются другие его приверженцы, соблазненные не столько плодотворной мыслью, сколько уроками самой природы, чуждые вышеупомянутому искусству, счастливые в своей готовности учиться, а не учить, усваивать, а не производить, воспринимать, а не расточать воспринятое. Иные среди них отличаются деловитостью; питая предубеждение против разобщенного в косной ущербности, полагаясь на вездесущее внутреннее единство природы, они прилежно сосредоточиваются на одном явлении, зорко улавливают его дух в тысячах превращений, руководствуясь этой нитью, обследуют все тайники, где идет скрытая работа, стараются во всех подробностях запечатлеть разветвления этого лабиринта. Если им дано завершить этот изнурительный труд, оказывается, что они, сами того не подозревая, удостоились высочайшего наития и без особых усилий могут объяснить готовую карту, напут-

ствуя остальных исследователей. Усердие этих тружеников не назовешь иначе как величайшим благодеянием, ибо основные открытия, запечатленные на их карте, разительно подтверждают систему мыслителя и ободрят его и как бы непридуманно строчат отвлеченный тезис, являя свою жизненность. Беспечнейшие в своем пламенном благоговении перед высшими силами младенчески уповают на их любвеобилие, открывающее все, что нужно знать им о природе. Подвиг любви захватывает их всецело в этой быстротекущей жизни, так что они просто не успевают присмотреться к другим занятиям. Их благочестие жаждет лишь стяжать любовь и внушить ее, мирно вверяясь року в сфере могущества, какие бы стихии ни сталкивались на этом поприще, ибо любящие проникнуты неизменной близостью возлюбленных и природа для них не безразлична лишь постольку, поскольку природа — подобие и достояние близких. Неужели не довольствуются своей осведомленностью эти ликующие души, когда ни с чем не сравнима благая часть, которую предпочли для себя они, пречистые светочи, лишь на храмах, увенчанных любовью в здешней юдоли, или знаменья преизобильного горного сияния¹⁸ на морских судах, игралищах непогоды? Природа нередко удостаивает своей откровенности этих привязчивых несмышленье, обнаруживающих сокровища в отрадные мгновения и в бесхитростном невежестве готовых выдать их местоположение. Вот почему не отстают от них изыскатель в чаянье завладеть кладами, упущенными счастливым чистосердечием, а поэт, не чуждый такому чистосердечию, слагает гимны любви, чтобы этот саженец Золотого века прижился в других веках на другой почве.

— Чье сердце, — вскричал юноша с пламенеющими глазами, — не пляшет в буйном упоении, когда его переполняет природа своей сокровеннейшей жизнью, когда властная страсть, не имеющая в языке других обозначений, кроме как любовь и вожделие, распространяется маревом, в котором все обречено исчезнуть, когда, блаженно замирая, падаешь в объятия природы, смутно влекущей, нега своими неудержимыми приливами уничтожает убогую особь и бытие — лишь стяжение беспредельной оплодотворяющей стихии, ненасытная пучина безбрежного океана. Что такое повсеместное явление пламени? Пылкая ласка, в сладостном плодоношении упоенно роняющая росу. Первенец небесных соединений, вода напрасно скрывала бы, что она порождение чувственности; именно вода на земле способствует любви в сочетании с безграничной высшей силой. Волхвы в старину были не так уж не правы, когда принимали воду за источник всякой вещественности, имея при этом в виду отнюдь не моря или родники, а стихию более совершенную. Это изначальная текучесть¹⁹, наблюдаемая при литье, и человеку нельзя не благоговеть перед нею. Как редки те, кому ведомы затаенные глубины текучего, а иные, поддаваясь чарам земли, вряд ли даже подозревают, в чем высшая жизнь и отрада. Жаждой напоминает о себе эта мировая душа²⁰, этот неодолимый соблазн изливания. Во хмелю особенно сказывается неземное блаженство тока, да и, наконец, радуемся-то мы лишь тогда, когда чувствуем, как изначальные воды переменчиво текут и вздымаются в нас. Что такое сон, если не прилив, сменяющийся отливом этого незримого мирового моря, когда мы просыпаемся? А мало ли людей задерживается над завораживающими потоками, не догадываясь, что это стихия-праматерь баюкает нас и ее неисчислимые игривые

волны — истинная наша утеха! Мы жили одною жизнью с ними в Золотом веке; в многокрасочных тучках, в этих кочующих зыбях, породивших земную жизнь, беспрестанно разгрызвалась любовь и зачатые племена человеческих, их встречи с племенем горным; цвел этот мир, пока его не постигло великое уничтожение, то, что в священных преданьях зовется потопом; чья-то ненависть землю казнила; кое-где прибывало людей к скалистым отрогам новых гор на всемирной чужбине. Как не удивляться тому, что обаятельнейшие святыни природы присваиваются именно живыми мертвецами, каковы заурядные химики; могучие возбудители творческого начала в природе, которые следовало бы вверять лишь скрытности влюбленных, таинства облагороженной человечности, не подлежащие разглашению, стали доступны развращенной нетворческой тупости, столь чуждой дивному содержимому своих же склянок. Одним поэтам подобает касаться текучего, чтобы пылкая юность внимала их свидетельствам; храмы и мастерские тогда бы не различались; люди по-новому любили бы свои очаги, свои реки, гордясь ими и воздавая им почести. С какой благодарностью оценили бы свои преимущества города, расположенные у моря или на берегах великого потока; у каждого родника возник бы снова заповедник любви, обитель сведущих и остроумных. Вот почему для детей нет ничего привлекательнее огня и воды; каждый поток для них — проводник, обещающий красочную даль, живописнейшую местность. Когда небо виднеется в воде, вода для него не просто зеркало, а любвеобильная наперсница, и они дружно заменяют свою близость: пусть ненасытный порыв жаждет беспредельной высоты, тем желаннее для счастливой любви бесконечная глубина. Однако ни к чему не приведет намерение преподавать или проповедовать природу. Зрение не наука, которую слепорожденный мог бы освоить, вдоволь наслушавшись о лучах, красках и отдаленных очертаниях.

Так и природа неведома тому, кто не способен чувствовать ее, не умеет в своей душе производить и определять природу, не находит, не выделяет ее невольно везде во всем и в кровном влечении к зачатью, в глубокой неповторимой близости к любому естеству не завязывает узы восприятия, не сочетается со всеми созданными в природе, как бы не вникает в них. Преуспевает, однако, тот, кто исследует природу, к ней причастный, искушенный в своей правоте, так что сама природа, бесконечно изобретательная в своих новинках и желанных щедротах, вознаграждает его, и бесполезные слова претят счастливцу. Он скорее боится оскорбить природу нескромностью домогательств, небрежностью речей, рассеянностью или погрешностями в наблюденье. Он лелеет природу, как непорочную невесту, с нею одною разделяет свои прозренья в задушевные, упоительные часы. Я говорю, блажен этот любимый сын природы, которому она является то в своем раздвоении, как начало, оплодотворяющее и порождающее себя, то в своем единении, как всеобъемлющий, нерасторжимый брак. В жизни такого избранника всевозможные блага образуют непрерывную цепь восторгов, а его вероисповеданием станет истинное, неподдельное природопоклонство.

Пока он говорил, к собравшимся подошел учитель со своими учениками. Путники встали и благоговейно ему поклонились. Бодрящая свежесть из-под сумрачных лиственных сений овеяла преддверие и лестницу. По приказу учите-

ля принесли один из редкостных, сверкающих камней, известных под названием карбункулов, и яркое багряное сияние окрасило разные обличья и облачения. Тотчас же началось непринужденное дружеское общение. Внимая дальней музыке, освежая свои уста пламенем, вспыхивающим в хрустальных чашах, пришельцы, разговорившись, припоминали удивительные подробности своих продолжительных скитаний. Подвигнутые томительной пытливостью, они отправились в надежде напасть на след пропавшего без вести наидревнейшего народа, чьи опустившиеся невежественные потомки, вероятно, составляют современное человечество, еще существующее благодаря неотъемлемым сведениям и навыкам, драгоценному наследию прежней возвышенной мудрости. Больше всего занимала путников тайна священного языка²¹, соединявшего блистательными узами тех людей-властелинов с небожителями и, по свидетельству разноречивых сказаний, кажется одарившего некогда отдельными словами немногих блаженных волхвов из нашего рода. Речь на том языке звучала чудесным напевом, овладевая сокровенным во всем, чтобы все изъяснить. Тот язык нарекал естество, как бы заклиная именем Душу. Лады трепетали, властным творчеством вызвав целый мир видений, давая основание утверждать, что тысячи голосов непрерывно беседуют между собой, что эта беседа — жизнь вселенной, ибо все стихии, все духи — свершители — как бы ее таинственнейшие участники. Путники вознамерились выявить если не уцелевшие намеки на разрушенный язык, то, по крайней мере, все, что о нем известно, и не могли не посетить Саиса, овеянного стариной. Они полагали, что премудрые книжники, оберегающие архив храма, не откажут им в ценных указаниях, а в самом архиве, столь богатом письменными памятниками, даже, быть может, обнаружатся некие знаки. Они бы хотели почтить ночью в храме и на несколько дней присоединиться к другим ученикам. Учитель удовлетворил их просьбу и порадовал гостей, дополнив их повествования изобилием своих многообразных познаний, открыв им настоящие кладези науки, щедро сплетая перед ними приметы действительности с былями, изящными и наставительными. Не умолчал учитель и о том, к чему его обязывает старость: открывать неповторимую причастность юных сердец к природе, углублять ее, изоцрять в сочетании с другими дарованиями ради превосходнейшего цветения и урожая. Пророчествовать о природе — дело хорошее и святое, сказал учитель. Не просто ученость, соразмерная в своей многогранности, не просто способность согласовать эти сведения с пережитым и усвоенным и находить употребительные обороты речи вместо изысканных, озадачивающих глаголов, даже не просто искусство упорядочивать увиденное в природе роскошной видимостью, безошибочно придавать ему отчетливую просветленную наглядность, волновать и услаждать восприятие обаятельными сопоставлениями, притягательной сутью или окрылять восторгом дух, чающий сокровенного смысла, не просто все это, вместе взятое, позволяет смертному стать истинным пророком природы. Вышеперечисленным, вероятно, удовлетворится тот, кто занимается природой между прочим, однако томящийся по ней всем своим существом, искатель, отвергающий все, кроме нее, послушный всем ее тайным велениям, словно отзывчивый прибор, сочтет наперсником природы и пойдет в учение лишь к тому, кто благочестиво и благоговейно опи-

сывает ее словами чудесными, неповторимыми, проникновенными, сплоченными, каковы истинные боговдохновенные Евангелия. Врожденная душевная predisposition подобного рода уже смолodu нуждается в неукоснительном усердии; ей способствуют уединение и безмолвие, так как разговорчивость не в ладах с безупречной наблюдательностью, этой незаменимой помощницей; из других необходимых predisposition назову младенческую кротость и непоколебимую настойчивость. Никто не ведает, когда кому суждено приобщиться к сокровенному. Бывают удачи в молодости, бывают прозрения на склоне лет. Старость не грозит настоящему искателю, вечный порыв никогда не ограничивается человеческим веком; внешность изнашивается, но тем ярче, блестящее и самовластное внутреннее сияние. Подобные дарования не сопряжены ни с красивой наружностью, ни с физической мощью, ни с пронизательностью, ни с какими другими людскими достоинствами. Невзирая на происхождение, на пол, на лета, на эпоху и климат, удостаивает природа своей благосклонности некоторых людей, чья душа блаженствует, оплодотворенная. Сплошь и рядом эти люди как будто уступали другим в сноровке и хитроумии, так что великие скопища затмевали их незаметную жизнь. Скорее, следует удивляться, когда неподдельное постижение природы проявляется при выпрепненем витийстве, умствовании, величественной осанке, так как по большей части ему свойственно безыскусное слово, искренность и непритязательность. Где витает искусство и обитает ремесло, где каждый по-своему соприкасается и соперничает с природой, как пахарь, корабельщик, пастух, старатель и другие умельцы, там чуткость к природе особенно распространена и постоянно утончается. Когда любое искусство не что иное, как освоение известных приемов, позволяющих добиться своего, вызвать желаемое впечатление и отклик, а без особого навыка не удастся находить соответствующие приемы и располагать ими, тот, кто, следуя своему глубочайшему предназначенью, объединяет разных людей причастностью к природе, вынужден прежде всего изошрять и воспитывать их врожденную чуткость, заботливо использовать органические стимулы для такого воспитания и хотел бы, чтобы сама природа внушила ему начала этого искусства. Обогащенный накопленными воззрениями, изведав, разобрав и сопоставив приемы, он вырабатывает свою систему сообразно индивидуальным склонностям каждого, обретает в этой системе свою же новую личность, и в радостном воодушевлении начинает свой труд, который не останется без награды. Таков учитель, посвящающий в тайны природы, все остальные — безнадежные природоведы, лишь эпизодически, подобно другим трогательным созданиям напоминающие, что такое чуткость к природе.

ХРИСТИАНСТВО, ИЛИ ЕВРОПА

Фрагмент¹

Были прекрасные, блистательные времена², когда Европа была единой христианской страной, когда *единое* христианство³ обитало в этой части света, придавая ей стройную человечность; единый великий общий интерес объединял отдаленнейшие провинции этого просторного духовного царства. *Один* верховный руководитель⁴ возглавлял и сочетал великие политические силы, не нуждаясь для этого в обширных мирских владениях. Одно многочисленное сословие, готовое включить в себя каждого, непосредственно подчинялось этому руководителю и осуществляло его указания, ревностно стремясь укрепить его благодетельную власть. Каждый член этого общества был почитаем всеми, и если простодушины искали у него утешения или помощи, защиты или совета, щедро снабжая его всем, в чем он мог нуждаться, то власть имущие тоже преклонялись перед ним, оберегали его и внимали ему, так что об этих избранных мужах, обладающих чудотворными силами, все пеклись как о детях неба, чье присутствие и чья благосклонность способствуют приумножению милости Божией. С детской доверчивостью верялись люди их наставлениям. Как отрадны были для каждого его земные труды, когда надежное будущее было ему уготовано этими святыми людьми, когда каждая оплошность могла быть исправлена их предстательством, а каждое пятно в жизни изглаживалось или высветлялось ими. Среди великого неведомого моря они были надежными кормчими, позволявшими презирать бури и уповать, что не собьешься с верного направления и обязательно причалишь к берегу своего истинного отечества.

Самые буйные, всепожирающие страсти вынуждены бывали отступить перед их словами, внушающими благоговение и послушание. Мир исходил от них. Они не проповедовали ничего, кроме любви к святой, дивно прекрасной владыгчице христианства, которая своими божественными силами всегда была готова спасти каждого верующего от ужаснейших опасностей. Они повествовали о давно почивших небесных человеках, преодолевших своей приверженностью и верностью той блаженной Матери и ее небесному любящему Сыну соблазны земного мира, сподобившихся божественных почестей и ставших теперь могущественными благодетельными хранителями своих живых братьев, скорыми пособниками в нужде, предстателями человеческих слабостей и деятельными друзьями человечества перед престолом Божиим. Какую радость доставляли людям прекрасные собрания в таинственных церквах, украшенных благодетельными образами, наполненных сладостными ароматами, оживленных святой восхища-

ющей музыкой. Там благодарно хранились в драгоценных раках освященные останки некогда живших, богобоязненных людей. И в них проявлялась великолепными чудесами и знаменьями божественная доброта и всемогущество, а также благодетельная сила этих счастливых праведников. Так любящие сохраняют локоны и письма своих усопших возлюбленных⁵, питая этим свой сладостный жар до всеобъединяющей смерти. Принято было собирать повсюду с проникновенной тщательностью всё, что принадлежало этим возлюбленным душам, и каждый почитал себя счастливым, если обретал подобную реликвию или хотя бы утешительную возможность прикоснуться к ней. Вновь и вновь небесная благодать как бы нисходила на один из этих необычных образов или на одну из могил, и туда из всех областей стекались люди, принося изысканные подарки и унося с собою ответные небесные дары: спокойствие душевное и телесное здоровье. Это могущественное миротворительное сообщество усердно стремилось приобщить всех людей к своей превосходной вере и рассылало своих собратьев во все части света, чтобы везде было возвещено Евангелие Жизни и Царство Небесное превратилось в единственное царство на земле⁶. С полным основанием противодействовал мудрый глава Церкви дерзким напечатлениям человеческих задатков, посягающих на чувство святости, и несвоевременным опасным открытиям в области знания. Так, он запрещал смелым мыслителям утверждать, будто земля — всего лишь незначительная звезда, блуждающая среди других звезд⁷, ибо он знал: разучившись почитать земное отечество, люди перестанут благоговеть и перед своей небесной родиной, и перед своим происхождением; они предпочтут ограниченное знание безграничной вере, привыкнув презирать все великое и чудотворное, рассматривая их как мертвое законодательство. При его дворе собирались благоразумные и достойные люди со всей Европы. Сокровища отовсюду стекались туда, разрушенный Иерусалим торжествовал над своими разрушителями, и сам Рим был Иерусалимом, священным местопребыванием божественного правительства на земле. Перед отцом христианского мира, к его стопам слагали князья свои разногласия, свои короны, свое величие, почитали за честь для себя вступить в то высокое сообщество, завершить вечер своей жизни в благоговейных размышлениях среди уединенных монастырских стен. В том, как благодетельно, как сообразно внутренней природе человека было это установление, это правительство, свидетельствует могучий подъем всех прочих сил человеческих, гармоническое развитие всех способностей, невероятная высота, которой достигали отдельные люди во всех искусствах и науках жизни, а также торгующая духовными и земными товарами, процветающая от Европы до отдаленнейшей Индии.

Таковы были прекрасные, существенные черты истинно католических или истинно христианских времен. Человечество не созрело, не воспиталось еще для этого великолепного царства. То была первая любовь, почившая под гнетом деловой жизни, когда себялюбивые заботы вытеснили самую память о ней, чьи узы впоследствии прослыли обманом и бредом, осужденные позднейшим опытом и навсегда расторгнутые для большинства европейцев. Этот внутренний раскол, сопровождавшийся разрушительными войнами, примечательным образом подтвердил, как вредит культура чувству невидимого и как она вообще

вредна, по крайней мере, в определенное время и на определенной ступени. Нельзя уничтожить то бессмертное чувство, но можно его омрачить, парализовать или даже вытеснить другими чувствами. Длительная общежительность подавляет взаимные склонности людей и веру в род человеческий, причащает приноравливать всю человеческую изобретательность и старательность к одним только ухищрениям благоденствия; потребности и искусство их удовлетворять настолько изошряются и своекорыстному человеку нужно столько времени для кропотливой выучки, что ему уже не остается досуга для такой душевной созерцательности и сосредоточенности в своем внутреннем мире. При столкновении различных интересов злорадия кажется ему насущнее, и прекрасный цвет юности, веры, любви опадает, уступая место более жестким плодам, науке и приобретательству. Лишь поздней осенью вспоминают о весне, как о детской грезе, и с ребяческим легковерием полагаются на свои житницы, как будто они будут всегда полны. Должно быть, совершенствование высших чувств нуждается в некотором одиночестве, и слишком распространенное общение людей друг с другом поневоле душает тот или иной росток священного, спугивая при этом богов, которые избегают беспокойной сутолоки, охватывающей разрозненные общества, и переговоров по ничтожным поводам. К тому же мы имеем дело с различными эпохами и периодами. А разве для них не существенно колебание и смена противоположных движений? Разве им не свойственна ограниченная длительность? Разве произрастание и убыль для них не естественны? Но зато как не ждать от них с уверенностью, что они оживут, омолаживаясь в новом, деятельном образе? Продолжающиеся, ширящиеся эволюции — основа истории. Что сейчас не могло достигнуть завершения, достигнет его при будущей или вторичной попытке; нет ничего преходящего в том, что захвачено историей; из бесчисленных превращений оно все равно взойдет, обновляясь в обогащающихся образах. Когда-то христианство явилось со всей мощью и великолепием, до нового мировдохновения господствовала его руина, его буква с возрастающим бессилием и смехотворностью. Сословие священников, слишком уверенное в себе, тяжело подавлялось бесконечной косностью. Оно оцепенело, наслаждаясь своим авторитетом и удобствами, в то время как миряне переняли или отняли у него жизненный опыт и ученость, вступив на путь образованности и продвигаясь по этому пути могучими шагами. Священники забыли свой истинный долг — быть первыми по уму, проницательности и образованности; низкие вождения ударили им в голову; их облачение, их призвание сделали еще более отвратительным их образ мыслей с его низостью и подлостью. Так постепенно отпали уважение и доверие, опоры земного и небесного царства, и было уничтожено все это сословие, и подлинная власть Рима молчаливо прекратилась задолго до насильственного мятежа. Мертвое тело прежнего установления предохраняли от полного распада разве только мудрые, но временные меры, противодействующие скорейшему разложению; среди этих мер выделялся запрет на браки для священников⁸. Если бы аналогичная мера была применена и к солдатскому сословию, сходному с духовным, она придала бы и ему ужасающую устойчивость, продлив его существование надолго. Что могло быть естественней, чем проповедь открытого бунта против деспотической буквы прежнего устава; нашлась наконец го-

рячая голова, чтобы начать такую проповедь с тем большим успехом, так как зачинатель сам принадлежал к духовному сословию.

Мятежники с полным основанием назвали себя протестантами, ибо они протестовали против любого посягательства, осмеливающегося стеснить или как бы силой несправедливо подавить человеческую совесть. Они в свое время вернули себе неиспользованное право на выбор, исследование и определение религии, право, которое предшествующие поколения молчаливо уступили. Они установили немало верных принципов, учредили много похвального, упразднили много пагубного, но они упустили из виду неизбежный результат своих действий, расторгли нерасторжимое, разделили нераздельную Церковь⁹, дерзко отпали от всеобщего христианского единения, в котором и благодаря которому только и было возможно истинное длительное возрождение. Но состояние религиозной анархии должно когда-нибудь миновать, так как сохраняется во всей своей длительной действительности и действительности необходимость выделить некоторое число людей, посвятивших себя лишь своему высокому призванию и потому независимо от притязаний земной власти выполняющих свои обязанности. Учреждение консисторий и некое подобие духовенства, все-таки сохраняемое, не удовлетворило этой потребности и служило лишь несовершенной заменой. К несчастью, в раскол вмешались князья, и многие из них использовали междоусобицу лишь для того, чтобы упрочить власть в своих владениях и увеличить свои доходы. Они рады были освободиться от прежнего высшего влияния и благодетельствовали новые консистории своей государственно-отеческой защитой и руководством. Особенно старались они предотвратить окончательное объединение протестантских церквей, и религия вопреки своему существу была замкнута в государственных границах, и таким образом была заложена основа, позволяющая постепенно похоронить религиозно-космополитический интерес. Так религия утратила свое великое политическое умиротворяющее влияние, свою особую роль объединяющего, индивидуализирующего христианского начала. Религиозный мир¹⁰ был заключен на основаниях, совершенно ложных и противных духу религии, и дальнейшее развитие так называемого протестантизма привело к сплошному противоречию — к провозглашению постоянного революционного правителя¹¹.

При этом понятие, основополагающее для протестантизма, не было изначально чистым, так как Лютер вообще обращался с христианством произвольно, извратил его дух, ввел иную буквальность и другую религию, а именно священную абсолютизацию Библии, и таким путем в религиозную проблематику замешалась, к сожалению, другая, в высшей степени чуждая, земная наука — филология, чье разъединяющее влияние с тех пор несомненно. Но даже смутное чувство этой ошибки не помешало большинству протестантов провозгласить Лютера одним из евангелистов и канонизировать его перевод.

Для религиозного чувства подобный выбор был особенно пагубным, ибо ничто так не подавляет его возбудимость, как буква. В прежнем состоянии, когда католическая вера при всей своей обширности отличалась большей гибкостью и многообразием своей сути, пока Библия оставалась эзотерической, а соборы и духовный их глава сохраняли свою священную власть, буква еще не мог-

ла стать столь вредоносной; теперь, когда больше нет всех этих противоядий, утвердилась полная общедоступность Библии, и убогое содержание, грубый, абстрактный набросок религии отчетливее проступили в этих книгах, бесконечно затруднив свободное, животворящее, всепроникающее откровение Святого Духа. Поэтому в истории протестантизма мы более не находим великих прекрасных явлений неземного, лишь у его истоков блещет проходящий небесный огонь; вскоре после того чувство священного уже заметно иссякает; мирское берет верх, чувство художественного соответственно страдает; лишь изредка то здесь, то там вспыхивает настоящая вечная искра жизни и образуется маленькая община. Искра гаснет, община рассеивается, и поток уносит ее останки. Таков был Цинцендорф¹², Яков Бёме и еще кое-кто. Умеренные захватывают власть; приближается время, когда органы высшей жизни совершенно атрофируются, период практического неверия. Реформация покончила с христианством. С тех пор его не стало. Католики и протестанты или реформаты, расколотые сектантской непримиримостью, отстояли дальше друг от друга, чем от магометан или от язычников. Оставшиеся католические государства прозябали, подвергаясь незаметному, но губительному влиянию соседних протестантских государств. На этом отрезке времени возникла новейшая политика, и отдельные могущественные государства пытались захватить пустующий всемирный престол, превратившийся в трон.

Большинству князей показалось унижительным приноравливаться к бессильному священнослужителю. Они впервые почувствовали весомость своего физического могущества, увидели бездействие небесных сил, позволяющих оскорблять своих земных представителей, и постепенно попытались, не привлекая внимания своих подданных, все еще пламенно преданных Папе, сбросить римское ярмо и учредить на земле свою независимость. Их беспокойную совесть успокаивали умные духовники, ничего не потерявшие от того, что их духовные чада посягнули на церковное имущество.

К счастью для старых установлений, возник тогда новый орден¹³, и умирающий дух иерархии излил на него свои последние дары, чтобы тот укрепил старину новой силой и с удивительной пронизательностью, упорством и не виданным дотоле умом посвятил себя энергичному восстановлению папской империи. До тех пор мировая история не знала подобного сообщества. С большой уверенностью в успехе даже римский сенат не вынашивал планов по завоеванию мира. С большим благоразумием никогда не обдумывалась идея более великая. Навеки останется это сообщество образцом для всех сообществ, органически predisposed к бесконечному распространению и увековечению, но его пример также вечно будет доказывать, что само время, не принятое в расчет, сводит на нет хитроумнейшие начинания, а естественным произрастанием целого неуклонно подавляется искусственное развитие отдельных частей. Все единичное само по себе ограничено в своих возможностях, лишь мощь целого неизмерима. Ни один план не осуществится, если он не основывается полностью на предпосылках целого. Еще примечательнее это сообщество как начало, порождающее другие так называемые тайные общества¹⁴, росток, пока еще незрелый, но, очевидно, важный исторически. Более опасный соперник, несомненно, не мог

появиться у новейшего лютеранства, даже если не у протестантства вообще. Все чары католической веры усилились от его руки, все сокровища наук стеклись в его келью. Все, что было утрачено в Европе, стремились они многократно восполнить в других частях света, в дальних полуночных и восточных странах, присваивая себе и подчеркивая апостольское достоинство и признание. Не отставали они и в своих усилиях обрести популярность, сознавая, сколь многим обязан Лютер своей искусной демагогии, своему пониманию простонародья. Везде основывали они школы, вторгались в исповедальни, всходили на кафедры, заставляли работать печатные машины, становились поэтами, мирскими мудрецами, министрами, мучениками, сохраняя на невероятном пространстве от Америки до Китая, включая Европу, удивительную согласованность в учении и в действиях. Мудрый отбор позволял им рекрутировать новобранцев для своего ордена в их школах. Против лютеран они обращали сокрушительный пыл своих проповедей, стремясь объявить неотложнейшей задачей католического христианства беспощадное искоренение этих еретиков как истинных пособников дьявола. Благодаря им одним католические государства, и в особенности папский престол, надолго пережили Реформацию, и кто знает, насколько усилилось бы в мире прошлое, если бы слабость высшей иерархии, ревность князей и иных духовных орденов, придворные интриги, а также другие чрезвычайные обстоятельства не прервали их смелого продвижения и едва не уничтожили этот последний оплот католической традиции. Теперь он почует, этот страшный орден¹⁵, в жалком образе, на рубеже Европы, чтобы, может быть, потом, подобно народу, оберегающему его, с новой силой распространиться за пределами своей родины, быть может, под другим именем.

Реформация была знаменем времени. Она имела значение для всей Европы, хотя сразу же открыто разразилась в одной только действительно свободной Германии. Умные головы всех наций втайне достигли совершеннолетия и в обманчивом собошьщенье тем более дерзко восстали против устарелого гнета. Ученый инстинктивно враждует с духовенством при любых обстоятельствах, ученое и духовное сословие обречены вести между собою войну на уничтожение, если они отделены друг от друга: они претендуют на одну и ту же роль. Это разделение проступало все резче по мере того, как влияние ученых расширялось, а духовенство в европейском человечестве шло на сближение с торжествующей ученостью, так что знание и вера противостояли друг другу все решительнее. В вере усматривали причину всеобщего застоя и надеялись ее устранить всепроницающим знанием. Чувство священного в своем прежнем смысле и временном существе везде подвергалось многообразным преследованиям. Современный образ мыслей назвали философией и причислили к ней все, что противостоит старому, в особенности же нападки на религию. Первоначальное личное отвержение католичества постепенно переросло в ненависть к христианской вере и, наконец, к религии вообще. Более того, ненависть к религии весьма естественно и последовательно распространилась на все предметы воодушевления, объявив ересью фантазию, чувство, нравственность, любовь к изящному, будущее и прошлое, причислило человека к другим детищам природы, над которыми главенствует нужда, и превратило бесконечную творческую музыку все-

ленной в однообразный стук чудовищной мельницы, которая приводится в движение потоком случая и подхвачена этим потоком, мельница как таковая, не знающая ни строителя, ни мельника, так сказать, настоящий *perpetuum mobile*, мельница, перемальвающая сама себя.

Воодушевление было милостиво допущено для бедного человеческого рода и даже предписано как пробный камень высшего образования каждому его носителю. Воодушевление этой великолепной грандиозной философией, в особенности ее жрецами и мистагогами. Франции посчастливилось оказаться лоном и местопребыванием этой новой веры, слепленной из чистого знания. Как ни презиралась поэзия в этой новой Церкви, все-таки нашлись и там несколько поэтов, которые ради эффекта использовали старые красоты и светильники, но при этом рисковали поджечь старым огнем новую систему вселенной. Более благоразумные успевали, однако, сразу же остудить разогревшихся слушателей холодной водой. Члены этой Церкви неутомимо старались очистить от поэзии природу, землю, человеческие души и науки — изгладить малейший след святости, отравить сарказмами само воспоминание о всех возвышенных событиях и людях, лишив мир всяких пестрых украшений. Математическое послушание и резкость света сделали его их фаворитом. Им нравилось, что свет скорее преломился бы, чем заиграл красками, и в его честь они назвали свое великое начинание просвещением. В Германии просвещением занимались основательнее, реформировали воспитание, пыгались придать старым верованиям новый, разумнейший, общедоступнейший смысл, тщательно очищая их от всего чудесного и таинственного, заручились всяческой научностью, чтобы преградить путь ищущим прибежища в истории, которую силились облагородить, выдавая ее за картину семейных бюргерских нравов. Бога делали зрителем большой трогательной мелодрамы, поставленной учеными, и Ему предлагалось в финале угостить авторов и актеров и торжественно восхищаться. Простой народ подвергался просвещению в первую очередь; в нем воспитывали вышеупомянутое благородное воодушевление, и при этом возникло новое европейское сословие: филантропы и просветители. К сожалению, природа осталась такой же непостижимой и причудливой, такой же поэтической и бесконечной вопреки всем попыткам ее модернизировать. Стоило где-нибудь шевельнуться старому суевию, допускающему высший мир или нечто подобное, со всех сторон поднимался шум, чтобы по возможности погасить опасную искру среди философией и остроумием, но при этом лозунгом образованных оставалась терпимость, особенно во Франции отождествляемая с философией. В высшей степени примечательна эта история современного неверия, ключ ко всем чудовищным явлениям нового времени. Она начинается лишь в этом столетии, в особенности во второй его половине, за короткое время разрастаясь до размеров, необозримых в своем разнообразии; вторая Реформация, обширнейшая и своеобразнейшая, была неизбежна и не могла не охватить в первую очередь страну наиболее модернизированную, но при этом ввергнутую в астеническое состояние недостатком свободы. Надземное пламя давно бы вызвало ветер, который сорвал бы все просветительские планы, если бы им не способствовало давление и влияние светской власти. В тот момент, когда возникла рознь между учеными и пра-

вительствами, между врагами религии и всеми ее приверженцами, она должна была снова выступить как третья сила, как посредница, задающая тон, и ее возвращения не мог не отметить и не возвестить каждый ее сторонник, даже если оно не сразу привлекло к себе внимание. Что для нее пришло время воскресать и как раз те обстоятельства, которые как будто направлены против нее и грозят ей гибелью, оказались благоприятнейшими признаками ее возрождения, в этом чувство истории не позволяло усомниться. Воистину анархия — стихия, в которой происходит зачатие религии. Когда все позитивное уничтожается, она поднимает свою торжествующую главу как новая учредительница вселенной. Когда человека ничего больше не связывает, он как бы сам собой поднимается в небо, и совершеннейшие органы впервые возникают из однообразного смещения и полного распада всех человеческих сил и задатков — первичное ядро земного формообразования. Дух Божий носится над водами, и небесный остров — обитель нового человека, омываемая потоком вечной жизни, — впервые становится виден, возвышаясь над волнами, которые принуждены отхлынуть.

Спокойно и беспристрастно подобает истинному созерцателю наблюдать новые времена, когда рушатся государства. Разве ниспровергатель государства для него не Сизиф? Только-только достиг он вершины равновесия, а тяжелый груз уже скатывается вниз по другому склону. Он никогда не удержится наверху, если его не заставит парить небесное притяжение. Никакие ваши подпорки не помогут, когда ваше государство никнет к земле, но привяжите его высшим томлением к небесным высям, соотнесите его со вселенной, и вы обретете в нем никогда не слабеющую пружину, и ваши усилия будут щедро вознаграждены. Я отсылаю вас к истории; исследуйте ее поучительные соотношения в подобные периоды и научитесь пользоваться волшебной палочкой аналогии¹⁶. Во Франции царит светский протестантизм. Не возникнут ли также светские иезуиты, чтобы обновить историю последних столетий? Останется ли революция французской, как Реформация лютеранской? Будет ли, однако, протестантизм противополоственным образом учрежден как революционное правительство? Уступит ли буква место букве? Ищете ли вы зачаток гибели также в старом строе, в старом духе? Верите ли вы в лучший строй, в лучший дух? О! Если бы Дух Духов преисполнил вас и уберег от этого нелепого стремления формовать историю и человечество, придавать им свое направление. Разве она, независимая, своеобразная, как бы бесконечная, не заслуживает любви сама по себе, пророчествуя? Изучать ее, покоряться ей, учиться у нее, идти с ней в ногу, с верой следовать ее внушениям — об этом не думает никто.

Во Франции много сделали для религии, отняв у нее право гражданства и причислив ее разве что к домашней челяди, не в одном лице, а во всех бесчисленных индивидуальных образах. В своей неприметной сиротской отверженности она должна теперь снова завоевать сердца и привлечь к себе всеобщую любовь, прежде чем она снова вернет себе открытое почитание и снова начнет участвовать в мирских делах как дружественная наставница и вдохновительница. Исторически примечательным остается опыт великой железной маски, искавшей под именем Робеспьер в религии средоточие и силу республики, а также хладнокровие, с которым распространяется теофилантропия, этот мисти-

цизм новейшего просвещения; также новые завоевания иезуитов; также приближение к Востоку¹⁷ при новых политических обстоятельствах.

Что касается других европейских стран, кроме Германии, остается только гадать, начнет ли в условиях *мира* пульсировать в них новая высшая религиозная жизнь и поглотит ли она все остальные мирские интересы. Напротив, в Германии можно уже с полной очевидностью выявить признаки нового мироустройства. Медленно, но уверенно опережает Германия другие европейские страны. В то время как они поглощены войной, спекуляциями и партийными распрями, в немце формируется участник эпохи, которой свойственна высшая культура, и подобным процессом уготован ему великий перевес над другими в течение времени. В науках и искусствах уже наблюдается мощное брожение. Дух развивается в бесконечном изобилии. Идет откатка из новых девственных месторождений. Никогда науки не находились в искуснейших руках; по меньшей мере никогда не возбуждали они таких ожиданий; улавливаются различнейшие стороны предметов; ничего не остается нетронутым, неисследованным, не оцененным. Все обрабатывается; писатели становятся сильнее и разнообразнее; каждый памятник старины, каждое искусство, каждая наука находит друзей, привлекает новую любовь и оплодотворяется ею. Невиданное многообразие¹⁸, удивительная глубина, блистательный лоск, широчайшие знания, богатая, мощная фантазия встречаются здесь и там — и часто в смелом сочетании. Могучее предчувствие творческого своеволия, безграничности, бесконечного многообразия, священной своеобычности, способной на все в своей сокровенной человечности, кажется, оживает всюду. Пробудившись от утренней грезы беспомощного детства, некий представитель своего племени пробует свои первые силы на змеях¹⁹, опутывающих его колыбель, чтобы не мог он владеть своими членами. Пока еще все это только намеки, взаимосвязанные и первобытные, но они являют око векописца всемирную индивидуальность, новую историю, новое человечество, сладчайшее объятие юной восхитительной Церкви и любящего Бога, сокровенное зачатие нового Мессии в тысяче ее членов одновременно. Кто не испытывал сладостного стыда при беременности? Новорожденное дитя будет подобием своего Отца, новое золотое время с темными, неисчерпаемыми очами, пророческое, чудотворное и чудодейственное, утешительное, возжигающее новую жизнь время — великое время примиренья, Спаситель, пребывающий среди людей, как истинный гений; в Него лишь веруют, но не видят Его, однако Он открывается верующим в бесчисленных образах, вкушаемый, как хлеб и вино, обнимающий, как возлюбленная, вдыхаемый, как воздух, внимаемый, как песнь и как слово, с небесным сладострастием, как смерть на вершине любовных мук воспринимаемый в недра потрясенного тела.

Теперь мы достаточно возвысились, чтобы дружелюбно улыбнуться вышеупомянутым предшествующим временам и даже в тех диковинных чудачествах распознать примечательную кристаллизацию исторического материала. С благодарностью хотели бы мы пожать руки тем ученым и философам, ибо то безумие должно быть исчерпано на благо потомкам, чтобы дало себя знать научное воззрение на вещи. Очаровательней и красочней, как Индия в своем драгоценном убранстве, противостоит поэзия холодному, мертвому Шпицбергену каби-

нетного рассудка. Чтобы в средоточии земного шара Индия была такой теплой и прекрасной, холодное, оцепенелое море, мертвые скалы, туманы вместо звездного неба, долгая ночь должны были сделать столь неприветливыми оба его полюса. Глубокое значение механики тяготело над этими отшельниками в пустынях рассудка, очарование первого прозрения подавляло их, старина мстила им, они жертвовали начальному самосознанию священнейшим и прекраснейшим в мире с удивительной готовностью, первыми постигли и возвестили святость природы, бесконечность искусства, неотвратимость знания, достоинство мирского, всеприсутствие истинно исторического в действиях, положив конец господству призраков, более возвышенному, более распространенному и потому более опасному, чем казалось.

Только более точное изучение религии позволило вернее осмыслить ужасные исчадия сна, в который она погрузилась, наваждения и бредни священного органа²⁰, и только при таком изучении открылась истинная ценность этого подарка. Где нет богов, там царят призраки, а время, когда, собственно, возникли призраки европейские²¹, чем едва ли не вполне объясняется их облик, — это переход от греческого пантеона к христианству. Так что приходите и вы, филантропы и энциклопедисты, в миротворительную ложу, примите братский поцелуй, сбросьте серые тенета и с юношеской любовью взгляните на великолепные чудеса природы, истории, человечности. Я хочу отвести вас к брату²², который заговорит с вами так, что ваши сердца вознесутся и вы снова воспримете ваше отмершее любовное чайнье, облечете его новой плотью и постигнете, что вам грезилось, пока тяжеловесный земной рассудок мешал вам уловить вашу грезу.

Этот брат — бьющийся пульс нового времени; кто его чувствует, тот уже не сомневается в его приходе и сам со сладостной гордостью вступает в сонм его современников и приверженцев, покидая толпу. Он соткал для святыни новый покров, изящно подчеркивающий ее небесное телосложение и при этом облакающий ее пристойнее, чем какой-либо другой. Покров для девы все равно что дух для тела; ее неотъемлемый орган, чьи складки — буквы ее сладостного благовествования; бесконечная игра складок есть музыка тайнописи, ибо язык слишком груб и топорен для ее девственных уст, отверзаемых лишь песнопением. Для меня это не что иное, как торжественный призыв к новому древнему собору, могучее биение крыльев, которые простирает ангельский вестник, пролетающая мимо. Это первые родовые схватки, да приготовится каждый к рождению.

Высшее в физике²³ теперь обнаружилось, и нам легче обозреть сословие ученых. В последнее время, по мере того как мы знакомимся с внешними науками, становится очевиднее, насколько они нуждаются в помощи. Природа постепенно являла свою скудость, и мы, привыкая к блеску наших открытий, всё отчетливее видели, что это заемный свет и мы с нашими привычными орудиями и методами не обретаем, не создаем искомого и существенного. Каждый исследователь должен был признаться себе, что одна наука — ничто без другой, отсюда опыты научных мистификаций, и причудливое существо философии²⁴, изображая истинно научную стихию, улетучилось, образовав главную симметрическую конфигурацию наук. Другие вовлекали конкретные науки в новые соотношения, поощряли оживленный контакт между ними и пыгались упорядо-

чить их естественно-научную классификацию²⁵. Так это и продолжается, и легко определить, как должно быть благоприятно такое общение с внешним и внутренним миром, с высшим образованием рассудительности, когда познание внешнего сочетается с вдохновением и культурой внутреннего и как при таких обстоятельствах проясняется погода, а старое небо и вместе с ним томление по нему, живая астрономия, открываются взору.

Обратимся же теперь к политическому спектаклю нашего времени. Старый и новый мир охвачены борьбой, ущербность и убожество политических установлений, существовавших до сих пор, обнаружались в ужасных проявлениях. Что, если, как в области наук, и здесь ближайшее соприкосновение и многообразнейшие взаимосвязи европейских государств были исторической целью войны, если Европа, дремавшая доселе, зашевелилась и пожелала, пробудившись, снова вступить в игру, что, если нам предстоит государство государств, новое наукоучение! Станет ли иерархия этой главной симметричной конфигурацией государств, принципом их единения как интеллектуальная интуиция политического «я»? Мирские силы сами по себе не способны образовать подобное равновесие; только третья стихия, неземная и мирская одновременно, способна разрешить эту задачу. Нельзя заключить мир между противоборствующими державами, любой мир — иллюзия, лишь перемирие,²⁶ с позиции кабинетов, общедоступного сознания никакое объединение немыслимо. Обе стороны имеют великие, неотъемлемые притязания и должны их иметь, так как ими движет дух жизни и человечества. Обе стороны суть неискоренимые начала в человеческой груди: здесь — благоговение перед стариною, приверженность историческому статусу, любовь к памятникам отцов и к древней, прославленной царственной фамилии, радость повиновения; там — восхитительное чувство свободы, непререкаемое ожидание круга, предназначенного для мощной деятельности, упоение новым, юным, непринужденное соприкосновение всех сограждан, гордое сознание всеобщей человеческой значительности, радость личности, обретшей свое право и участие в целокупной собственности, неукротимое гражданское чувство. Тщетна надежда одной стороны уничтожить другую, ибо внутренняя столица каждого государства расположена не за земными валами и не может быть взята штурмом.

Кто знает, исчерпала ли себя война, но она никогда не прекратится, пока не возьмут в руки пальмовую ветвь, которую может протянуть лишь духовная власть. Кровь будет течь в Европе, пока народы не осознают своего ужасного безумия, которое гонит их по кругу, пока, захваченные и умиротворенные священной музыкой, они не вернуться в пестром смещении к прежним алтарям, приняв деяния мира, и у дымящихся капищ не будет отпразднован с горячими слезами его торжественный праздник. Только религия способна снова пробудить Европу, обезопасив народы, учредив древнее миротворческое призвание христианства в новом зримом величии.

Неужели у наций все от человеческой личности, кроме сердца — ее священного органа? Неужели они не могут подружиться, как человек с человеком, на могилах, где почивают их возлюбленные, неужели они не могут забыть всю прежнюю вражду, когда с ними говорит божественное сострадание и общее несчастье, общая скорбь, общее чувство наполняет их глаза слезами? Неужели их не

охватит дух самопожертвования и преданности, с неотразимой силой заставит их тосковать по дружбе и единению?

Где та старинная, добрая, одна дарующая блаженство вера в правление Бога на земле, где то небесное доверие человека к человеку, то сладостное благоговение при изливаниях души, вдохновленной Богом, где тот всеобъемлющий дух христианства? У христианства три проявления. Одно из них — оплодотворяющая стихия, радующая и радующаяся в любой религии. Другое его проявление — посредничество вообще как вера в способность всего земного стать вином и хлебом вечной жизни. Третье проявление христианства — вера в Христа, в Богоматерь и в святых. Выбрав одно из этих проявлений, вы выбираете так или иначе все три, становясь тем самым христианами и членами единой, вечной, несказанно счастливой общины.

Осуществившимся, ожившим христианством была старая католическая вера, последнее из этих проявлений. Ее вездесущее присутствие в жизни, ее любовь к искусству, ее глубокая человечность, нерушимость браков, заключенных ею, ее человеколюбивая общительность, ее любовь к бедности, покорность и надежность позволяют безошибочно распознать в ней истинную религию и содержат в себе основные черты ее учения.

Очищенная потоком времен, в неразрывном сочетании с двумя другими проявлениями христианства, католическая вера навеки осчастливит землю.

Ее случайную форму можно считать разрушенной; старое папство лежит в могиле²⁷, от Рима вторично остались одни руины. Не должен ли протестантизм в конце концов прекратиться, уступив место новой, устойчивой Церкви? Другие части света ждут, когда Европа воскреснет, примиренная, чтобы присоединиться к ней и обрести гражданство в Царстве Небесном. Не появится ли скоро в Европе новое сообщество истинно святых душ, не преисполнятся ли все истинные единоверцы желанием увидеть небо на земле? Не потянутся ли они один к другому, чтобы составить священные хоры? Христианство должно снова ожить в своей действенности, образовав зримую Церковь, не признающую государственных границ, принимающую в свое лоно все души, жаждущие неземного, как подобает добровольной посреднице между старым и новым миром. Оно снова должно пролить на все народы благословение из древнего рога изобилия. Из священного лона европейской соборности, вызывающей благоговение, воскреснет христианство, и пробуждение религии пойдет по всеобъемлющему божественному плану. Никто не будет более протестовать против христианского или мирского принуждения, ибо существом Церкви станет истинная свобода и все необходимые реформы будут вершиться под ее руководством как мирные процессы, сообразные государственности.

Но когда, когда? Об этом не надо спрашивать. Терпение! Оно придет, оно настанет, святое время вечного мира²⁸, когда столицей мира будет новый Иерусалим, а до этого сохраняйте упование и мужество во всех превратностях текущего, соратники мои по вере, возвещайте словом и делом божественное Евангелие, оставайтесь до смерти приверженцами истинной, бесконечной веры.

(Написано в 1799 г.)

ГИМНЫ К НОЧИ

1

Кто, наделенный жизнью и чувством, в окружении всех явных чудес странного мира не предпочтет им все сладостного Света в его многоцветных проявлениях, струях и потоках, в нежном возбуждении вездесущего дня! Его тончайшей жизненной стихией одушевлена великая гармония небесных тел, неутомимых танцоров, омытых этой стремительной голубиной, — одушевлен самоцвет в своем вечном покое, сосредоточенно наливающийся колос и распаленный, неукротимый, причудливый зверь, — но прежде всего странствующий чаровник¹ с вещими очами, плавной поступью и звучным сокровищем замкнутых, трепетных уст.

Владея всем земным, Свет вызывает нескончаемые превращения различных начал, беспрестанно связует и разрешает узы, наделяет своим горным обаянием последнюю земную тварь. Лишь его пришествием явлены несравненные красоты стран, что граничат в безграничном.

Долу обращаю взор, к святилищу загадочной неизъяснимой ночи. Вселенная вдали — затеряна в могильной бездне — пустынный, необитаемый предел. Струны сердца дрогнули в глубоком томленьи. Росой бы мне выпасть, чтобы пепел впитал меня. Исчезнувшие тени минувшего, юношеские порывы, младенческие сновиденья, мгновенные обольщенья всей этой затянувшейся жизни, тщетные упования возвращаются в сумеречных облачениях, как вечерние туманы после заката. В других странах Свет раскинул свои праздничные скинии. Неужто навеки он покинул своих детей, тоскующих о нем в своем невинном упованьи?

Что там вдруг, полное предвестий, проистекает из-под сердца, упиваясь тихим веяньем томленья? Ты тоже благоволишь к нам, сумрачная Ночь? Что ты скрываешь под мантией своей, незримо, но властно трогая мне душу?

Сладостным снадобьем нас кропят маки, приносимые тобою. Ты напрягаешь онемевшие крылья души. Смутное, невыразимое волнение охватывает нас — в испуге блаженном вижу, как склоняется ко мне благоговейно и нежно задумчивый лик, и в бесконечном сплетенье прядей угадываются ненаглядные юные черты матери.

Каким жалким и незрелым представляется теперь мне свет — как отрадный, как благодатны проводы дня — итак, лишь потому, что переманивает Ночь приверженцев твоих, ты засегаешь мировое пространство вспыхивающими шариками в знак твоего всевластия — недолгой отлучки — скорого возврата. Истинное небо мы обретаем не в твоих меркнущих звездах, а в тех беспредельных

зеницах, что в нас ночь отверзает. Им доступны дали, неведомые даже чуть видимым разведчикам в твоих неисчислимых ратях, — пренебрегая Светом, пронищают они сокровенные тайники любящего сердца — и воцаряется неизъяснимое блаженство на новых высотах. Слава всемирной владычице, провозвестнице святых вселенских, любвеобильной покровительнице! Ею ниспослана ты мне — любящая, любимая — милое солнце ночное! Теперь я пробудился — я принадлежу тебе, значит, себе — ночь ты превратила в жизнь — меня ты превратила в человека — уничтожай пылаким объятием тело мое, чтобы мне, тебя вдыхая, тобою вечно проникаться и чтобы не кончалась брачная ночь.

2

Неужели утро неотвратимо?
Неужели вечен гнет земного?

В хлопотах злосчастных исчезает небесный след ночи. Неужто никогда не загорится вечным пламенем тайный жертвенник любви? Свету положены пределы; в бессрочном, в беспредельном ночь царит. Сон длится вечно. Сон святой, не обездоливай надолго причастных Ночи в тягостях земного дня. Лишь глупцы тобой пренебрегают; не ведая тебя, они довольствуются тенью, сострадательно бросаемой тобой в нас, пока не наступила истинная ночь. Они тебя не обретают в золотом токе гроздьев — в чарах миндального масла — в темном соке мака². Не ведают они, что это ты волнуешь нежные девичьи перси, лоно в небо превращая, не замечают они, как ты вешь из древних сказаний, к небу приобщая, сохраняя ключ к чертогам блаженных, безмолвный вестник неисчерпаемой тайны.

3

Однажды, когда я горькие слезы лил, когда, истощенная болью, иссякла моя надежда и на сухом холме, скрывавшем в тесной своей темнице образ моей жизни, я стоял — одинокий, как никто еще не был одинок, неизъяснимой боязнью гонимый, измученный, весь в своем скорбном помысле, — когда искал я подмоги, осматриваясь понапрасну, не в силах шагнуть ни вперед, ни назад, когда в беспредельном отчаянье тщетно держался за жизнь, ускользавшую, гаснущую, — тогда ниспослала мне даль голубая с высот моего бывшего блаженства пролившийся сумрак — и сразу расторглись узы рожденья — оковы света.

Сгнуло земное великолепье вместе с моею печалью — слилось мое горе с непостижимою новой вселенной — ты, вдохновенье ночное, небесною дремой меня осенило; тихо земля возносилась, над нею парил мой новорожденный, не связанный более дух. Облаком праха клубился холм³ — сквозь облако виделся мне просветленный лик любимой. В очах у нее опочила вечность — руки мои дотянулись до рук ее, с нею меня сочetaли, сияя, нерасторжимые узы слез. Тысячелетия канули вдаль, миновав, словно грозы. У ней в объятиях упиался я новой жизнью в слезах. Это пригрезилось мне однажды и навеки — и с тех пор я храбро неизменную вечную веру в небо Ночи, где светит возлюбленная.

4

Я знаю теперь, когда наступит последнее утро — когда больше Свет не прогонит Ночи, Любви не спугнет — когда сон будет вечен в единой неисчерпаемой грезе. В изнеможении небесном влачусь я. Утомительно долог был путь мой ко Гробу Святому, тяжек мой крест.

Недоступный обычному чувству, прозрачен родник, бьющий в сумрачном лоне холма, чьим подножием земной поток пресечен; кто вкусил сокровенного, кто стоял на пограничной вершине мира, глядя вниз, в неизведанный дол, в гнездилище Ночи — поистине тот не вернется в столпотворенье мирское, в страну, где в смятении вечном господствует Свет.

Пилигрим на вершине возводит кущи свои, кущи мира, томится, любит и смотрит ввысь, пока долгожданный час не унесет его в глубь источника — все земное всплывает, вихрем гонимое вспять; лишь то, что любовь освятила прикосновением своим, течет, растворяясь, по сокровенным жилам в потустороннее царство, где благоуханьем приобщается к милым усопшим.

Еще будишь усталых ты, Свет, ради урочной работы — еще вливаешь в меня отрадную жизнь — однако замшелый памятник воспоминанья уже не отпустит меня в тенета к тебе.

Готов я мой прилежные руки тебе предоставить, готов успевать я повсюду, где ты меня ждешь, — прославить всю роскошь твою в сиянье твоём — усердно проследивать всю несравненную слаженность, мысль в созиданье твоём ухищренном, любоваться осмысленным ходом твоих сверкающих мощных часов — постигать соразмерность начал твоих, правила твоей чудной игры в неисчислимых мирах с временами своими.

Однако владеет моим сокровенным сердцем одна только Ночь со своей дочерью, животворящей Любовью.

Ты можешь явить мне сердце, верное вечно?

Где у твоего солнца приветливые очи, узнающие меня?

Замечают ли твои звезды мою простертую руку?

Отвечают ли они мне рукопожатьем, нежным и ласковым словом?

Ты ли Ночи даруешь оттенки, облик воздушный, или, напротив, она наделила твое убранство более тонким и сладостным смыслом?

Чем твоя жизнь соблазнит, чем прельстит она тех, кто изведал восторги смерти?

Разве не все, что нас восхищает, окрашено цветом Ночи?

Ты выношен в чреве ее материнском, и все твое великолепие от нее. Ты улетучился бы в себе самом — истоцился бы ты в бесконечном пространстве, когда бы она не пленила тебя, сжимая в объятьях, чтобы ты согрелся и, пламенея, зачал мир. Поистине был я прежде тебя — мать послала меня с моими сородичами твой мир заселять, любовью целить его, дабы созерцанию вечному памятник-мир завещать, мир, возделанный нами цветник, увяданию чуждый. Еще не созрели они, эти мысли божественные, — еще редки приметы нашего прозрения. Однажды твои часы покажут скончание века, и ты, приобщенный к нашему лику, погаснешь, представишься ты. Я в себе самом ощутил завершение твоих начинаний — небесную волю, отрадный возврат.

В дикой скорби постиг я разлуку твою с нашей отчизной, весь твой разлад с нашим древним дивным небом.

Тщетен твой гнев, тщетно буйство твое.

Не истлеет водруженный навеки крест — победная хоругвь нашего рода⁴.

Путь пилигрима
К вершинам, вдаль,
Где сладким жалом
Станет печаль;
Являя небо,
Внушил мне склон,
Что для восторгов
Там нет препон.
В бессмертной жизни,
Вечно любя,
Смотрю оттуда
Я на тебя.
На этой вершине
Сиянью конец —
Дарован тенью
Прохладный венец.
С любовью выпей
Меня скорей,
И я почию
В любви моей.
Смерть обновляет
В своей быстрине,
И вместо крови
Эфир во мне.
Жизнь и надежда
При солнечном дне,
Смерть моя ночью
В священном огне.

5

Над племенами людскими в пространном их расселенье до времени царило насилие немое железного рока. Робкая душа людская в тяжких темных пеленах дремала.

Земля была бескрайна — обитель богов, их родина. От века высился их таинственный чертог. За красными горами утра, в священном лоне моря обитало солнце, всевозжигающий, живительный Свет.

Опорой мира блаженного был древний исполин. Под гнетом гор лежали первенцы Матери Земли, бессильные в своем сокрушительном гневе против нового, великолепного поколения богов и против их беспечных сородичей, лю-

дей. Лоном Богини был зеленый сумрак моря. В хрустальных гротах роскошествовал цветущий народ. Реки, деревья, цветы и звери были не чужды человечности. Слаще было вино, дарованное зримым изобилием юности, — бог в гроздьях — любящая мать, богиня, произраставшая в тяжелых золотых колосьях, — любовь, священный хмель в сладостном служенье прекраснейшей женственной богине — вечно красочное застолье детей небесных с поселенцами земными, жизнь кипела, как весна, веками — все племена по-детски почитали нежный тысячеликкий пламень как наивысшее в мире, но мысль одна, одно ужасное виденье:

К пирующим приблизилось, грозя,
И сразу растерялись даже боги,
Казалось, никому спастись нельзя,
И неоткуда сердцу ждать подмоги.
Таинственная, жуткая стезя
Вела чудовище во все чертоги;
Напрасный плач, напрасные дары!
Смерть прервала блаженные пиры.

Чужд радостям глубоким и заветным,
Столь дорогим для любящих сердец,
Которые томленьем жили тщетным,
Не веря, что любимому конец,
Казалось, этим грезам беспросветным,
Бессильный в битве, обречен мертвец,
И сладкая волна живого моря
Навек разбилась об утесы горя.

И человек приукрашал, как мог,
Неимоверно страшную личину:
Прекрасный отрок тушит лампу в срок,
Трепещут струны, возвестив кончину;
Смыл память некий благодный поток.
На тризне, подавив свою кручину,
Загадочную прославляли власть
И пели, чтоб в отчаянье не впасть.

Древний мир клонился к своему концу.
Отрадный сад юного племени процвел — ввысь, в поисках пустынной свободы не по-детски стремились взрослеющие люди.
Скрылись боги с присными своими. Одиноко, безжизненно коснела природа. Железные оковы налагало жесткое число с неколебимой мерой.
Как прах, как дуновение, в темных словах рассеялся безмерный цвет жизни. Пропала покоряющая Вера и превращающая все во все, всесочетающая фанта-

зия, союзница небес. Враждебно веял северный холодный ветер над застывшим лугом, и родина чудес воспарила в эфир. В далях небесных засветилось множество миров.

В глубинной святине, в горней сфере чувства затаилась душа вселенной со стихиями своими — в ожиданье зари всемирной.

Свет более не был знаменьем небесным, лишь в прошлом обитель богов, облекшихся теперь покровом Ночи. В плодотворном этом лоне рождались прощательства — туда боги вернулись — и почтили, чтобы в новых, более чудных образах взойти над возрожденным миром.

В народе, прежде всех в презрении созревшем слишком рано, чуждавшемся упорно юности блаженно-невинной, был явлен лик невиданный нового мира — в жилище, сказочно убогом, — сын первой Девы-Матери, таинственно зачатый Беспредельным. В своем цветении преизобильном чающая мудрость Востока первой распознала пришествие нового века — к смиренной царской колыбели указала ей путь звезда. Во имя необозримого грядущего волхвы почтили новорожденного блеском, благоуханьем, непревзойденными чудесами природы.

Одинокое раскрывалось небесное сердце, чашечка цветка для всемогущей любви, — обращено к высокому отчужденному лику, лелеемое тихой нежной матерью в чайне блаженном на груди.

С боготворящим пылом взирало пророческое око цветущего младенца на дни грядущие и на своих избранников, отпрысков Его Божественного рода, не удрученное земными днями своей участи. Вскоре вокруг Него сплотилось вечное детство душ, объятых дивно сокровенною любовью. Цветами прорастала близ Него неведомая, новая жизнь. Слова неистощимые, отраднейшие вести сыпались искрами Божественного Духа с приветных уст Его.

С дальнего берега, под небом ясным Греции рожденный, песнопевец⁵ прибыл в Палестину, всем сердцем предавшись дивному Отроку:

Тебя мы знаем, Отрок. Это Ты
На всех могилах наших в размышленье,
Отрадный знак явив из темноты,
Высокое сулил нам обновленье.
Сердцам печаль милее суеты.
Как сладостно нездешнее томленье!
Жизнь вечную Ты в смерти людям дашь.
Ты — смерть, и Ты — целитель первый наш.

Исполнен ликованья, песнопевец отправился в Индостан — сладостной любовью сердце было упоено и в пламенных напевах изливалось там под ласковым небом; к себе склоняя тысячи других сердец, тысячекратно ветвилась благая весть.

Вскоре после прощанья с песнопевцем стала жертвой глубокого людского растленье жизнь бесценная — Он умер в молодых годах, отторгнутый от любви

мого мира, от плачущей матери и робких своих друзей. Темную чашу невыразимого страдания осушили нежные уста — в жестоком страхе близилось рождение нового мира. В упорном поединке испытал Он ужас древней смерти, дряхлый мир тяготел над Ним. Проникновенным взглядом Он простился с матерью — простерлась к Нему спасительная длань вечной любви — и Он почил.

Всего несколько дней окутано было сплошною пеленою море и содрогавшаяся суша — неисчислимые слезы пролили избранники — разомкнулась тайна — духи небесные подняли древний камень с мрачной могилы. Ангелы сидели над усопшим — нежные изваянья грез Его — пробужденный, в новом Божественном величии Он взошел на высоты новорожденного мира — собственной рукой похоронил останки былого в покинутом склепе и всемогущей дланью водрузил на гробе камень, которого не сдвинет никакая сила.

Все еще плачут избранники Твои слезами радости, слезами умиления и бесконечной благодарности у гроба Твоего — все еще видят в радостном испуге Тебя Воскресшего воскресшие с Тобою — видят, как Ты плачешь в сладостном пылу, поникнув на грудь Матери блаженной, как торжественно Ты шествуешь с Друзьями, произнося слова, подобные плодам с дерева жизни; видят, как спешишь Ты, преисполненный томленья, в объятия к Отцу, вознося юный род людской и незапечатленный кубок золотого будущего. Мать вскоре поспешила за Тобою — в ликовании небесном — Она была первою на новой Родине с Тобою. Эпохи с тех пор протекли; все возвышенной блеск Твоего творения в новых свершеньях; тысячи мучеников и страдальцев, исполнены верности, веры, надежды, ушли за Тобой — обитают с Тобою и с Девой Небесной — в Царстве Любви — священнослужители в храме смерти Небесной, навеки Твои.

Отброшен камень прочь —
Настало воскресенье!
Твоя Святая ночь —
Всеобщее спасенье.
Земля побеждена;
Бегут печали наши
От этого вина
В Твоей целебной чаше.

На свадьбе смерть — жених;
Невестам всем светлее;
Достаточно елтя
В светильниках у них.
Едва под небесами
Пробьет желанный час,
Людскими голосами
Окликнут звезды нас.

К Тебе одной, Мария⁶,
Из этой мрачной мглы
Летят сердца людские,
Исполнены хвалы.
Небесная Царица,
Детей освободи!
Недужный исцелится,
К Твоей прильнув груди.

Взыскупя горней дали,
Превозмогая боль,
Иные покидали
Плачевную юдоль.
В печалях нам подмога,
Своих святые ждут.
Туда нам всем дорога,
Там вечный наш приют.

Уводит наших милых
Благая смерть во тьму,
И плакать на могилах
Не нужно никому.
Утешенный в томленьи
Небесными детьми,
Ночное исцеленье
Безропотно прими!

В надежде бесконечной
Не ведаем забот;
Веками к жизни вечной
Земная жизнь ведет.
Небесными лучами
Упьемся, как вином;
Светить мы будем сами
В сиянье неземном.

Не знает ночь рассвета
В прибое волн своих.
Навек блаженство это:
Единый стройный стих.
Всего на свете краше,
Не меркнет ни на миг
Святое солнце наше:
Господень ясный лик.

6

ТОСКА ПО СМЕРТИ

Из царства света вниз, во мрак!
Иная жизнь — в могиле,
Печаль в разлуке — добрый знак:
Счастливые отплыли.
Мы в нашем тесном челноке,
Небесный берег вдалеке.

Хотим забыться вечным сном
В ночи благословенной;
Увяли мы в тепле дневном
От грусти сокровенной.
Пора вернуться наконец!
Скитальцев дома ждет Отец.

Кому в миру любовь нужна?
Тоскуем втихомолку,
Когда забыта старина,
От новшеств мало толку⁷,
Так мы скорбим по старине
С мечтой своей наедине.

Бывало, чувства наши вмиг
Могли воспламениться.
Знаком был смертным Отчий Лик,
И голос, и десница.
Возликовать могли сердца,
В творении узнав Творца.

Бывало, грезил род людской
В цветении чудесном,
Томим с младенчества тоской
О Царствии Небесном;
И разве что любовный пыл
Сердцам людским опасен был.

Бывало, людям сам Господь
Сопутствовал телесно;
Свою Божественную плоть
Обрек Он казни крестной;
Изведал боль, изведал страх,
Чтобы царить у нас в сердцах.

В ночи затерян человек,
Напрасное томленье!
Такая жажда в этот век
Не знает утоленья.
К былым блаженным временам
Поможет смерть вернуться нам.

Пресекся наш печальный путь:
Любимые в могилах.
Могилы эти обогнуть
Скорбящие не в силах.
Вокруг простерлась пустота;
Пустынен мир — душа сыга.

И вдруг сюда, на этот свет, —
Негаданное чудо —
Как бы таинственный привет
Доносится оттуда.
Зовут возлюбленные нас,
Торопят наш последний час.

К невесте милой вниз, во мрак!
Свои разбив оковы,
К Спасителю, на вечный брак
Мы поспешить готовы;
Так нам таинственная власть
На грудь Отца велит упасть.

ДУХОВНЫЕ ПЕСНИ

I

Чем без Тебя я был бы в мире,
И чем я стал теперь с Тобой?
Затерян в бесприютной шири,
Я трепетал перед судьбой,
Смотрел в грядущее, как в бездну,
И, в сердце затаив печаль,
Я знал, я помнил, что исчезну,
И никому меня не жаль.

Меня снедало вожделенье,
Теснила суета сует,
В слезах напрасного томленья
Казался темнотою свет.
Как жить я мог тоской одною
В горячке будничных потуг,
Не видя, что всегда со мною
И на земле, и в небе друг?

Увидел я свое светило,
Предавшись Господу Христу;
Сиянье жизни поглотило
Беспочвенную темноту.
Он даровал мне человечность,
Преобразил судьбу мою.
С Ним нет зимы. С любимым вечность
Весна в тропическом раю¹.

С Ним жизнь, как праздник, пролетает;
Любовь одна всегда права.
Для каждой раны вырастает
Своя целебная трава.
За все дары, за все живое —
Сыновний мой смиренный стих.

Где соберутся только двое,
Спаситель третьим среди них.

Пойдем к жилищам нашим вечным
И в ликовании своем,
Протягивая руки встречным,
Заблудших к Богу поведем.
Мы наше небо видим сердцем,
И на земле оно при нас,
Всем верным, всем единоверцам
Открыто небо в добрый час.

Мы в ослеплении духовном,
В ночи затеряны давно,
Бывало, бредили греховным:²
И стыд и похоть заодно.
С небес грозили нам удары,
Как будто Божьи мы враги,
И в ожиданье смертной кары
Сказать не смеем: «Помоги!»

Источник сладостный и чистый,
Душа была во власти зла,
И если брезжил день лучистый,
Заря мучительная жгла.
Заключены в темничном прахе,
Оковы ржавые влача,
Теряли мы надежду в страхе
Перед секирой палача.

Явился наш освободитель,
Небесный Царь, пречистый Спас,
Пришел Он в скорбную обитель,
Разжег святое пламя в нас,
И мы прозрели в этой жизни,
И мы на свете не одни;
В небесной солнечной отчизне³
Господь Всевышний нам сродни.

Грех сгинул, как мираж бесследный,
Преобразился каждый шаг;
При нас подарок заповедный,
Сокровище небесных благ.
С тех пор, не ведая печали,
В мечтательном своем пути

Влюбленные не замечали,
Когда последнее прости.

В лучах сиянья неземного
Черты любимого лица,
И мы венец Его терновый
Оплакиваем без конца.
Любой пришелец — гость желанный;
Он в наш вступает хоровод,
И зреет с нами, долгожданный,
В Господнем сердце райский плод.

II

Старина помолодела,
Озаряется восток;
Нет сиянию предела,
Сладок пламенный глоток;
Свет, благим свершением зажженный,
Таинство любви преображенной.

Снизошел с небес на землю
Он, младенец, наш Христос.
Ветру жизни вновь я внемлю:
Ветер песню мне принес.
Веет над землею весть благая,
Древний пламень снова разжигая.

Пробудилась жизнь в могилах,
Упоительный родник,
Кровь святая в наших жилах,
Благодатный мир возник,
И в любвеобильной Божьей длани
Исполнение твоих желаний.

Дай проникнуть взорам вечным
В глубину души твоей
И в блаженстве бесконечном
Жизнь божественную пей!
Каждая душа давно готова
Встретиться с другими в пляске снова.

Только с Ним соприкоснешься,
Восприняв Его черты,
От Него не отвернешься:
Солнцу преданы цветы.

Минуло навеки царство мрака,
И прочнее не бывает брака.

Божество при нас отныне.
Вместо страха и тоски
И на льдине, и в пустыне
Благодатные ростки.
Все цветы Господня вертограда —
Жизнь твоя, забота и отрада.

III

Когда горячими слезами
Ты плачешь в комнате пустой
И у тебя перед глазами
Окрашен мир твоей тоской,

И прошлое дороже клада,
И веет боль со всех сторон
Такой томительной усладой,
Что лучше бездна, лучше сон

В той пропасти, где столько дивных
Сокровищ нам припасено,
Что в судорогах непрерывных
К ним тянешься давным-давно.

Когда в грядущем — запустенье
И только мечешься, скорбя,
И к собственной зываешь тени,
Утратив самого себя.

Открой ты мне свои объятия!
Мне твой недуг давно знаком,
Но пересилил я проклятье
И знаю, где наш вечный дом.

Скорее призови с мольбою
Целителя скорбей людских,
Того, кто жертвует собою
За всех мучителей своих.

Его казнили, но поныне
Он твой последний верный друг.
Не нужно никакой святыни
Под сенью этих нежных рук.

Он мертвых жизнью наделяет,
Даруя кровь костям сухим¹,
И никого не оставляет
Из тех, кто остается с Ним.

Он все дарует нашей вере.
Обращаешь у Него ты вновь
И прежние свои потери,
И вечную свою любовь.

IV

Прошлым дням, часам беспечным,
Наслажденьям быстротечным
Предпочту единый час;
В скорбный час я, безутешный,
Убедился: Он, безгрешный,
Умирает ради нас.

В сердце самое ужален,
Я поник среди развалин,
Увядая, как цветок;
Все надежды поглотила
Ненасытная могила,
Так мой жребий был жесток.

Я терзался, я томился,
Прочь в безумии стремился,
Бредил в сумрачной глуши;
Вдруг открылась мне гробница,
Свет явила мне Десница,
Камень сняв с моей души.

На вопрос я не отвечаю,
Кто шагнул ко мне навстречу,
Кто кого ко мне ведет¹,
Предпочту часам беспечным
Час, подобный ранам вечным,
Час, который не пройдет.

V

Если Он со мною,
Если я при Нем,

Если верностью одною
На пути моем земном
Укреплен я ныне,
Возликую сердцем я в пустыне.

Если Он со мною,
Я проститься рад
Со страной моей родною;
Мне дороже всех наград
Посох пилигрима.
Пусть мирская жизнь проходит мимо.

Если Он со мною,
Можно мне заснуть.
Вечной, сладостной волною
Кровь Его течет мне в грудь,
Нежно размывая
Мир, где скорбь застыла вековая.

Если Он со мною,
Цельный мир со мной;
Как фатою кружевною
Осеяю шар земной
С высоты небесной,
Отрок-паж Невесты Невестной.

Там, где Он со мною,
Мой родимый край¹.
Куплен дорогой ценою
Мой заветный вечный рай.
Ждать меня готовы
Братья там — ученики Христовы.

VI

Когда везде и всюду
Неверные сердца,
Один с Тобой пребуду
До самого конца.
Замучен был безвинно
Ты по моей вине;
С Тобою воедино
Отрадно слиться мне.

Я плачу, вспоминая,
Как прервана была
И жизнь Твоя земная,
И вечная хвала.
Ты верен был святые.
Начало всех начал.
Любовь забыта ныне,
Твой подвиг отзвучал.

Во мраке свет затерян,
Измучены сердца,
Всем, кто Тебе не верен,
Ты верен до конца.
Уличены в измене
Среди вселенских смут
Они Твои колени,
Как дети, обоймут.

Твоим хотел я зваться,
И я тебя постиг.
Нельзя мне расставаться
С Тобою ни на миг.
Открыл Ты мне объятия,
Ты внял моей мольбе;
Придут со мною братья
В объятия к Тебе.

VII ГИМН

Немногим ведома
Тайна любви,
Голод и жажда
Неутолимые.
Божественный смысл
Причастия¹ —
Загадка для чувств земных,
Но тот, кто однажды
Из жарких любимых уст
Пил дыхание жизни,
Тот, кому жар священный
Расплавил сердце в трепетных волнах,
Тот, чьи глаза открылись,
Измерив неисчерпаемую

Бездну небес,
Ест плоть Его,
Пьет кровь Его
Вечно.
Кто разгадал высокий смысл
Тела земного?
Кто может сказать,
Что такое кровь?
Плоть вездесущая,
Едина плоть,
В цветке небесном
Плавает блаженная чета.
О, когда бы мировое море
Уже вспыхнуло,
И в бедной телесности
Таять скала начала!
Нет конца сладостной трапезе,
Ненасытна любовь.
Проникновеннее, глубже
Приобщиться бы!
Все нежнее уста,
Все целительнее
Яство неизреченное.
Все трепетнее, все пламеннее
Упоена душа.
Все невыносимее
Голод и жажда сердца.
Так длится пиршество любви
Из века в век.
Если бы трезвые
Этого сподобились,
Они бы бросили все
И сели бы с нами
За стол предвкушения,
Никогда не пустующий.
Они вкусили бы
Всю полноту любви,
Прославив брашно истинное:
Плоть и кровь.

VIII

Буду плакать, плакать вечно,
Хоть бы в жизни быстротечной
Он вдали явился мне!

Слезы лью в тоске священной;¹
Хоть бы в скорби сокровенной
Мне застыть в могильном сне!

Как свою терпел Он муку,
Все еще терплю разлуку;
Вечный, тягостный укор,
Смерть Его перед глазами;
Изойти в тоске слезами
Не дано мне до сих пор.

Или нет Его в помине,
И никто не плачет ныне?
Целый мир неужто мертв?
Что мне жизнь! Слопшное горе
Без любви в целебном взоре.
Неужели мертвый мертв?

Мертв! Что значит это слово?
Сердце внять волхвам готово,
Но премудрые молчат.
Он безмолвен, все безгласно;
Я ищу Его напрасно
Сердцем средь мирских утрат.

В мире счастье невозможно,
Тесно мне, темно, тревожно;
Мрачной грезой прах гоним,
И томится все живое:
Лучше в сладостном покое
Под землею быть мне с Ним.

С Ним почить позволь мне, Боже!
Кости наши будут схожи;
Мой Отец -- Его Отец!
Ветер над могильным дерном
В мироздании просторном
Все развеет наконец.

Возлюбив страдальца кровно,
Возродившийся духовно,
Каждый принял бы Христа;
Жизнью брезгуя земною,
Каждый плакал бы со мною,
И была бы скорбь чиста.

IX

Я говорю: Он жив, Он жив,
Спаситель наш воскрес,
Навеки нас преобразив
Среди своих чудес.

Мне вторит мир, восторг суля
Рассветною порой;
Уже предчувствует земля
Небесный новый строй.

Отчизну распознал вокруг
Впервые человек,
Из благодатных Божьих рук
Приемля новый век.

В морской беззвучной глубине
Страх смерти потонул,
И каждый, радуясь весне,
В грядущее взглянул.

Уводит в небо мрачный путь,
Чертог отцовский там,
Где можно будет отдохнуть
Измученным сердцам.

Оплакивать усопших — грех¹,
Живое не умрет:
Согреет всех, утешит всех
Свиданье в свой черед.

Отраден труженику труд,
Когда пришла весна,
На нивах райских прорастут
Былые семена.

Он жив, Он жив, мы вечно с ним,
Никто не одинок;
Мы вместе мир преобразим,
Когда настанет срок.

X

Порою в заблужденье
Терзается душа;

Грозит ей наважденье,
Погибелью страша.

Рой призраков ужасных
Поблизости снует;
Во тьме ночей безгласных
На сердце тяжкий гнет.
В коловращенье жутком
Опоры нет как нет;
Подавленным рассудком
Овладевает бред.

Душою бред играет,
Влечет, заворожив;
Дыханье замирает,
И ты ни мертв, ни жив.

Кто крест вознес чудесный¹
В защиту всех сердец?
Заступник наш небесный,
Целитель и Творец!

Когда прильнешь, смиренный,
К целебному кресту,
Сожжет огонь священный
Гнеущую мечту.

И в небо вознесенный
Над скорбною страной,
Увидишь ты, спасенный,
Откуда рай земной.

XI

Я не стремлюсь к другому кладу,
Назвав сокровище своим,
Когда, найдя свою отраду,
Друг другу мы принадлежим.

Иной с лицом разгоряченным
Везде копает наугад;
Себя считает он ученым,
Не зная, что такое клад.

Иной желал богатств несметных,
Поскольку золото звенит;
Любитель странствий кругосветных
Порою только знаменит.

Один прельщен венком победным,
Другого лавры привлекли;
Подобно призракам бесследным,
Все это сгнуло вдали.

Неужто вы забыть успели,
Кто муки претерпел за вас,
Прославленный в земной купели,
Поруганный в последний час?

Неужто вы не прочитали
О том, как Он торжествовал
И, наши утолив печали,
Нам, грешным, благо даровал?

Как Врач сошел непревзойденный
К нам Словом Божиим с небес,
Пречистой Матерью рожденный,
Являя царствие чудес?

Как, предан детям своевольным,
В могиле перед ними прав,
Он камнем стал краеугольным,
Град Божий в мире основал?

Неужто вверен вашей вере
Неубедительный залог
И не откроете вы двери
Тому, Кто бездну перевозит?

И вы отвергнуть не хотите
Своих бессмысленных утех?
И вы сердец не посвятите
Тому, Кто милостивей всех?

Нет мне прибежища иного.
Ты, Царь любви, меня храни!
Пусть я лишен всего земного,
Я знаю, Небо мне сродни.

Ты воскресишь моих любимых,
Мне верность вечную храня,
И, Царь миров неисчислимых,
Не покидаешь Ты меня.

XII

Где Ты, Целитель всех миров?
Храм для Тебя давно готов,
Давно в томлении своем
Обетованного мы ждем.

Отец, десницею Своей
Благословение пролей!
Вознаградив любовь и стыд,
Пусть нас любимый посетит.

Нам, детям влюбчивой земли,
Свой теплый дух Ты ниспошли,
Насытив толщу туч сперва
Обильным током Божества.

Дар благодатный тучных туч —
Прохладный ливень, пламень, луч,
Сначала гром, потом роса:
Земля впитает небеса.

В святом бою преодолен,
Ад злобный будет посрамлен,
Вновь старина произрастет,
Рай первозданный расцветет.

Зазеленеет вдруг земля,
Ростками всюду шевеля,
Отрадный дух у нас в груди.
Спаситель наш, Христос, гряди!

Зима бледнеет, как заря,
И стоят ясли алтаря;
Встречает мир свой первый год,
Свое дитя обрел народ.

Спаситель — радость наших глаз,
В которых сам пречистый Спас;
Пречистый Спас в любом цветке,
Который в Спасовом венке.

Спаситель — солнце, Спаситель — звезда,
Родник, в котором живая вода;
В камне, в траве, в морской волне
Младенческий лик сияет мне.

В каждом предмете подвиг Его,
Неутомимо в любви Божество;
Он обнимает всех и вся,
Вечную жертву принося.

Он, Божий Сын и наш Господь,
Свою дает нам кровь и плоть,
Нас напоив и напитав.
Любовь — Божественный устав.

Все тяжелее нищета,
Все беспросветней темнота:
К нам Сына Ты пошли, Отец,
Чтобы вернуть Своих овец.

XIII

Если тяжесть роковая
Сокрушает сердце нам
И томимся, изнывая,
В страхе мы по временам,
Если в нашем общем горе
Ближних нам порою жаль
И сгущается во взоре
Мрачным облаком печаль,

Видит Бог невзгоду нашу
Со Своих святых высот;
Нам целительную чашу
Ангел Божий подает;
Утешение дороже
Нам, подавленным тоской,
И для ближних наших тоже
Можно вымолить покой.

XIV

Кто видел Твой пречистый лик,
Тот счастье в горестях постиг;
Твой лик страдальца утешает,
Когда разлука устрашает.

С Тобою, Пресвятая Мать,
Нельзя душою не возликовать.

Всем сердцем предан я Тебе,
Сопутствуй мне в моей судьбе!
Благая Матерь! Я во мраке.
Не откажи мне в добром знаке!
Мое спасение в Тебе,
На миг прислушайся к моей мольбе!

Мне виделась Ты в облаках
С младенцем Богом на руках.
Твой Сын жалел меня, казалось,
Когда душа моя терзалась,
Но, посмотрев издали,
Ты возносила вновь за облака.

Чем я Тебе не угодил?
Молюсь я из последних сил.
В чем я перед Тобой виновен?
Нет жизни вне Твоих часовен,
Владычица в святом раю,
Возьми Ты мое сердце, жизнь мою.

Ты вечно царствуешь в раю,
Любви моей не утаю.
Да разве я хоть на мгновенье
Твое забыл благословенье?
Я смутно чувствовал с пелен,
Что я Тобой, Пречистая, вскормлен.

Ты вспомни о Твоем рабе!
Как я по-детски льнул к Тебе!
Младенец Твой ко мне тянулся,
Чтобы я с Ним не разминуся;
И, просяв мне, как звезда,
Поцеловала Ты меня тогда.

С тех пор я в горестях поблек.
О, как блаженный мир далек!
Весь век скитаюсь, безутешен,
Неужто я так тяжело грешен?
К стопам Твоим по-детски льну.
Прерви мой сон. Прости мою вину!

Когда пречистые черты
Лишь детям светят с высоты,
Дай мне забыть пережитое,
Верни мне детство золотое,
О небесах Твоих грустя,
Люблю Тебя и верен, как дитя.

XV

И на иконах Ты прекрасна,
Мария, вечен образ Твой,
Однако живопись напрасна,
Когда владеешь Ты душой.
Мир, волновавший беспрестанно,
Рассеялся быстрее сна,
И небом, сладким несказанно,
С тех пор душа упоена.

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

К ЛИПЕ

Липа-чаровница!
В душный летний зной
Рада ты склониться
Снова надо мной.

Ты цвела, бывало,
Вся в жужжанье пчел;
Сердце ликовало,
И к тебе я шел.

Весело мне было
У тебя в тени;
На душе уныло
Стало в эти дни.

Плакали в ненастье
И твои листы.
«В чем твое несчастье?» —
Словно шепчешь ты.

Говорю в печали:
Милая больна,
И теперь едва ли
Вьживет она.

Будь она здорова,
В тень твоих ветвей
Я пришел бы снова
С милою моей.

ХАРАКТЕР МОЕЙ БУДУЩЕЙ ЖЕНЫ

Из всех девиц меня пленить
Способна лишь одна.
Нельзя девицу не ценить,
Когда она умна,

Радушна, ласкова, добра,
Привязчива всерьез,
Живая, резвая сестра
Беспечных майских грез.

Годится простенький наряд
Для прелестей таких;
И так они всегда затмят
Завятых щеголих.

Хоть постоянно занята
Жена, хозяйка, мать,
Ей не мешает красота
Повсюду попевать.

Достаток тоже не во вред.
Приятнее всегда,
Когда питателен обед
И не страшит нужда.

Но как найти подобный клад,
Подобный идеал?
Я вам, друзья, признаться рад:
Портрет я набросал.

Слывет наш город небольшим,
Живет Лаура там;
А кто Лаурою любим,
Деревья скажут вам.

БЕГ ПО ЛЬДУ

Юноша цветущий, ты, быстроногий,
Холода не бойся, германец пылкий;
Ослепительный лед влечет проворных
Гладью зеркальной.

Прикрепим надежно стальные крылья,
Дар Гермеса, чтобы дорогу взрезать
Весело и дружно в ночном сиянье
С песней задорной.

Только берегись полыньи коварной,
Где резвились нимфы, беги потише,
Юноша, минуя по мраке прорубь:
В ней твоя гибель!

Лишь стусится сумрак морозной ночи,
Лишь наденет небо наряд блестящий,
Дружелюбно месяц над нами светит
Нашему бегу.

ДВЕ ДЕВИЦЫ

Вам, боги, вам судьба моя известна:
Среди сомнений мечется мой дух.
Вся жизнь моя таится в девах двух,
И каждая из них равно прелестна.

Румянцем губ меня влечет одна,
Чьи прелести способствуют желанью:
Мне целят в глаз два резвых шалуна,
Едва прикрытые прозрачной тканью.

Царит Амур в глазах, где тьма ночная;
Во тьме престол ночного божества¹.
В других глазах, покоем соблазняя,
Фиалковая веет синева.

Одна прельщает розами ланит,
Зовущих целоваться с милой крошкой;
Другая невзначай воспламенит
Катона² самого своєю ножкой.

Фантазия, постой, оставим резвость!
Вдохновлены преданием благим,
Проявим платоническую трезвость,
О свойствах душ давай поговорим.

Одной мила забавная сатира,
Ей нравится острогами блистать;
А Каролина около клавира
Грустить предпочитает и мечтать.

Одну чарует шум веселый бала,
Насмешливый Вольтер³ приятен ей;
Другая всё бы Бюргера читала
Там, где воркует сладостный ручей.

Беспечна, весела брюнетка Минхен,
Как шаловливый, ласковый зефир;
Зато вкушать способна Каролинхен
Под крышею соломенной мир.

Когда со мною Минхен, я порхаю,
И для меня Гораций — образец⁴,
А рядом с Каролинхен, как мудрец,
Я, прохладенный хмелем, затихаю.

ПЕСНЯ ПРИ КУПАНЬЕ

Друзья, веселее! Одежды долой!
Томительным солнечным днем,
Когда изнуряет мучительный зной,
В прохладную воду нырнем!

Нам тягостен жаркий полуденный час,
Приносит он много вреда;
Зато воскрешает природу и нас
В кустарнике частом вода.

Быть может, волна бескорыстно хранит,
Играя среди духоты,
Всю прелесть румяных девичьих ланит,
Стыдливый восторг наготы.

Так вот что меня в отдаленье манит,
Так вот что велит мне нырнуть;
Играя, целует, лаская, пьянит
Мою обнаженную грудь.

ДЬЯВОЛ

Случилось плуту продувному,
Мошна которого пуста,
Стечению обстоятельств столь дурному
Поддаться и признать: всё в мире суета.
И в городке провинциальном
На площадях и во дворах,
На всех воротах и на всех дверях
Развесил объявление вертопрах
В базарном стиле, броском и сусальном,
На многое не смея притязать:
Сегодня в пять часов намерен показать
За двадцать крейцеров он дьявола публично,
Что в просвещенный век и модно и прилично.
Всех, кто ходить умел, привлек великий маг,
Как будто Рождество вернулось между делом;

Сам бургомистр на двери мелом
Изволил записать, чтоб не попасть впросак,
Час представленья. Город в целом
При этом был взволнован так,
Что свой натягивал парик и фрак
Чиновник; жертвовал среди зевак
Последним крейцером ремесленник-простак.
Один портной сказал: «Я не дурак.
Я черта ежедневно вижу даром
В лице моей жены. Чертовским карам
И так подвержен я, и ни к чему мне маг».
Представ собравшемуся люду,
Герой с пустейшим кошельком
Сперва манипулировал молчком,
И, зрителей готовя к чуду,
Он оказался вдруг речист;
Спросил он, кто здесь атеист,
При этом, на руку нечист,
Мошенник требует оплаты.
Бывают и такие прокураты;
Но втайне зрителям обидно,
Глядят во все глаза, а ничего не видно.
Бездельник, *bel esprit*, отважился один
Сомненье выразить словами:
«Я вижу пустоту». «Вы правы, господин, —
Плут молвил, — стало быть, сам дьявол перед вами».

ЖАЛОБА ЮНОШИ

Никогда еще не улетали
Радости бесследно от меня;
Сердце новой сладостью питали,
Дух воспоминанием пьяня;
Благодарен памяти отрадной,
Процветал я скорби вопреки,
В юности лозою виноградной
С миром увенчав свои виски.

Трепетно внимательный читатель
Нежных щек и голубых очей,
Грезил задушевнее мечтатель
В леденящем сумраке ночей;
А когда в разлуке с Клерхен милой
Пилигрима мучила тоска
И с такой целительной силой
Соловей мне пел издадека,

Утешала жизнь меня улыбкой,
Обнадежив множеством примет;
Не прельщал Амур мечтою зыбкой,
Не поил дурманом Ганимед.
Так что солнце для меня не гасло,
Ветерки ласкались в тишине;
Окунувшись в розовое масло,
Приближались образы ко мне.

Льнут ко мне венерины голубки
С новыми венками за игрой;
Наливные гроздья, словно кубки,
Мне сулит любвеобильный рой;
Приобщают к дивным совершенствам
Поцелуи граций, ласки муз;
Упоен божественным блаженством,
С божеством я заключил союз.

Как, однако, щеки пламенеют,
Если вновь передо мной возник
Там, где тучи к вечеру темнеют,
Страстотерпца величавый лик¹,
Потому что этого светила,
Вольного среди других светил,
Небо светом вечным не прельстило,
Ад кромешной тьмой не укротил.

Так изнежен я судьбой моею,
Что совсем я мужества лишен;
Я перед опасностью слабею,
Выпадом враждебным уstraшен.
Мне Любовь капризно потакала,
И моя лукавая судьба
Баловня беспечного ласкала,
Воспитав покорного раба.

Посохом пастушеским играя,
Юноша копьём не потрясал.
Как чужда мне пляска боевая!
Только в хороводах я плясал.
Обойденный роковым величьем,
Я не рисковал собой в бою,
Потому что в обществе девичьем
Проводил доселе жизнь мою.

Если хочешь ты внушить мне, Парка,
Что заклатью пылкому дано
В чайне мгновенного подарка
На твое влиять веретено,
Осчастливить можешь миллионы,
У меня отняв мой мнимый рай;
Ниспошли мне скорбь, даруй препоны,
Лишь духовной силы мне придай.

Я бы разжигал огонь алтарный,
Слыть счастливецом я тогда бы мог,
Радостный, свободный, лучезарный,
Духом закален среди тревог;
Но когда ответишь ты отказом,
Пережить не в силах я стыда;
Жизнь мою тогда прерви ты разом,
Ибо жизнь моя — не жизнь тогда.

ДОРЕ

(В знак благодарности за портрет моей Жюли)

Неужто меркнет взор целебный,
Затеплившись на краткий срок?
Но как соткать узор волшебный,
В котором был бы цел цветок?
Неужто скорбного потомства
Не осчастливит милый лик,
И нам даровано знакомство
С небесным образом на миг?

Пугает радость нас потерей,
Печалью будущей грозя;
Хоть время стоит всех мистерий,
Привыкнуть нам к нему нельзя.
Неужто дивному бутону
Дарован этот сладкий час,
Чтоб, расцветая по закону,
Навек божественный погас?

Под кипарисом скорбью смутной,
Слезами тайными томим,
Поэт вздыхает поминутно,
Пока возлюбленная с ним.

Влюбленный ловит взором жадным
Приметы хрупкой красоты,
Покуда мраком безотрадным
Не облеклись ее черты.

Красавица сказала нежно:
«О чем ты думаешь, скорбя?
Быть может, ласкою небрежной
Я потревожила тебя?
Утешься, милый! Дева вскоре
Тебе листок преподнесет,
Который, прогоняя горе,
От мыслей тягостных спасет».

Поэт отвечает несмело:
«Я сердцем, кажется, воскрес.
Тоска впервые онемела
В предчувствии таких чудес».
Чтобы душе благоговейной
Не страшно было уповать,
Листок рукой своей лилейной
Готова Муза даровать.

Не бойся впредь, считая годы!
Теперь тебе роптать грешно.
Преображение природы
Искусством запечатлено.
Навеки в строгом очертанье
Возлюбленная молода:
Земля и небо в сочетанье,
Единство цвета и плода.

Рисунок видя безупречный,
Осенней мрачною порой
Ты различишь прообраз вечный,
И время проиграет бой.
Искусство в зеркале чудесном
Хранит пленительную тень.
Хотя в обличии телесном
Померк неуловимый день.

Влюбленный счастлив, несомненно;
Слов не находит он в ответ,
А перед ним одновременно
Лик ненаглядный и портрет.

Хоть, недостойная заслути,
Восторгом песня рождена,
Лишь благодарностью подруги
Художница награждена.

ПОЭЗИЯ

Горняя жизнь в голубом облаченье,
Нам дает она¹ урок;
Чертит имя, чье значенье
Пестрый затаил песок.

Благодатная твердыня,
Где светильник не потух;
Там вселенская святыня²,
Хоть покинул тело дух.

Шепчет нам обетованья
Лист, потерянный не раз;
Очи древнего сказанья
Открываются для нас.

С шумом распахнутся створы,
Молча ввидете в портал;
Сверху возвестят вам хоры:
Мрамор вещей в храме лежал.

Беглые проблески в жизни мгновенной,
Ими ночь населена;
Пленены игрой блаженной,
В празднествах расточены времена.

Кубки наполнив, любовь чарует,
Дух заиграл среди лепестков;
Так что детство вечно пирует,
Пока не порвется священный покров.

Нет колесницам, казалось, числа,
Все затерялось в сонмах несметных,
И на своих жуках разноцветных
К нам царица цветов снизошла³.

Завидев облако-покрывало,
Ниц перед нею мы упали
И вновь заплакали в печали:
Красавицы как не бывало.

К ТИКУ¹

Ребенок², радости не зная,
Заброшен в дальней стороне,
Отвергнув блеск чужого края,
Остался верен старине.

Он долго странствовал в смятенье,
Искал отчизну и семью;
В саду, в безлюдном запустенье
Нашел он ветхую скамью

И книгу, замкнутую златом³,
Где тайнам не было числа,
И в сердце, чувствами богатым,
Весна незримо проросла.

Науку звезд, уроки знаков⁴,
Мир неизвестный, мир — кристалл
Постиг читатель в царстве знаков
И на колени молча встал.

И в бедном платье, неприметный,
Возник среди высоких трав
Старик с улыбкою приветной,
Благочестивому представ.

Очам таинственно знакомы
По-детски ясные черты,
И ветерок среди истомы
Седины зыблет с высоты.

Скитанью долгому в разлуке
Дух книги положил конец;
Ребенок сжал в молитве руки:
Он дома, перед ним отец.

«Ты на моей стоишь могиле, —
Нарушил голос тишину. —
И ты, моей причастный силе,
Постигнешь Божью глубину.

Утешен книгою небесной,
Прозрел я в бедности моей;
Подросток, на горе отвесной⁵
Я видел душу всех вещей.

Явил мне таинства рассвета
Тот, Кто вселенную творит;
Ковчег Новейшего Завета⁶
Передо мною был открыт.

Я вверил буквам дар чудесный,
Таинственный завет храня;
Я умер, бедный и безвестный,
Господь к Себе призвал меня.

Века прервет одно мгновенье,
С великой тайны снят запрет;⁷
Здесь в этой книге откровенье:
В ней прорывается рассвет.

Стань провозвестником денницы⁸,
Мир проповедуй меж людьми,
И наподобие цевницы
В себя мой чистый дух прими.

Будь верен книге! Бог с тобою!
Росой глаза себе промой.
Омытый глубию голубою,
Прославишь прах забытый мой.

Тысячелетнюю державу⁹,
Как Яков Бёме, возвести,
И сам, прославленный по праву,
С ним снова встретишься в пути.

ПОЗНАЙ СЕБЯ!

Лишь одного человек искал веками повсюду,
На неприступных горах, в безднах и в недрах земных.
Тщетно давал имена сокровенному в тайне глубокой,
Чаял всегда и везде, не обретал никогда.
Некто¹ детям давно в дружелюбных мифах поведал,
Где к сокровищу путь, где к заповедному ключ.
Впрок немногим пошло загадочное указанье,
Мало кому довелось целью самой завладеть.
Так эпохи прошли, в заблужденьях мысль заострилась²,
Даже мифу теперь истины не утаить.
В мире внешнем нигде не найти философского камня,
Мудрый обрящет его только в самом же себе.

Благоразумный адепт эликсирами пренебрегает³,
И превращает он всё в чистое золото, в жизнь.
В нем таится король⁴, в нем священная колба⁵ дымится,
Дельфы⁶ в нем. Он постиг мудрость: себя ты познай!

ЗАЗЕЛЕНЕЛ ПУСТЫННЫЙ ЛУГ

Зазеленел пустынный луг,
Кустарник зацвёл вокруг;
Трава повсюду пробивалась,
И небо настезь открывалось;
Что движет мной, не знал я сам;¹
Не верил я своим глазам.

Гостеприимный лес темнел,
Благоухал, шумел, звенел;
Везде меня встречали трели:
На каждой ветке птицы пели.
Что движет мной, не знал я сам;
Не верил я своим глазам.

Вокруг рождались неспроста
Созвучья, запахи, цвета;
Затрепетало всё в слякоть,
Распространялось обаянье.
Что движет мной, не знал я сам;
Не верил я своим глазам.

Быть может, пробудился дух,
Очаровав мой взор и слух
Лучами, трелями, цветами,
Своими нежными устами.
Что движет мной, не знал я сам;
Не верил я своим глазам.

Быть может, в новом царстве прах
Пророс в бесчисленных ростках;
Как звери, дрогнули дубровы,
А звери стать людьми готовы.
Что движет мной, не знал я сам;
Не верил я своим глазам.

В свои раздумья погружен,
Мгновенно был я поражен:
Девица проходила мимо,
Меня пленив неизъяснимо.

Что движет мной, не знал я сам;
Не верил я своим глазам.

Прошла девица в тишине,
На мой привет ответив мне,
И, не разгневавшись нимало,
Своей руки не отнимала.
Что движет мной, не знал я сам;
Не верил я своим глазам.

В тени приветливой лесной
Я понял, что весна со мной;
Увидел я сквозь все покровы:
Богамы люди стать готовы?²
Что движет мной, постиг я сам;
Поверил я своим глазам.

ПОКРЫЛИ НЕБО ТУЧИ

Покрыли небо тучи
В ненастной душной мгле;
Неизъяснимо жгучий
Дул ветер на земле.

Влачился я в печали
Среди моих потерь.
Мольбе моей не вняли.
Что делать мне теперь?

Когда бы разлюбила
Далекий образ мой,
Мне тихая могила
Вернула бы покой.

В разлуке нестерпимой
О чем еще мечтать!
Летал бы я с любимой,
Когда бы мог летать.

И мы бы полетели
В заморский край, на юг,
Когда бы опустели
Осенний лес и луг.

Пленись весною вечной,
Не зная холодов,
Порхать бы нам беспечно
В цветах среди плодов.

Где сладостны досуги,
Там быстро мирт растет;
У нищенской лачуги
Репейник расцветет.

Встревоженный грозою,
Я сетовал, грустя,
Как вдруг своей лозою
Махнуло мне дитя:¹

«Зачем ты, друг, роняешь
Горючую слезу?
Зачем на жизнь пеняешь?
Возьми мою лозу!»

Я принял в умиление
Подарок малыша,
Который в отдаленье
Исчез уже, спеша.

Подумал я при этом:
«Зачем же мне лоза?»
И мне зеленым светом
Повеяло в глаза.

Змеиная царица²
Среди травы густой
Могла бы притвориться
Застежкой золотой.

Короною блистая,
В кустах она ползла;
Зелено-золотая,
Кругом светилась мгла.

Моя лоза качнулась
В глубокой тишине,
И чешуи коснулась,
Добыв богатство мне.

ВИЖУ ПУТЬ НАШ БЕСКОНЕЧНЫЙ

Вижу путь наш бесконечный.
Легкомыслен первый встречный,
Утомлен искатель вечный;
Лишь один из всех, беспечный, —
Путник вечный, безупречный.

Время для глупцов — забава
И смертельная расправа;
Однодневка пропадает.
Хоть стихия в споре старом
Вновь грозит своим ударом,
Снова мудрый побеждает:
Время покорилося чарам;
Обуздав его недаром,
Властью мудрый обладает.

Дан богам покой беспечный
В тихой роскоши своей,
Жизнь людская — подвиг вечный.
Власть — забава для людей.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Памяти
А. В. МИХАЙЛОВА,
моего друга,
сопутствовавшего мне
в постижении Новалиса

В. Б. Микшевич

В. Б. Микшевич МИФ НОВАЛИСА

1

Молодой барон Георг Фридрих Филипп фон Харденберг придавал особое значение имени «Новалис», которым он подписывал свои произведения. Это имя не было псевдонимом. Предки поэта в двенадцатом веке в Нижней Саксонии именовались господами фон Роде, что на официальную латынь переводилось как «де Новали». Значение имени связано с расчисткой леса под пашню, с корчеванием, так что по-русски имя означает «новину» или «целину». Фридрих фон Харденберг подчеркивал, что «Новалис» — его старинное имя, не совсем неподходящее для него. Собрание своих фрагментов «Цветочная пыльца» поэт предварял двустишием:

Братья, почва скудна, и нам подобает обильно
Сеять, чтобы собрать хоть небольшой урожай.

В конечном счете «Новалис» означает «возделывающий новину», что вполне соответствует тому, чем он занимался. Вопреки установившемуся впоследствии обыкновению, сам поэт произносил свое имя с ударением на первом слоге «Новалис», а его мать и его друг Людвиг Тик предпочитали ударение на последнем — «Новали́с» (оба эти ударения допускаются латинской формой имени).

Имя «Новалис» поистине оказалось «не совсем неподходящим» для своего носителя, предопределив его судьбу, назначение, значение и самую личность. Древнее родовое имя поэта сочетает исконную кровную почву в ее цельности (целина) с новиной, а именно так Новалис понимал старину, новее которой ничего нет: «Старина помолодела...», «Замкнут круг тысячелетий в мире вечной старины». Пророком вечной старины и стал Новалис. Но такая старина не может не означать вечной обратимости. Как слово обратимо в поэзии Новалиса, играющее всеми своими значениями и гранями, так для него обратимы жизнь и смерть, превращающиеся одна в другую, что означает нечто большее, чем просто бессмертие. В сфере абсолютной обратимости действует Новалис-мистик. Его удел — предвещать, предвосхищать нечто неотвратимое, совершенно реальное, но все еще не наступившее. Когда антропософская наука открывает в Новалисе Иоанна Предтечу, она лишь покоряется обаянию все того же имени, таящего в себе и совсем другие, иногда противоположные смыслы. «Миф есть развернутое магическое имя», — писал А. Ф. Лосев¹. Едва ли найдется лучшее

¹Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 579.

подтверждение этой истине, чем имя «Новалис», на которое вольно или невольно ориентированы любые исследования и трактовки его творчества.

Точно так же трудно найти другого поэта, чья биография с такой магической буквальностью, как биография Новалиса, соответствовала бы стиху В. А. Жуковского: «Жизнь и поэзия одно». Жизнь Новалиса то и дело впадает в поэзию, а поэзия возвращается в жизнь, и на разных уровнях повторяется все та же ситуация мифического предвосхищения, обнаруживающая все новые и новые параметры. Среди этих поэтических уровней затеряна реальная биография поэта, и его краткое жизнеописание со всей своей документальной достоверностью читается как романтическая новелла, написанная романтиком же при всех реалистических подробностях.

Главной трагической и одновременно интригующей подробностью в этой романтической новелле остается ранняя смерть героя, не дожившего до двадцати девяти лет. С одной стороны, Новалис нисколько не заблуждался относительно продолжительности своей жизни, а с другой стороны, разрабатывал творческие замыслы, рассчитанные на десятилетия, если не на столетия, строил планы, касающиеся профессиональной карьеры и семейного счастья, осуществляя их, хочется сказать, без оглядки, но, вернее, именно с оглядкой на близящуюся смерть, лишь обострявшую его ненасытный вкус к жизни. За год с небольшим до своей смерти Новалис вполне сознательно, с неподдельным юношеским энтузиазмом заключает новую помолвку (первая завершилась безвременной смертью невесты) и обращается с проникновенным стихотворением к Доротее Шток, пишущей портрет его последней избранницы (по-видимому, та же Доротея Шток написала серебряным грифелем в 1789 г. портрет Моцарта). В стихотворении Новалис высказывает лирическую тревогу по поводу увядания и грядущей смерти своей цветущей, совершенно здоровой невесты, хотя смерть грозит ему самому и вопреки мнению некоторых своих современников у Новалиса нет никаких иллюзий относительно своего будущего.

Среди ранних стихотворений Фридриха, или Фрица, как его называют в семейном кругу, одно озаглавлено «У могилы моего отца». Стихотворение не блещет поэтическими достоинствами, но отличается вольномыслием, не совсем обычным для отпрыска аристократического рода. Сын приписывает отцу братскую любовь ко всем, невзирая не только на золото и чины, но и на знатность. Упоминаются в стихотворении даже «коронованные злодеи», бессмертные лишь благодаря тому, что они были современниками столь добродетельного человека. Но самое примечательное в стихотворении даже не это. Дело в том, что, когда оно писалось, отец юного стихотворца был живехонек; более того, ему предстояло пережить сына, чьими поздними стихами он будет однажды глубоко растроган в церкви, хотя благочестивый внук не подарит ему своих слез, как сулило раннее стихотворение, ибо юный стихотворец не успеет обзавестись детьми.

В точности неизвестно, как реагировал барон Эразм фон Харденберг на воспевание своей могилы, но, по всей вероятности, он принял стихотворение как должное, как вполне разумное и правильное «memento mori». Смерть была неременной участницей семейного обихода в доме Харденбергов. Собственно

говоря, рождению Новалиса предшествовала смерть. Первая жена барона Харденберга умерла совсем юной от оспы, и барон воспринял ее смерть как Божию кару за грехи своей молодости. Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил суровому покаянию, присоединившись к мистической секте гернгутеров, культивировавшей искреннее задушевное благочестие. При этом барон фон Харденберг не был богат и мистическое созерцание вынужден был сочетать с практической деятельностью ради хлеба насущного. Возможно, этим и объяснялось отсутствие аристократических претензий в семье. Эразм фон Харденберг служил офицером, управлял имениями, в особенности же занимался горным делом. Это занятие в конце концов унаследовал от него и сын Фридрих, воспитанный в сознании, что его будущее зависит от общепринятой бюргерской профессии. Кстати, в стихотворении, посвященном своей матери, Новалис назовет ее погорняцки — «месторождение» или «руда». Эразм фон Харденберг вступил во второй брак с Августой Бернардиной фон Бельциг. От энергичного вспыльчивого мужа, жившего в постоянном самообуздании, она отличалась утонченной поэтической натурой. От этого брака у барона фон Харденберга было 11 детей. Из них только один сын пережил своих родителей.

Фридрих фон Харденберг, будущий поэт Новалис, родился 2 мая 1772 г. в родовом имении Видерштедт, доставшемся в XVII в. его прадеду, после того как произошла секуляризация церковных владений: раньше на месте имения был женский монастырь. До девяти лет маленький Фриц не обнаруживал никаких особенных дарований, напротив, даже отставал в своем развитии от сверстников — хрупкий, болезненный ребенок, постоянно погруженный в себя. Биографы называют весьма физиологическую, даже натуралистическую причину, пробудившую дух Новалиса: то был понос в тяжелой форме, после которого ребенок внезапно преобразился. Говорят даже о физическом катарсисе, пережитом Новалисом, подобно другим натурам, предрасположенным к мистике. С этого момента на протяжении всей остальной жизни Новалис одержим любознательностью, далеко выходящей за пределы обязательных учебных предметов. В двенадцать лет он уже обладает основательными познаниями в древних языках, осваивая не только латынь, но и греческий, изучает французский, итальянский, английский языки. Не было науки, которой Новалис не увлекался бы. По широте интересов его можно сравнить разве что с Лейбницем или с Гёте. Учебные выписки или конспекты Новалиса, образуя целые тома в собраниях его сочинений, быстро и непринужденно перерастают в оригинальные исследования, охватывая не только гуманитарные, но и естественные и даже точные науки. Среди фрагментов Новалиса накапливаются посвященные физике, медицине, математике. Дар предвосхищения сопутствует Новалису и в науке. Забегая вперед, нельзя не упомянуть, что в Новалисе видят предшественника Зигмунда Фрейда и Альберта Эйнштейна. Бросается в глаза характерная черта Новалиса: редкая гибкость его интеллекта, способность сочетать в своей личности противоположные точки зрения и совершенно разные способы существования. Для Новалиса не существует вопроса «или—или», который станет основополагающим для Сёрена Кьеркегора. В доме Харденбергов царит атмосфера протестантского благочестия, так называемого пиетизма, усугубленного

принципами гернгутеров, и Новалис охотно поддается этому влиянию, обретая в нем творческий стимул, который скажется в самом зрелом его поэтическом произведении, в «Духовных песнях». Но при этом с четырнадцати до пятнадцати лет Новалис живет в доме своего дяди Фридриха Вильгельма фон Харденберга, где попадает в совсем другие условия. Старший брат его отца, Фридрих Вильгельм, носит средневековое рыцарское звание; он господин и комтур немецкого ордена. Несмотря на свои архаические регалии, дядя — вполне современный господин, приверженный светской жизни в стиле французского двора. И светская жизнь, оказывается, вполне по душе юному тезке титулованного дяди. Новалис очень рано начинает увлекаться праздниками и празднествами в жизни и в поэзии, наслаждаясь, быть может, контрастом утонченных забав и гернгутеровской строгости. Не исключено, что пир в доме старого Шваннинга в романе «Генрих фон Офтердинген» описан по воспоминаниям о дядиных роскошествах. Но в дядином доме юноша, вероятно, воспринимает и более интеллектуальные веяния. Новалис соприкасается со стилем и духом французского просветительства, не чуждого вольнодумству, которое в России называется вольтерьянством или фармазонством. Трудно представить себе что-нибудь более противоположное протестантскому пиетизму, чем такие настроения, но Новалис поддается им с готовностью и удовольствием. Ему близок сам пафос французских энциклопедистов, но вскоре Новалис осмыслит его по-своему. Вся последующая деятельность Новалиса диктуется стремлением создать своего рода энциклопедию, но, если французские энциклопедисты стараются затронуть и описать как можно больше разных предметов с одной рационалистической точки зрения, Новалиса влекут разные точки зрения, образующие для него единственную, истинную книгу, в конечном счете тоже энциклопедию.

В 1790 г. Новалис переезжает в Йену, где поступает в университет. В Йене Новалис продолжает испытывать влияние просветительства, теперь уже не только французского, но и немецкого. В это время Новалис не может не осмысливать различие между французским и немецким просветительством. Различие это особенно заметно по отношению к античности. Французских просветителей не очень занимает вопрос, какова была античность в действительности. Они довольствуются главным образом представлением о ней, унаследованным от своего любимого писателя Плутарха и поздних римских авторов. Для французских просветителей античность зачастую просто совпадает с рационалистической нормой в истории и культуре и потому устанавливается по принципу: что разумно, то антично. Этот принцип со временем обогащается разве что естественностью или природой, определяемой также рационалистически: классическая древность или совпадает с природой, или, во всяком случае, к ней ближе, чем более поздние эпохи. Разумность интересует французских просветителей, в сущности, больше античности. И в исторической античности для них присутствовало или даже преобладало «неантичное», неразумное: история. В XIX в. такое пренебрежительное отношение к истории унаследует от просветителей их воинствующий противник Артур Шопенгауэр. История, по существу, оставалась вне поля зрения для французских просветителей. Они лишь обращались к от-

дельным историческим сюжетам, в принципе осуждая историю как школу безнравственности и неразумности.

Напротив, для немецких просветителей античность становится прекрасной, хотя и утраченной действительностью. Основоположником такого взгляда на античность в Германии был Иоганн Иоахим Винкельман, осваивавший не только античное художественное наследие, но и античный образ жизни, как он представлял его себе, что и навлекло на Винкельмана насильственную смерть: красавец по фамилии Арканджели, происходящей от «архангела», зарезал в гостинице в Триесте этого поклонника мужской красоты. Когда Винкельман говорил о подражании античности, он имел в виду восторженное соперничество из-за нее или с нею, а никак не копирование. Вместе с таким воззрением на античность в культурное сознание мыслящей Германии вошла история, не только уводящая от античности, но и ведущая к ней. Тенденция если не вернуться к античности, то вернуть ее начинает преобладать в духовной жизни Германии. Сто лет спустя эта тенденция преломится в творчестве Ницше как дионисийство или идея вечного возвращения. Но в XVIII в. это были еще только элегические поиски утраченной гармонии. Стихотворение Шиллера «Боги Греции», написанное в 1788 г., основополагающее для этого мироощущения, заканчивалось строками: «Что бессмертным будет в песнопенье, в жизни пасть обречено». Среди других замороженных этими стихами Шиллера был и юный Новалис. Целое десятилетие эти строки Шиллера будут сопутствовать ему, и он откликнется на них в своих «Гимнах к Ночи».

В Йенском университете Новалису полагалось изучать юридические науки, и нельзя сказать, что эти занятия прошли для него бесследно. (Он завершил юридическое образование в 1794 г. в Виттенберге.) «Политические афоризмы» в будущем покажут, как воспринял Новалис принципы государственного права. Но по-настоящему захватывают юного студента лекции по истории, которые читает Фридрих Шиллер. В зимнем семестре 1790/91 г. Шиллер читает особый курс по истории европейских государств и посвящает отдельную лекцию крестовым походам. И то и другое навсегда войдет в интеллектуальный мир и творчество Новалиса. Под влиянием Шиллера Новалис начинает мыслить исторически, причем история для него никогда не будет лишь прошлым, распространяясь также на современность и на будущее, что мы явственно видим в очерке «Христианство, или Европа». Дар пророческого предвосхищения, воплощенный в личности Новалиса, обретает благодаря лекциям Шиллера историческую почву, а крестовые походы со своими историческими перипетиями и с мистическим взаимодействием Запада и Востока станут едва ли не главной темой романа «Генрих фон Офтердинген». Но прежде всего Шиллер впечатляет его самым сочетанием историка и поэта, являя Новалису актуальный для него прецедент, подавая ему пример. Этот пример, вероятно, побуждает Новалиса по-иному взглянуть на свои собственные поэтические опыты. По свидетельству брата, Фриц писал стихи с двенадцати лет. Сначала это главным образом стихи, посвященные родителям, родственникам, тем или иным событиям семейной жизни. Юный поэт пишет стихотворения на случай, но сам Гёте скажет Эккерману, что начинающему поэту следует идти именно таким путем, так что поэтическое развитие Новалиса, с точки зрения стареющего Гёте, можно было бы признать здоровым и правиль-

ным, хотя Гёте и дистанцировался от слишком романтических результатов этого развития. Круг тем в стихах юного Новалиса расширяется с чрезвычайной быстротой, в них виден сущий калейдоскоп увлечений, импульсов, влияний. В поэзии XVIII в. нет ни одной школы, которой Новалис не посетил бы, так или иначе участвуя в ее уроках. Наряду с поэзией Клопштока, культивировавшего античные размеры и свободные ритмы, Новалиса привлекает и хрупкий, утонченный элизм Людвиг Генриха Хельти. Встречаются среди ранних стихов Новалиса настоящие шедевры, например, «Дьявол», где картины провинциальной немецкой жизни выходят на грань мистического гротеска, предвосхищающего сокровенную тайну «Учеников в Саисе». Стихотворение «Характер моей будущей жены» при всей своей игривой анакреонтике открывает существеннейшую особенность Новалиса: он певец брака. В этом смысле Новалис — продолжатель Кретьена де Труа и Вольфрама фон Эшенбаха, а не провансальских трубадуров, приверженных культу эзотерического адюльтера. В «Политических афоризмах» Новалис напишет: «Государь, лишенный семейного духа, не монарх». Упоительная чувственность, которой поэт не чужд с юных лет, обесценивается для него вне брака и в последние годы жизни будет влечь его «к Спасителю, на вечный брак», становясь уже религией. Среди ранних стихов Новалиса выделяются также «Жалобы юноши», первое опубликованное стихотворение поэта. В стихотворении распознается мощное влияние Шиллера. Шиллер назван в стихотворении страстотерпцем в связи с тяжелой болезнью, которую он перенес в ту зиму, но величие его в страданиях как раз и привлекает юношу. В собственной жизни юноше не хватает... трагического, и он обращается к богине судьбы с мужественной мольбой:

Если хочешь ты внушить мне, Парка,
 Что заклятью пылкому дано
 В чайнье мгновенного подарка
 На твое влиять веретено,
 Осчастливить можешь миллионы,
 У меня отняв мой мнимый рай,
 Ниспошли мне скорбь, даруй препоны,
 Лишь духовной силы мне придай.

И в заключительных строках уже прорывается «тоска по смерти», которой будут завершаться «Гимны к Ночи»:

Но когда ответишь ты отказом,
 Пережить не в силах я стыда;
 Жизнь мою тогда прерви ты разом,
 Ибо жизнь моя — не жизнь тогда.

2

В октябре 1791 г. Новалис перебирается в Лейпциг, где продолжает свои научные занятия. Не оставляя юриспруденции, он посещает лекции по математике и по естественным наукам и, как всегда, высказывает по поводу каждой из этих дисциплин оригинальные суждения, в особенности что касается истории и фило-

софии. Поэзия отступает на второй план, хотя Новалис не перестает писать стихи. В это время завязывается его дружба с Фридрихом Шлегелем, первые известия о которой датированы январем 1792 г. Фридрих Шлегель был ровесником Новалиса (старше на два месяца), но уже тогда чувствовал себя человеком нового литературного направления, эстетику и философию которого он разрабатывал. Его опыты в стихах, в прозе и в философской эссеистике не утратили своего значения и блеска до нашего времени. Для Новалиса встреча с Фридрихом Шлегелем имела решающее значение. До этого творчество для Новалиса ограничивалось внутренней жизнью. Публикация одного стихотворения, в сущности, мало что изменила в этом смысле. Шлегель вовлек Новалиса в немецкую культуру того времени, открыв ему при этом «глубокие, пленительные тайны», что признает сам Новалис: «Для меня Ты был верховным жрецом Элевсина. Благодаря Тебе я постиг небо и ад, благодаря Тебе вкусил плод с древа познания». При всех скидках на романтическое книжничество, устанавливающееся в будущем кружке йенских романтиков, речь явно идет о посвящении в некие таинства, сопряженные с грехопадением, ибо Шлегель открывает Новалису не только небо, но и ад, давая ему отведать запретный плод. Гармоническая натура Новалиса была полной противоположностью Фридриху Шлегелю, постоянно раздираемому внутренними конфликтами и кризисами, тогда как Новалис говорит о своей «вере и доверии ко всему, что во мне и вокруг меня». В общении со Шлегелем Новалис ищет острых, трагических переживаний, отсутствием которых были вызваны «Жалобы юноши», а Шлегель пытается лечить свои душевные раны метафизической ясностью Новалиса, все время волнуя ее, смущая и тревожа. Семь лет спустя, в 1799 г., Шлегель напишет Новалису: «Вообще я чувствую, что меня неразрывно привязывают к Тебе две вещи — это религия и брак». Шлегель со свойственной ему пронищательностью очень точно обозначил интимные темы, которые Новалис привнес в ранний немецкий романтизм.

Нельзя не упомянуть еще одну встречу, которая произошла в мае 1795 г. В доме профессора Нитхаммера Новалис познакомился с Фридрихом Гёльдерлином. Встреча эта, к сожалению, не имела для них обоих тех последствий, которые могла бы иметь, ибо встретились натуры куда более родственные, чем, скажем, Новалис и Фридрих Шлегель. Философ Вильгельм Дильтей, тончайший исследователь немецкой культуры, справедливо писал, что Греция Гёльдерлина, выдержанная в духе новоплатонизма, была чрезвычайно родственна новалисовскому средневековью². Действительно, то и другое было «вечной стариной», говоря по-новалисовски. Гёльдерлин воспринял бы сочинение Новалиса «Христианство, или Европа» с большим сочувствием и пониманием, чем друзья-романтики, озадаченные христианским универсализмом поэта-мыслителя, а Новалис расслышал бы в «Патмосе» Гёльдерлина божественное безумие, согласно Платону, истинное начало поэзии, которое современники сочли безумием клиническим. Новалис познакомился одновременно с Гёльдерлином и с Фихте, чья философия успела для него стать соблазнительнейшим и тончайшим интеллектуальным искушением.

² Dilthey Wilhelm. Das Erlebnis und die Dichtung. Göttingen, 1965. S. 240.

Но за полгода до этого, 17 ноября 1794 г., в Грюнингене, в доме ротмистра Йоханна фон Рокентина, Новалис знакомится с его двенадцатилетней падчерицей Софи фон Кюн, и, как он сам впоследствии говорил, четверть часа определили всю его жизнь. Людвиг Тик сравнивал Новалиса с Данте, а Софи с Беатриче. Эта аналогия получила распространение в истории литературы. «Однако до сих пор не установлено, был ли знаком Новалис с Данте или все эти сопоставления лишь плод воображения литературоведов», — замечает И. Н. Голенищев-Кутузов³. И все-таки от сопоставления Новалиса с Данте трудно отказаться. При всей своей скептической иронии Генрих Гейне тоже пишет о романе «Генрих фон Офтердинген»: «Этот роман в своем нынешнем образе — лишь фрагмент большого аллегорического творения, которое, как “Божественная Комедия”, должно было прославить все земные и небесные вещи»⁴. На это можно возразить, что в творчестве и в мироощущении Новалиса принципиально отсутствует ад, без которого «Божественная Комедия» невозможна. В то же время комментаторы продолжают сопоставлять полноводную голубую реку, которая снится Генриху в конце шестой главы, и зеркальные воды, пугающие и завораживающие своим блеском в начале второй части, с Летой, текущей в Чистилище, согласно поэме Данте. У Новалиса с этой рекой тесно связана Матильда, в «Чистилище» Данте действует Матильда, чье имя исследователи истолковывают как анаграмму «ad Letam» («К Лете») ⁵. Конечно, речь может идти об архетипических или типологических совпадениях, идущих из внутреннего мира или из глубин поэтической традиции, но такие совпадения по-своему едва ли не более значительны и существенны, чем откровенные заимствования или цитаты.

Здесь дает себя знать и принципиальное расхождение в судьбах Данте и Новалиса. Если бы Данте вступил в брак с Беатриче или хотя бы обручился с ней, не было бы «Божественной Комедии» или вместо нее была бы совсем другая поэма. «О том, что Данте боготворил Беатриче, кажется, никто не спорит, а сцены, когда она посмеялась над ним и отвергла его любовь, описаны в “Новой жизни”», — читаем у Борхеса⁶. Быть может, Данте не мог простить Джемме Донати, своей жене и матери своих детей, что она не Беатриче, а быть может, если бы Беатриче стала женой Данте, она уподобилась бы Джемме Донати, которой Данте не посвятил ни одной строки. Так или иначе Данте, певец мистической любви, не был певцом брака, в отличие от Новалиса.

До нас дошло мало сведений о Софи фон Кюн (впрочем, как и о Биче Портинари). Говорят о ее необразованности, но что такое образованность или необразованность двенадцатилетней девочки? Разумеется, Софи не была вундеркиндом, в ней как будто не было ничего примечательного, и все-таки современники упоминают завораживающий взор ее темных глаз. Во всяком случае Софи производила впечатление не только на двадцатидвухлетнего Фридриха фон Харденберга. В судьбе заболевшей Софи принимает участие Гёте. Суровый отец Новалиса

³ Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971. С. 400.

⁴ Heines Werke in fünf Bänden. Berlin; Weimar, 1972. Bd. 4. S. 270.

⁵ См.: *Dante Alighieri. La Divina Commedia / Commento e postille critiche di Giuseppe Gialalone.* Roma: Purgatorio, 1979. P. 458.

⁶ Борхес Хорхе Луис. Сочинения: В 3 т. М.: Полярис, 1994. Т. 2. С. 423.

сначала противится этому браку, но Софи быстро завоевывает и его. Софи очаровывает своей естественностью, своей пробуждающейся женственностью. Новалис восхищается именно детское в ней: «Вечная дева не что иное, как *вечное, женственное* дитя... девушка, переставшая быть истинным *ребенком*, — больше не Дева». В поэзии Новалиса дитя — представитель (представительница) Золотого века или вечной старины. И самого себя Новалис нередко выводит в образе ребенка. В «Учениках в Саисе» учитель хочет уступить свое место ребенку. В сказке Клингсора главное действующее лицо и движущая сила — *малютка* Муза, «блаженное дитя», как ее называет король. В «Гимнах к Ночи» Спаситель прежде всего Младенец, потом Отрок. Ганс-Иоахим Мэль, виднейший исследователь Новалиса, отмечает, что мифический образ ребенка выступает в его творчестве, соединяя все мысли и чаянья поэта⁷. В этом смысле, вероятно, следует понимать высказывание Новалиса о Софи: «Она *ничем не хочет* быть — Она *есть* нечто».

Новалиса захватила праздничная атмосфера, царившая в Грюнингене, в доме, где росла Софи фон Кюн. Эта атмосфера неподдельного веселья отличалась не только от угрюмых нравов отчего дома, но и от чопорного эпикурейства, культивируемого в доме комтура фон Харденберга. Едва ли не с большим основанием можно утверждать, что размышления Генриха в шестой главе романа навеяны празднествами в Грюнингене: «Я пережил торжество, впервые пережил, однажды пережил». Наверное, среди этого торжества случились четверть часа, решившие судьбу всей его жизни. Но грюнингенские празднества оказались небезоблачными. Новалис успевает пережить отрезвление. Его удручают маленькие ссоры, приступы ревности, которой не чужда ангелическая Софи. Года не прошло, как Новалис начинает подумывать даже о расторжении помолвки, что проскальзывает в письме к любимому брату Эразму от 17 ноября 1795 г. Новалису всегда было свойственно то, что Гёльдерлин без ведома Новалиса назовет священной трезвостью, впрочем, в отношении с юной невестой могла закрадываться и просто житейская трезвость, даже расчет. Но первоначальное чувство вернулось, когда Софи заболела. Тяжелая легочная болезнь подкосила ее. В июле 1796 г. в Йене, где с ней познакомился Гёте, ей сделали операцию. Но хирургическое вмешательство не помогло. Все в том же когда-то праздничном Грюнингене 19 марта 1797 г. Софи умерла.

В романтической новелле смерть возлюбленной всегда является кульминацией действия. Так было и в жизни Новалиса. Неизвестно, решили бы те четверть часа судьбу его жизни, если бы не эта смерть. Она превратила всю оставшуюся жизнь и творчество Новалиса в рыцарское служение, о чем знали только самые близкие друзья, о чем вряд ли подозревали расположенные к нему сослуживцы и начальники (не забудем, что профессиональная деятельность Новалиса не прерывалась чуть ли не до самой смерти), но тайное решение, принятое после смерти Софи, оказалось тем более твердым и непререкаемым, оно определило его дальнейшую жизнь и, возможно, предопределило его смерть, что, по крайней мере, отчасти подтверждается медиками.

⁷ См.: *Mühl Hans-Joachim*. Die Idee des goldenen Zeitalters im Werk des Novalis. Heidelberg, 1965. S. 368.

В 1797 г. после похорон Софи Новалис записывает в своем дневнике: «У могилы мне пришла в голову мысль, что моею смертью я явлю человечеству пример верности до смерти. Я как бы сделаю возможной такую любовь». И впоследствии искренне увлеченный своей службой, литературными планами, новой помолвкой Новалис не отказывается от этой мысли, втайне оберегает ее, «как сокровище на будущее». В жизни Новалиса складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, трагическое по-прежнему чуждо ему, и гармоническая натура берет свое, отвергая малейший намек на пессимизм и отчаянье. С другой стороны, как категорически утверждает Шлейермахер, сама судьба Новалиса, сама личность его отмечена трагизмом: «Он посвятил себя смерти». Но это трагизм с точки зрения Шлейермахера, а не с точки зрения Новалиса. В 1799 г. Гёльдерлин писал: «Так Эмпедокл должен был стать жертвой своего времени; проблемы судьбы, в которой он вырос, должны были в нем разрешиться мнимым образом, и это разрешение должно было явить себя как мнимое, временное, что более или менее происходит со всеми трагическими личностями»⁸ (пер. мой. — В. М.). Сам Новалис не считал, во всяком случае, найденное им решение мнимым. Можно возразить, что этим лишь усугубляется его трагизм, но и на это напрашивается возражение: остается открытым вопрос, мнимое ли разрешение своей проблемы нашел Новалис и не было ли у него оснований считать свое решение вечным. Таким основанием является его творчество. То, что другие сочли самопожертвованием, для самого Новалиса и для его читателя остается жизнеутверждением. Кажется, судьба откликнулась на его мольбу в «Жалобах юноши»: «Ниспошли мне скорбь...» Сама скорбь оборачивается для Новалиса жизнеутверждением, и невозможно установить, происходит это в жизни или в поэзии: и в жизни, и в поэзии, и в мироощущении. Через три месяца после смерти Софи Новалис пережил нечто на ее могиле, и 29 июня 1797 г. в его дневнике появилась запись, ставшая заклинанием или мистическим девизом всей его жизни: «Христос и София». Этому переживанию посвящен четвертый гимн к Ночи, прагимн, из которого вырастают все остальные гимны. Еще при жизни Софи 8 июля 1796 г. Новалис пишет Фридриху Шлегелю: «Моя любимая наука зовется в своей основе как моя невеста. Софией зовется она — Философия, душа моей жизни и ключ к моему собственнейшему существу». После смерти Софи Новалис постигает, что имя его возлюбленной — имя самой Премудрости Божией: София, а София неразлучна с воскресшим Христом. В четвертой духовной песне Новалис засвидетельствует это тайное, что не может не стать явным:

На вопрос я не отвечу,
Кто шагнул ко мне навстречу,
Кто кого ко мне ведет.

Правда, в этом ликующем вопросе крылась для него самая некая соблазнительная тайна или колебание: Христос ли ведет к нему Софию или София ведет Христа. Ликование от этого не убывало, но вопрос не был просто риториче-

⁸ Hölderlin. Ein Lesebuch für unsere Zeit. Weimar, 1956. S. 296.

ским, и Новалис готов был с восторгом принять смерть, предвкушая в ней «всех загадок разрешение», как впоследствии напишет Е. А. Боратынский.

Деятельная натура Новалиса не мирится с простым пассивным ожиданием смерти, и он уходит в жизнь буквально с головой, соединяя практические устремления с научно-интеллектуальными, как он один умеет делать, обнаруживая в себе фаустовскую натуру, не нуждающуюся в договоре с дьяволом. Интересно, что после смерти Софи естественно-научные интересы берут в нем верх над поэтическими исканиями. Биография Новалиса в этот период дает повод для близирующей иронии над тем, как, посвятив себя смерти, он окончательно выбирает для себя служебно-профессиональную карьеру. Осенью 1797 г. Новалис поступает в Горную академию во Фрайберге (Саксония), где становится прилежным учеником Абрахама Готлоба Вернера, чье имя будет увековечено в романе «Генрих фон Офтердинген». Вернер называл себя геогностом, исследующим внутреннее строение Земли как тела и описывающим различия между простыми минералами. Новалис явно вкладывает в его уроки свой магический смысл. В магических экспериментах Новалис не одинок среди своих современников. К нему вполне относится то, что А. Л. Доброхотов пишет об Эмануэле Сведенборге, умершем за месяц до рождения Новалиса: «Странная двойственность просветительского рационализма, совмещавшая любовь “к ясности и отчетливости” с тягой к оккультным явлениям и “животному магнетизму”, соединявшая рассудочное государственное строительство с расцветом бесчисленных масонских организаций, может быть, объясняется именно попыткой уравновесить механизизм вытесненным в культурное подполье метафизическим инстинктом. Пожалуй, фигура-архетип в этом процессе – Лейбниц. Именно он первым соединил рационалистический метод и замысел универсального символического языка науки с идеей индивидуальных “живых сил” как непрерывно развивающихся субстанций бытия, и он же продемонстрировал неистощимую изобретательность в практическом применении этих идей. Ломоносов, Сведенборг, Бошкович и целая плеяда “младших богов” будут повторять этот синтез, расцветивая его своими красками»⁹. В «плеяде младших богов» Новалис, несомненно, занимает одно из первых мест, и его краски если не самые яркие, то наиболее неизгладимые.

Что касается бесчисленных масонских лож, то у Новалиса в очерке «Христианство, или Европа» упомянута миротворительная ложа, куда приглашаются филантропы и энциклопедисты, чтобы с юношеской любовью взглянуть «на великолепные чудеса природы, истории, человечности». Известно также, что Новалис читает розенкрейцеровскую литературу как раз во Фрайберге; и в его естественно-научных штудиях присутствует мистический пафос, в котором угадывается не только приятие, но и преодоление смерти; некоторые фрагменты Новалиса могли бы быть подхвачены Н. Ф. Федоровым, сто лет спустя рассматривавшим воскрешение мертвых как научно-техническую задачу.

Но Н. Ф. Федоров отвергает смерть, опровергает ее, Новалис же приемлет смерть как высшую форму жизни, уклоняясь от слова «бессмертие». Самую

⁹ Цит. по: *Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде, как слышал и видел Э. Сведенборг.* М., 1993. С. 531.

скорбь Новалис превращает в источник жизнеутверждения. Во фрагментах прослеживается своеобразная череда духовных опытов: возлюбленная умерла, и я умер вместе с нею; возлюбленная достигла высшей жизни, а я все еще мертв; смерть окончательно соединила возлюбленную со мной, ибо она во мне, а я — вечно живая вселенная. Новалисом владеет магическая формула: София — Философия. В этой формуле он ищет корень себя самого, как он писал Шлегелю. В сущности, так было и при ее жизни, когда ей отводилась функция пробуждать в нем философские прозрения, что могло сочетаться и с некоторым безразличием к ней при всех экстазах влюбленности. За философскими прозрениями кроется подозрение: не пала ли Софи жертвой этого экстатического безразличия? Но если Новалис и чувствовал свою вину, что не исклужено, вина преломлялась для него опять-таки вне трагического, принимая форму все той же философии, к чему обязывает верность Софии. Отсюда преобладание философии в занятиях Новалиса в этот период. И в смерти Софи, как в ее жизни, Новалис продолжает искать ключ к своему собственнейшему (в превосходной степени) существу, так сказать, к самому самому себе, а в этих поисках ему способствуют философ Гемстергейс и, в особенности, Фихте, с которым Новалис лично знаком, а это для него немаловажно.

Фихте был старше Новалиса ровно на десять лет. В своей философии он исходил из элементарного принципа: «Я есть Я». Отсюда Фихте выводил три постулата. Во-первых, Я первоначально полагает само себя, как тождество. Таково самополагание абсолютного субъекта. Во-вторых, Я противопоставляет себе не-Я. Это принцип ограничения и отрицания, в котором Я нуждается, чтобы действовать, хотя никакого не-Я без Я не было бы. И наконец, в-третьих, Я полагает в самом себе делимое Я, противопоставляя его делимому не-Я, образуя мир субъекта-объекта с его качествами и различиями, лишь полагаемыми все тем же Я. При этом Фихте противопоставляет декартовскому «мыслью — значит, есмь» свое «я есмь, ибо я действую». Все эти постулаты и операции у Фихте чисто интеллектуальные, спекулятивные; Новалис переносит их в собственную жизнь, придает им экзистенциальную насыщенность. Отсюда интерес к Новалису экзистенциалистов, прежде всего Мартина Хайдеггера. Фихте был бы весьма озадачен, узнав, что действие для Новалиса — преимущественно магическое действие, искусство превращает непроизвольное в произвольное, так что сам человек превращается в совершенное орудие самого. Ключом к собственной жизни, ключом к самому себе отмыкается, вернее образуется, мир духов, реализация идеи. Воскрешение того или иного существа в таком мире вполне возможно, стоит только распознать, обрести в этом существе себя самого. Мир обладает свойством оживляться мною, что и есть магия. «Физический маг умеет оживлять природу и располагать ею произвольно, как собственным телом», — записывает Новалис. Магия — это умение превращать вещи в мысли, а мысли в вещи. Такое мироощущение Новалис называет магическим идеализмом. Такое состояние достигается постепенным усилением внутренних возбудителей, что Фрейд назвал бы сублимацией. Но для Новалиса из этой сублимации возникает само бытие. Магический идеализм — философия, производящая всё. После смерти Софи Новалис ставит на себе весьма рискованные эксперименты с внутренни-

ми возбудителями, что явствует из его дневника. Он то умерщвляет свою чувственность, то разжигает ее, а, по существу, одновременно умерщвляет и разжигает. Возможно, этими экспериментами и была предопределена ранняя смерть Новалиса.

Магический идеализм неблагоприятен для поэзии, так как у него лишь два полюса: интеллектуальное и чувственное возбуждение, а поэтическое творчество не любит раздвоения. Вот почему в этот период Новалис сосредоточивается на философских спекуляциях (умозрениях) и сам становится сплошной спекуляцией, как он напишет Людвигу Тикку в письме от 23 февраля 1800 г. Но и в свои спекуляции Новалис вносит свойственный ему артистизм, отчасти напоминающий этим Платона. Мысль Новалиса диалогична, она всегда намекает на свое опровержение или уже включает его в себя. Художественный очерк идеи Новалис предпочитает вопросу, истинна она или нет, что прежде всего занимает философа, и потому фрагменты Новалиса нередко откровеннее, достовернее философских концепций. Новалис носится в это время с идеей подлинной энциклопедистики, вспоминая универсализирующие тенденции Лейбница. И впоследствии Новалис не отбросит магического идеализма, как он не отбрасывает ничего в своих неустанных исканиях, но дистанцируется от философских спекуляций, осваивая их поэтически.

Поэзия вернется в жизнь Новалиса при встрече с Людвигом Тиком, и Новалис будет благодарен ему за это до самой смерти, которая, правда, последовала слишком скоро. Новалис сближается с Тиком летом 1799 г. При всех своих притязаниях на художественное творчество Фридрих Шлегель оставался теоретиком, а Тик и Новалис были поэтами, на чем и основывалась их тесная дружба. Тик познакомил Новалиса с философско-поэтическим творчеством Якоба Бёме, чем произвел целительный переворот во внутреннем мире своего друга, упрочив свое влияние на него, хотя Новалис был на год старше. У Якоба Бёме Новалис нашел другой, более подходящий ключ к самому себе. У Якоба Бёме человек — подобие вселенной, но человек не присваивает ее себе, не растворяет ее в предметном тождестве субъекта. В известном смысле Якоб Бёме — антипод Фихте, так как «Я» для него не есть абсолют, а противопоставление субъекта и объекта вообще ему чуждо, так как субъект и объект то ли превращаются друг в друга, то ли друг друга замещают. Новалиса восхищает в Якобе Бёме «могучая весна», архаическая почвенность крестьянина-философа, ставшего сапожником в Гёрлице. Якоб Бёме (1575—1624) приравнивает Творение к порождению в Божьей глубине. Его поэтическая философия сводится к фантастической, как сказали бы лингвисты, но тем более впечатляющей этимологии: *Quelle — Qual — Qualität* (источник — мука — качество). Для Якоба Бёме качество — не просто атрибут, не схоластическая акциденция, а мучительное внутреннее выражение самой вещи, взрывчатое существо, бьющее ключом. Бытие создается семью духами-родниками, уподобляемыми Ангелам семи церквей из Апокалипсиса. Все семь духов рождаются друг в друге и друг друга порождают, нельзя сказать, где первый, где последний; последний родит первого, первый родит последнего, каждый родит всех остальных. Присутствует в мире и Дева София, покинувшая Адама, когда в нем восторжествовало вождение этого мира, но по-преж-

нему стремящаяся воссоединиться с человеком, чью душу она называет своим женихом, что не могло не восхитить Новалиса, узнающего в Деве Софии свою Софию.

В 1799 г. Новалис переживает удивительный творческий подъем, одновременно работая над всеми произведениями, которыми определяется его поэтическое творчество. В том году пишется роман «Генрих фон Офтердинген», «Гимны к Ночи», «Духовные песни». Вместе с тем продолжается и служебная деятельность Новалиса, окончательно выбравшего для себя профессию горного инженера и достигшего внушительных успехов на этом поприще. В отличие от многих романтиков последующего поколения, Новалис не испытывает отвращения к профессиональной деятельности, предаваясь ей с не меньшим пылом и усердием, чем своему творчеству. С профессиональной деятельностью Новалиса связана неожиданная, многих шокировавшая перемена в его личной жизни. В декабре 1798 г. Новалис обручается с Юлией (Жюли) фон Шарпантье, дочерью своего учителя и начальника.

Трудно усмотреть легкомыслие как в первой, так и во второй помолвке Новалиса. Брак для него по-прежнему — центральная проблема творчества, предпосылка вселенского бытия. Но вторая помолвка, как и первая, не лишена загадочности. Новалис продолжает настаивать на том, что он верен Софии, что она остается его музой. Его высказываниям, правда, свойственна при этом некая мистическая двусмысленность. Вряд ли возможно установить, идет ли при этом речь о Софи фон Кюн или о Софии Премудрости, в чем кое-кто усмотрит почти кощунство. В романе голос умершей возлюбленной возвещает Генриху, что явится бедная дева и утешит его. С другой невестой является в жизни Новалиса другая загадка, еще более сложная и настораживающая. Он мечтает о счастливом супружестве, строит планы семейной жизни и в то же время готовится к смерти. 20 января 1799 г. он пишет Фридриху Шлегелю, сообщив о своей новой помолвке: «Кажется, меня ждет очень интересная жизнь, но, говоря искренне, лучше бы я был мертв». И это желание сбывается через два с небольшим года. Новалис потрясен известием о том, что 28 октября 1800 г. случайно утонул в реке Заале его младший брат Бернхардт. От этого у Новалиса начинается горловое кровотечение, и болезнь уже не ослабевает. 25 марта 1801 г. Новалис умирает, в то время как его брат Карл играл ему на клавире. «Так почил Якоб Бёме, уловив отдаленную музыку, которой не слышал никто, кроме него», — сказано в «Ночных бдениях» Бонавентуры. А один из начальников Фридриха фон Харденберга по Горному ведомству воскликнул: «О, вы не знаете, кого мы в его лице потеряли».

3

Одно событие является в жизни Новалиса средоточием или центром. Это событие — смерть возлюбленной. Нет ничего удивительного в том, что Новалис начинает предчувствовать его с юных лет, если не с детства. Такое же событие произошло в жизни его отца, чья первая любимая жена умерла совсем юной, и барон фон Харденберг сделал из этой смерти жесткий вывод, распространив его

также на жизнь своих детей. Во всяком случае, Новалис принял этот вывод и превратил его в творческий стимул для себя. Уже в раннем стихотворении «К липе» меланхолия не только литературного происхождения, когда юный поэт пишет:

Говорю в печали:
Милая больна,
И теперь едва ли
Выживет она.

Поэт предчувствует смерть возлюбленной до того, как возлюбленная явилась; когда смерть ее действительно наступает, он обретает в этой смерти истинную жизнь для своей возлюбленной и для себя. Таково соотношение между Чаением и Обретением в творчестве Новалиса. Так соответственно озаглавлены первая и вторая, едва начатая часть его романа «Генрих фон Офтердинген». Не следует чересчур далеко заводить предположение, будто Генрих, увидев Матильду, уже чает ее смерти, но в первую же ночь после их встречи ему снится, как пучина поглотила ее и он снова обнимает ее лишь тогда, когда над ними обоими тихое течение голубой реки. Одно и то же событие повторяется в творчестве Новалиса на разных уровнях, обнаруживая все новые и новые смыслы, так что выстраивается лестница подобий, о которой Амур (Амор) говорит в канцоне Петrarки:

Мой высший дар, ценнейший, несомненно:
Подняться наделенному крылами
Над бранными телами
По лестнице подобий безвозвратно
К Создателю, почтив его хвалами;
Своей надежде следуя смиренно,
Он может постепенно
Достичь Первопричины благодатной,
О чем в стихах вещал неоднократно.

(Пер. В. Мухоморова)

Так жизнь старого Офтердингена повторяется в жизни его сына, достигшего высот, которых отец не достиг, хотя мог достигнуть. Правда, жена старого Офтердингена, мать Генриха, не умирает, но умирает мать Матильды, любимая жена Клингсора, и, по свидетельству его дочери, после смерти матери не прошло ни одного дня, чтобы отец не плакал о ней, а в сказке Клингсора в жертву принесена как раз мать Эроса, в котором угадывается Генрих. Умирает Мария, супруга графа фон Гогенцоллерна, а он тоже отец Генриха, и, следовательно, Мария — его мать, и по поводу этой супружеской четы Генриху загадывается еще одна, быть может, величайшая загадка его жизни: «У тебя не один отец, как не одна мать».

Но и эта загадка загадана в голубом воздухе, вблизи голубых волн, которые обволакивают в романе все происходящее. Не будет преувеличением сказать, что настоящим героем романа является не Генрих фон Офтердинген, а Голубой Цветок, и самое имя «Новалис» означает новину, на которой произрос этот цве-

ток. Для тех, кто читал роман и кто не читал его, Новалис — певец Голубого Цветка, оказывающего таинственные воздействия и на тех, кто не замечает этих воздействий. В 1791 г. Гёте пишет исследование «О голубизне» (или «О синеве», по-немецки это одно и то же слово «blau»). В 1810 г. Гёте издает «Теорию цвета», где называет голубизну «преlestным Ничто», а в финале «Фауста», завершеного через тридцать лет после смерти Новалиса, Высшая Властительница Мира хранит свою тайну в *галубам* небесном шатре. В голубом шатре обитает Вечная Женственность, воспетая в предпоследней строке «Фауста». Вряд ли есть основания говорить о прямом влиянии Новалиса на Гёте, который, правда, был с ним знаком. Очевидно, произошли некоторые изменения в духовной атмосфере эпохи, если Гёте воспел Вечную Женственность в духе Новалиса. А в 1907 г. Морис Метерлинка выпустил в свет свою сценическую сказку «L'oiseau bleu». На русский язык это название перевели как «Синяя птица» (во французском языке тоже отсутствует различие между «синим» и «голубым»), хотя в оригинале птица явно голубая, и происходит она от голубого цветка (Метерлинка увлекался творчеством Новалиса и писал о нем). Характерно, что последняя книга Метерлинки, книга его мемуаров называлась «Голубые пузыри» («Bulles Bleues»).

Отцу Генриха тоже снится цветок, «которому другие цветы вроде бы кланялись», но он не может вспомнить, не голубой ли то был цветок, первое и, может быть, самое существенное, сущностное отличие отца от сына. Отец упустил свое призвание, а сын открыл его, восприняв голубизну цветка. Голубизна приобретает магическое значение, напоминая цветок и упоминаясь отдельно от него. Любопытно, что в стихах из романа голубой цветок не выступает никогда, только в «Бракосочетании времен года» из недописанной второй части упоминается небесный цветок, но это подчеркнутая цитата из прозы романа: «Как он впервые тогда о цветке небесном услышал...» Глубинная композиция романа, его подводное течение образуется вариациями голубизны, требующими особого исследования.

Тон всего романа, его эзотерическая проблематика заданы внутренним монологом Генриха, предвещающим его сон: «Нет, не клады пробудили во мне несказанное влечение, — говорил себе юноша. — Я далек от корысти: по голубому цветку я тоскую, увидеть бы мне только голубой цветок». В этих строках примечательно противопоставление голубого цветка кладам. Подобное противопоставление сохраняется в «Духовных песнях»:

Я не стремлюсь к другому кладу,
Назвав сокровище своим...
(Песнь XI)

Во сне Генрих сначала видит пещеру: «Стены пещеры были увлажнены теми же брызгами, скорее студеными, чем жгучими, так что по стенам струился голубоватый отсвет». Во сне голубой цвет играет разными оттенками: «Темно-голубые утесы с разноцветными прожилками высились неподалеку; день, царивший вокруг, был светлее обычного дня, но свет был менее резким; ни облачка на черно-голубом небосводе. Ничто, однако, не влекло его с такой силой, как высокий светло-голубой цветок с большими сверкающими листьями, окружен-

ными родником». Голубоватый отсвет переходит в темно-голубой цвет утесов, даже в черно-голубой небосвод, но эти темные и черные оттенки не несут с собой ничего зловещего: это цвет «Гимнов к Ночи», вот почему черно-голубой цвет с такой гармонической легкостью переходит в светло-голубой: «И цветок стал клониться к юноше, и над лепестками, как над голубым воротничком, возникли нежные черты». Это почти дословно совпадает с «Гимнами к Ночи»: «...в испуге блаженном вижу, как склоняется ко мне благоговейно и нежно задумчивый лик, и в бесконечном сплетенье прядей угадываются ненаглядные юные черты матери». И в романе сон Генриха прерывает голос матери. Примечателен также родник, над которым растет голубой цветок. Родник — любимое слово Якоба Бёме. Значит, голубой цветок — детище духа-родника.

Во второй главе, выезжая из родного города, Генрих наяву погружается в голубизну того же потока, в котором во сне, казалось, были растворены девичьи прелести. С помощью голубизны Новалис живописует с непревзойденной достоверностью переходы от снов к яви. До пятой главы голубизна — цвет желанного, вожделенного. В третьей главе принцесса любит бесшумной пляской легкого голубого пламени у незатейливого очага в доме своего будущего возлюбленного: «Ясным голубым утром ознаменовалось их пробуждение в новом блаженном мире». В четвертой главе Генриху зарницей является цветок его сердца перед появлением восточной пленницы (из набросков ко второй части романа мы узнаем, что она тоже Голубой Цветок). После пятой главы функция голубизны меняется. В шестой главе Генриху снова снится голубой поток, в котором Генрих обретает Матильду, но поток окрашен цветом смерти. Очарованный дворец Арктура в сказке окунается в млечную голубизну. Тканью небесной голубизны прислужницы окутывают принцессу Фрейю. (Во второй части романа она, по-видимому, должна была носить имя «Эдда» и тоже оказывалась Голубым Цветком.) София кропит из чаши дитя, кормилицу и колыбель, «и в голубой дымке виднелись тысячи диковинок, неотвязных во всех своих превращениях». Если Эрос — Генрих, то ему при этом видится Голубой Цветок. В подобную же голубую дымку облачается Эрос в своем странствии с Джиннистан, когда об Эросе говорится в женском роде и он, возможно, меняет пол:

Любовь идет ночным путем,
И светит Месяц ей;
В убранстве праздничном своем
Открылся мир теней.

Облачена в голубизну
С каймою золотой
Спешила в дальнюю страну
С причудницей мечтой.

В сокровищнице Месяца даль облачается переменчивой голубизною, напоминающая даль во второй главе, хотя, по существу, это голубизна той же полноводной голубой реки, в которой тонет Матильда, как снится Генриху после первой встречи с нею. В театре Месяца зловещую нежить спутывают млечно-голубые воды, распростираясь повсюду; блистая на нежных волнах, плавают чудо-цветок, и о

нем не сказано, что он голубой, хотя это не значит, что цветок перестает быть голубым, просто голубизна участвует в романе и без цветка — особая стихия, напоминающая голубизну цветка. Отдельная от цветка голубизна сопутствует жертвоприношению в сказке, когда на костре сгорает мать. Эту голубизну созерцает малютка Муза: «Скорбно посмотрела она в небо и приободрилась, распознав голубое покрывало Софии, колыхавшееся над землею, чтобы вовеки никто не видел ужасной могилы». С одной стороны, здесь раскрыта существенная тайна голубизны, распространяющаяся и на Голубой Цветок: покрывало Софии голубое. Вспоминаются стихи Вячеслава Иванова:

Твоя ль голубая завеса,
Жена, чье дыханье — Отрада...

Но у Новалиса в такой голубизне распознается что-то зловещее, катастрофическое, быть может, вопреки его намерениям.

Голубизну нельзя причислить к лейтмотивам романа. Лейтмотив — это предметное или словесно-предметное единство, реализующее свою художественно-эстетическую многозначность в неоднократных повторах. Функция голубизны не исчерпывается многозначностью. Голубизна активнее лейтмотива, она в романе действующее лицо наравне с героями романа; до известной степени она доминирует над ними. Голубой Цветок — нечто большее, чем завязка романа. Весь роман сводится к разгадке голубизны. «Всё голубое в моей книге», — писал Новалис.

Мы сказали, что в первом внутреннем монологе Генриха Голубой Цветок противопоставлен кладам, но в то же время Голубой Цветок неразлучен с ними, означает их. В тюрингских поверьях это цветок Ивановой ночи, указывающий клады, и вполне возможно, что его происхождение в романе именно таково. Отцу Генриха провожатый во сне говорит именно о голубом цветке Ивановой ночи. Вопрос в том, о каких кладах рассказывал Генриху странник, но под кладами так или иначе подразумевается золото, и оно присутствует в романе, сопутствует голубизне. Его присутствие не так неотвязно, но ничуть не менее весомо. Сначала в романе золото заявляет о себе преимущественно своим цветом. В первом сне Генриха «свет отливал пламенеющим золотом». Голубизна с каймой золотой облакает Эроса, поменявшего пол или наименование. Но золотое с голубым в романе все-таки не гармонирует; Голубой Цветок предостерегает от кладов, о которых свидетельствует.

У горняка в пятой главе романа свой голубой цветок: «Глядя, как она льнула ко мне, как я сам был рад полюбезничать с нею и все не мог оторваться от ее глаз, голубых и глубоких как небо, блестящих словно хрусталь, старик нередко говаривал мне: станешь, мол, заправским горняком — отдам ее тебе, не откажу; и он своего слова не нарушил». Горняк обретает свой голубой цветок, и герцог жалует его золотой цепью, а горняк украшает этой цепью шейку своей невесты, но и горняк на свой лад повторяет слова Генриха: «Я далек от корысти», «Горняк рождается бедняком, — говорит он, — и бедняком покидает этот мир. Ему довольно знать, где государство каждого металла и как добыть этот металл; чистого сердца не прельстит ослепительный блеск сокровищ». Сокровищам

здесь противопоставляется нечто иное, своего рода голубой цветок: «Но как хорош цветок, расцветающий для горняка в жутких недрах...» Тем выше горняк ценит свое знание, а знает он, где государство каждого металла. Где государство, там государь, и горняк видел, «как сам король металлов залегает нежными блестками в трещинах породы». К этому королю у горняка сложное отношение. Чтобы добыть его, надо пренебрегать им вплоть до намерения свергнуть его власть. Это намерение отчетливо высказано во второй песне горняка:

Пускай стена была крепка,
Наперекор любым глубинам,
Повсюду сердце и рука
Охотятся за властелином.
На свет выводят короля,
Как духи, духов изгоняют,
Себе потоки подчиняют,
Оттуда вытекать веля.

Все чаще выходя на свет,
Король бесчинствовал немало,
Но прежней власти нет как нет,
Зато свободных больше стало.

На свет выводят короля не только горняки, и даже преимущественно не они. Как духи, духов изгоняют алхимики. Отсюда явствует, что король металлов, а может быть, и всего остального — золото. В пятой главе происходит сближение и одновременно размежевание Золота и Голубого Цветка, идеала и символа.

Чтобы вникнуть в эту загадку, нужно вернуться к произведению, которое предшествовало «Генриху фон Офтердингену», но, как и этот роман, осталось неоконченным. В «Учениках в Саисе» возлюбленная не умирает, но и там уже появляется родина, окутанная голубыми, недоступными тенями и «неспешный возврат золотой старины». «Ученики в Саисе» всецело вписываются в период магического идеализма, дух Фихте очень силен в них: «Человек чувствует свою власть над миром, его могущественное Я превыше зияющей пустоты...» Дать магическому идеализму — колебание между множественным и единственным числом в названии: «Ученики...» или «Ученик в Саисе», то самое могущественное Я, которому не у кого учиться, кроме как у себя самого.

К жертвоприношению возлюбленной имеет прямое отношение сказка, рассказанная беспечным другом ученику. Роза-цветик — не голубой цветок, но тоже цветик, и ею готов пожертвовать ее возлюбленный Гиацинт, взыскующий сокровенной девы. Здесь-то сказывается колебание, доходящее до губельного раздвоения. В сказке Гиацинт, как Генрих, видит вещий сон: «Небесная дева предстала ему, он откинул сверкающее невесомое покрывало, и Роза-цветик поникла к нему на руки». Но сказке предшествовало двустигшие:

Поднял из всех лишь один покрывало богини в Саисе.
Что же узрел он? Узрел — чудо! — Себя Самого.

Комментаторы пытаются доказать, что двустишие не противоречит окончательному варианту, и герой видит самого себя, включая возлюбленную как свое высшее «я», а без возлюбленной он бы самого себя не увидел, но это никак не явствует из двустишия, согласно которому видит он даже не богиню, а самого себя. Чтобы выкинуть в эту проблему, приходится обратиться к другому стихотворению Новалиса. Стихотворение даже по форме родственно двустишию, предваряющему «Учеников в Саисе», так как все оно написано такими же двустишиями, и дистих вполне органично мог бы в него вписаться. Это стихотворение носит знаменательное название «Познай себя!», восходящее к надписи над входом в храм Аполлона в Дельфах (Дельфы упоминаются и в самом стихотворении), но сам принцип самопознания интерпретируется не в общепринятом, просветительском смысле, а в духе эзотерической алхимии: «Лишь одного человек искал веками повсюду». Это «одно» — никак не возлюбленная. Человек «тщетно давал имена сокровенному в тайне глубокой». Лишь в дружелюбных мифах некто возвещает человеку, «где к сокровищу путь, где к заповедному ключ». Этот некто в романе — странник, и юноша Генрих вспоминает, что странник поведал, и Генриху снится вещий сон, совпадающий с дружелюбным мифом. Еще до этого Новалис пишет, что «к заповедному ключ» или ключ к самому себе ему дарован именем невесты: София. Но в стихотворении «Познай себя!» любовь отсутствует, остается лишь ключ к самому себе, где таится философский камень, а его обретает лишь тот, кто познает самого себя, видит самого себя вместо богини под покрывалом богини, как будто богиня тоже он сам. Следующее поколение романтиков предположило бы, что он увидел своего двойника, но у Новалиса он сам есть он сам, Я есть Я, как у Фихте, высшая форма магического идеализма. Ученик видит под покрывалом самого себя, потому что в мире больше нечего видеть, так как больше никого и ничего нет. Его мысль делается вещью, даже если эта вещь — возлюбленная, и она снова делается мыслью. Знание самого себя в самом же себе и есть философский камень, превращающий все в золото, но золото не превращается больше ни во что. Вот сокровище, о котором поведал странник, упомянув при этом и Голубой Цветок, но Золото — это всеединство, кроме которого ничего нет и быть не может. Иными словами, *Золото есть идеал*, а идеалы, по мысли Новалиса, должны сравниваться один с другим, из чего следует, что не бывает другого идеала, идеал всех предметов один и тот же — постулат, засвидетельствованный Новалисом с математической точностью. Новалис не мог при этом не учитывать «Писем об эстетическом воспитании» Шиллера, где с такой же математической точностью сказано, что идеал порождается союзом возможного с необходимым, а если необходимое сочетается с возможным, не остается ничего, кроме этого сочетания, которому обречено подчиниться многообразию¹⁰. Эта власть идеала над многообразием — для Новалиса власть короля Золота над миром. Таково Золото в древнегерманских сказаниях, где с ним связано не столько богатство, сколько власть. Золото нибелунгов грозит гибелью героям, богам и всему миру. Пожалуй, Новалис первым истолковал с помощью алхимии родовое наследие древнегерманских сказаний

¹⁰ См.: Schiller. Über Kunst und Wirklichkeit. Leipzig: Verlag Philipp Reclam Jun [o. Z.]. S. 293, 299.

и угадал в золоте сокрушительное всеединство бытия-небытия, брезжащее в причудливой эсхатологии его сказки в романе. В позднейшие времена угроза, исходящая от идеального золота, будет пониматься как проклятие, наложенное на клады и месторождения. Во второй части романа Генрих — *золотой* овен, которому Матильда или Эдда возвращает человеческий облик, принося его в жертву. В древнегерманских сказаниях Эдда — Праматерь или Поэзия, Песнь, что особенно существенно для Новалиса. Эдда сочетает и подытоживает остальные женские образы романа: уроженку Востока, Матильду, Фрейю, девушку-пастушку. В набросках к роману Новалис пишет о разделении единой индивидуальности на несколько лиц. Очевидно, во второй части эти несколько лиц должны были снова образовать единую индивидуальность, чье окончательное имя — древнегерманское «Эдда», «триединая девушка», как написано в набросках.

«Эдда, собственно, и есть Голубой Цветок», — намекает в набросках Новалис на разгадку одной из таинственнейших загадок романа. В самом начале первой главы Генрих предпочитает сокровищам, то есть золоту или всеединству идеала, нечто иное, но если нечто иное сопряжено со всеединством или таится в нем, само всеединство могло бы быть иным. «Цветок — символ тайны нашего духа», — пишет Новалис во фрагментах. Так возникает слово «символ», решающее в своем противостоянии сокровищам всеединства. В чертогах Месяца среди лепестков чудо-цветка почил юная красавица, обняв навеки своего возлюбленного, который клонился к ней: это был сам Эрос. Так Эрос видит в цветке себя самого, но он видит и свою возлюбленную, а она видит его, что разительно отличается от «чуда», запечатленного двуступищем. Но и в окончательной версии сказки Гиацинт видит под покрывалом богини в Саисе не себя самого, а свою возлюбленную Розу, если не чудо-цветок, то все же цветик и, следовательно, «символ тайны нашего духа». Голубой Цветок — символ единения, а не всеединства. Голубой Цветок возвещает многообразие. В одном из диалогов Новалиса говорится: «Как мой дух должен превратиться в сотни и в миллионы духов, так моя жена должна обратиться во столько женщин, сколько их ни есть». Это сущностная вариация творческого принципа, превращающего одну индивидуальность в несколько. Возможно, поэтому Новалис не ощущал свою новую помолвку как измену умершей невесте. Символом в творчестве, а следовательно, и в жизни Новалиса представлена целостность, не совпадающая со всеединством. Если во всеединстве идеалы уравниваются, сводясь в конце концов к одному, целостность — это единство различного, представленного символами. А. Ф. Лосев называет символ порождающим принципом: «Выражаясь чисто математически, символ является не просто функцией (или отражением) вещи, но функция эта разложима здесь в бесконечный ряд, так что, обладая символом вещи, мы, в сущности говоря, обладаем бесконечным числом разных отражений или выражений вещи, могущих выразить эту вещь с любой точностью и с любым приближением к данной функции вещи»¹¹. Новалис придает будущей лосевской математике, никогда не забывавшей своих пифагорейских корней, жизненную насыщенность, к чему, как известно, стремился и А. Ф. Лосев. Так в ключе символа

¹¹ Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 12.

несколько женщин оказываются одной возлюбленной, поскольку у них один символ: Голубой Цветок. Порождающей функцией символа объясняются озадачивающие высказывания Цианы: «У тебя не один отец, как не одна мать... Мать одна, потому что она одна-единственная». Так, у Генриха отец и мать в Эйзенахе, но в то же время его отец и мать — граф и графиня фон Гогенцоллерн; одно не исключает другого, и те и другие родители настоящие, ибо и у них единый символ.

Это слово впервые произносится в пятой главе, занимающей в романе центральное положение, и впервые произносит слово «символ» горняк: «Сомнений нет, людям преподал угодник Божий благородное горняцкое искусство, явив строгий символ нашей жизни, затаенный в недрах гор». Не забудем, что в предыдущем абзаце говорилось, как хорош цветок, расцветающий для горняка в жутких недрах, так что символ и в этой главе предвосхищен и возведен цветком, как и во всем романе. С цветами (с цветком) соотносит символы и граф фон Гогенцоллерн: «Церковь — жилище истории, кладбище — цветник ее символов». В начале второй части врач Сильвестр назовет символом человеческое тело: «Добродетель едина; это безупречная твердая воля, не знающая колебаний, когда настает ее час. В своей одушевляющей неповторимой цельности она владеет телом человеческим, этим нежным символом». Цветок, таким образом, уподобляется человеческому телу, а тело цветку, так как и то и другое — символ. «Выражение “символ” само символично», — говорит Новалис в одном из своих фрагментов. Следует учитывать, что во всех трех случаях в оригинале употреблено немецкое слово «Sinnbild», переведенное Я. Э. Голосовкером на русский язык, насколько мне известно, впервые, как «смыслообраз», что является блестящей переводческой находкой. Пользуясь этим переводом, стоит перевести фрагмент Новалиса так: «Выражение “смыслообраз” само смыслообразно». Смыслообразность выражения «смыслообраз» позволяет соотнести его с другими смыслообразами, а при подобном соотношении смыслообраз не может быть изолированным и не может совпадать с другим смыслообразом, как идеал совпадает с идеалом. Каждым смыслообразом представлено многообразие смыслообразов, а внутри каждого из них присутствует симпатия знака и означаемого, как говорит Новалис. Иными словами, для Новалиса символ — это знак, которым представлено не только означаемое, но и соответствие знака и означаемого, их симпатия. То есть Голубой Цветок не просто означает возлюбленную, он сама возлюбленная, а она — Голубой Цветок, что предполагает целостный ряд подобных симпатий, соответствий, аналогий. «Человек — источник аналогий для вселенной», — пишет Новалис во фрагментах.

Но у каждой аналогии два полюса, и потому аналогии двойственны. С другой стороны, симпатия знака и означаемого может распространяться и на золото, которому тоже не отказано в своем символе. В то же время Голубой Цветок может выступить как идеал (у каждого предмета есть идеал; умение уловить этот идеал и составляет суть романтического творчества). Но идеалы уравниваются, и Голубой Цветок может выступить как всеединство, если увидеть в нем, отождествить с ним самого себя, что и есть философский камень, превращающий всё в чистое золото всеединства. Тогда Золото оказывается символом (жизнеутверж-

дающая функция Золота в сказке, где Золото в союзе с Цветоводом участвует в пробуждении Фрейи), а голубишной маскируется идеал, разрушительный вне символа. Все предметы и образы романа вовлечены в эту игру. Автору, героям и читателю приходится то и дело разгадывать, что перед ними: идеал или символ. Отсюда подспудное напряжение романа при всей мелодической гармонии его стиля, над которым преобладает Несказанное. Так, согласно наброскам, Генрих срывает во второй части Голубой Цветок, низведя его на уровень предмета (символ открывается лишь любовному единению). Тем самым Генрих опредмечивается сам, теряет собственную неповторимость в многообразии и начинает совпадать в идеальном всеединстве с любым предметом, с камнем, с поющим деревом, с золотым овном (совпадения начинаются с голубишны, но все равно приводят к золоту идеального всеединства). Генрих даже не превращается в разные предметы, а только отождествляется с самим собой, тождественным всеединству, где все предметы мнимы, так как идеалы уравниваются. Такова западня магического идеализма, куда приводит жертвоприношение, совершенное Генрихом.

Есть основания полагать, что в Софи фон Кюн Новалис видел самого себя, как Гиацинт увидел себя под покрывалом богини. Эта жестокая игра в самопознание могла усугубить ее болезнь и даже ускорить смерть за неимением простого сострадания, которого девушка не могла не ждать от своего возлюбленного. Точно так же в жертву самопознанию приносит Генрих Матильду, намереваясь пожертвовать собой.

Для Гиацинта греза — единственная проводница у входа в святая святых. Генрих присваивает себе эту проводницу вместе со всей природой: «Как будто во мне самом эти дали, а вся эта великолепная окрестность — как будто моя же сокровенная греза». В главе восьмой Генрих домогается всеединства, которому Клинтсор противопоставляет многообразие. Вокруг этого вращается вся их беседа. Генрих хочет обладать миром, как владеют языком; он домогается запредельного: «Так же, как речью, человек не прочь располагать большой вселенной, рад бы без всякого стеснения выражать себя в ней. Через вселенную раскрыть запредельное — вот порыв, определяющий наше существование, вот упоение, которым живет поэзия». Матильда ставит в пример Генриху своего отца, который все еще плачет у своей умершей возлюбленной, не утешаясь тем, что она совпала с ним во всеединстве. Генрих же хочет видеть в своей возлюбленной себя, хочет присвоить себе ее бытие. Генрих назойливо и высокопарно превозносит вечность, игнорируя трепетную человечность Матильды. В шестой главе Генрих возжигает самого себя в жертву солнцу: «Я готов отдать мою жизнь Матильде, чтобы верность навеки сочетала наши сердца. Это мое утро, вечный день грядет. Ночи больше нет. Встает солнце, и ему посвящено мое самосожжение, жертвенный пламень, который никогда не догорит». В седьмой главе он обрекает этому пламени и Матильду, потому что Матильда едина с ним: «Кто знает, не окрылит ли нас наша любовь пламенем, чтобы нам вознестись в нашу горную обитель, пока старость и смерть еще неведомы нам? Как же не верить мне в чудеса, если ты моя, если я прижимаю тебя к своей груди и твоя любовь готова разделить со мной вечность». Насколько изящнее и проникновеннее про-

стенная песенка миннезингера, который оказался бы предшественником Генриха фон Офтердингена, будь он лицом историческим:

Ты моя, а я твой,
 Твой, пока я живой;
 Ты в моем сердце.
 Заперта дверца,
 И потерял ключ навек.
 Не надейся на побег.
 (Пер. В. Микушевича)

Не трудно заметить разницу мироощущений и чувствований при различии поэтических культур, хотя Новалис и не прочь имитировать органичную наивность миннезингера, но для Генриха «ты моя», а для миннезингера «ты моя», потому что «я твой... пока я живой». Новалис в любви обретает ключ к самому себе, а миннезингер счастлив оттого, что к его сердцу, где заключена возлюбленная, «потерян ключ навек». Генрих декларирует самосожжение, а гибнет одна Матильда (правда, тонет, а не сгорает), но зато сгорает мать в сказке Клингсора, а еще во второй главе прозорливые купцы уподобляли его будущую невесту его матери: «...и если вы в дедушку пошли, вы непременно осчастливите родной город, привезете оттуда красавицу жену, как некогда ваш батюшка». Любовь приносит Генрихом в жертву всеединству, когда Генрих противопоставляет ее вечный образ земному облику: «Твой дольний облик — лишь твоя земная тень. Стихии здешнего в своем борении цепляются за эту тень, потому что природа еще не готова, однако таинственный целительный рай уже начал открываться мне, явив твою изначальную вечность».

Во второй части Генрих искупает свою вину, когда Матильда приносит его в жертву как золотого овна, но и этому жертвоприношению предшествует самопожертвование Голубого Цветка: ради Генриха в жертву приносят себя уроженка Востока, Эдда и, возможно, снова Матильда.

В сказке Клингсора ситуация романа разыгрывается на уровне вечных образов, и становится заметно, как эти прообразы проецируются в историю через роман. Мы уже предположили, что младенец Эрос видит в голубой дымке среди тысячи диковинок сон Генриха. Этот сон с голубым цветком видится ему также на представлении в чертогах Месяца, где сочетается с картинами-миниатюрами из провансальского романа: в пещере отшельника Генрих листает роман о себе, не понимая языка, на котором роман написан. Генрих — явная ипостась Эроса. Точно так же отец Генриха занят ремеслом, и отец в сказке занят будничными заботами, отвлекаясь от них в объятиях Джиннистан. Мать Эроса — сама миловидность и приветливость, как и мать Генриха, рачительная хозяйка. Джиннистан-Фантазия отправляется, приняв облик Матери, в чертоги своего отца Месяца и просит Эроса: «Ты подтвердишь ему, что это я, хоть я и предстану перед ним не в своем обличии». Шванинг-Месяц действительно не узнает своей дочери. Итак, Генриху по дороге в Аугсбург сопутствует Фантазия, что подтверждает и Клингсор: «Не иначе, как дух поэтического искусства был вашим приветливым проводником». Вот почему путь Эроса (Любви) в сказке засвидетельствован стихами: «В убранстве праздничном своем открылся мир

теней». Это мир горняка, пещера отшельника и провансальский роман. Буйство Эроса, испытавшего любовь Джиннистан, возможно, предвосхищает военные подвиги Генриха во второй части: «Его лук всем причиняет бедствия». И наконец, брак Эроса с Фрейей, вероятно, знаменует союз эллинского гения с нордическим, что в будущей жизни Генриха подтверждено именем Эдда.

Такова смыслообразная канва сказки, пронизывающая роман в обеих его частях. Возникает соблазн уподобить сказочные прообразы платоновским идеям или Матерям из второй части «Фауста», ностораживает шаловливый адюльтер, граничащий с инцестом, казалось бы, менее всего свойственный творчеству Новалиса, но определенно царящий в сказке. Отец изменяет Матери с Джиннистан, и она же становится возлюбленной Эроса, что не мешает ей вступить в брак с Отцом после того, как мать принесена в жертву, чуть ли не просто устранена ради этого нового брака. Очевидно, ни Отец, ни Сын в сказке не наделены щепетильностью гётевского Лотарио из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера». Лотарио считает невозможным для себя брак с дочерью женщины, которая была его любовницей. Придавая в своей поэтике едва ли не решающее значение сказке, Новалис называет ее временем всеобщей анархии. Это время до мира, по его словам, являет разрозненные черты времени после мира, а будущий мир есть осмысленный, или разумный, хаос. Так анархия в сказке завершается космической монархией, преобразующей, но не устраняющей анархию, своеобразный анархо-монархизм, оказавший влияние на мистический анархизм Вячеслава Иванова.

Распространено мнение, будто Новалис в принципе далек от иронии. Ему действительно принадлежит высказывание: «В просветленных душах нет места островам. Острота свидетельствует о нарушении равновесия». Но тот же Новалис пишет, что дитя должно быть совершенно ироническим. Малютка Муза — явно такое ироническое дитя. Сокрушительная ирония маленькой Музы в том, что она обрекает престарелых богинь судьбы на съедение паукам, ткущим бальные платья для их ветхих прелестей. В Переписчике Муза усматривает пародию на идеал, то есть на смерть: «Тебе бы песочные часы да косу, тогда бы и ты выглядел как ближайшая родня моих прелестных кузин». Прелестными кузинами маленькая Муза называет старух Парок, вместе со старыми концами их пряжи распутывая концы и начала родства, сочетающего в сказке всех и вся. Ирония Музы сказывается в песне Шванинга на пиру, когда дедушка Генриха поет от лица девушек: «Царство старых устарело». Это главная мысль сказки, вызывающая стихию смеха у Новалиса. Вечно юная старина опровергает смехом все то, что стареет и устаревает, не будучи вечной стариной.

Новалис назвал сказку Гёте рассказанной оперой. Такую же рассказанную оперу видят в сказке Клингсора, сравнивают ее с «Волшебной флейтой» Моцарта. Но мир сказки далеко не безмятежен и не идилличен, центральным событием сказки остается сожжение матери на костре, и, хотя в сказке трудно зафиксировать присутствие Матильды, это жертвоприношение напоминает о сходстве матери с Матильдой, предсказанном купцами по дороге в Аугсбург. Одна только Муза не может удержать слез, узнав, что мать обречена костру, но и Муза приободрилась, распознав голубое покрывало Софии над жертвоприношением. Эта

деталь, пожалуй, наиболее устрашающая. Голубизна символа является в другом свете. София не только не препятствует жертвоприношению, она примиряется с ним. Но в этой жутковатой загадке кроется смысл сказки и всего романа.

Муза недаром распутывает узы родства, связующие всех действующих лиц сказки. Парки — ее кузины, Эрос — ее молочный брат. Родство переходит в иерархию. Верховные действующие лица сказки — небесные светила, Арктур с другими созвездиями и минералами во главе с Железом. Дочь Месяца — комета, о которой в Теплицких фрагментах говорится: «Кометы — поистине эксцентрические существа, способные на высшее просветление и на высшее затемнение, — истинная Джиннистан — населенная могучими добрыми и злыми духами — преисполненная органическими телами, которые могут растягиваться в газы и сгущаться в золото». Невозможно лучше охарактеризовать Джиннистан в сказке. Она фантазия то газообразная, то сгущающаяся, а сгущенная фантазия — Золото, вот почему Персей вручает ее дочери Музе веретено с повелением: «Для нас ты будешь прясть сама себя, и твоя золотая нить никогда не разорвется». Но прясть себя и познавать себя — одно и то же во всемирной алхимии, источающей золотую нить. В конце концов золото идеала все равно берет верх над голубишной символа, пожертвовавшего собой всеединству.

Узы родства закрепляются аллегорией. Если Отец — Разум, а Мать — Сердце, мировая гармония требует, чтобы Разум изменял Сердцу с Фантазией, а Фантазия изменяет Разуму с Любовью-Эросом, чтобы установилась, восстановилась мировая гармония Софии. Сердце жертвует собой, чтобы избавить мир от солнца, союзного смертоносной рассудочности Переписчика. И когда мировая гармония торжествует, все пребывает во всеединстве вселенской тайны, и оказывается, «с нами Мать, Она не покинет нас», как говорит София: «Святость сердца вверена Софии». Единая индивидуальность распалась на множество действующих лиц, их число приумножается в истории, то есть в романе, но множественность эта мнимая; она обречена воссоединиться в первоначальной индивидуальности, которая есть нечто большее, чем индивидуальность, поскольку, кроме нее, нет ничего. Прежнее многообразие представлено только шахматами: «Война заключена отныне только в этих клетках и фигурах: в них увековечены былые мрачные времена». Новалисом сказано, быть может, самое глубокое из всего, что сказано о шахматах в литературе.

Но и в мировой гармонии всеединства обнаруживается момент, вызывающий к размышлению: «Да здравствуют наши исконные властители, — кричал народ, — они никогда не покидали нас, а мы их забыли... Их власть веки не минует!» При этом София обращается к *малодой* королеве, хотя исконная властительница она сама. Конечно, «царство старых устарело», но если бы устарела власть Софии, ко власти пришел бы Переписчик со своими присными. Молодая королева Фрейя — супруга молодого короля, а этот король — в сказке Эрос, в романе Генрих. Генрих должен во второй части взойти на престол не только в силу своей родословной, как бы она ни была таинственна. Генриху предстоит стать королем, потому что он поэт. Эзотерический сюжет романа — воцарение поэта.

Из набросков к роману мы узнаем, что Арктур — император Фридрих, с которым связывались чаяния мировой христианской империи, а с нею должен

установиться или вернуться Золотой век (золотая нить Музы). Арктур, в то же время Сатурн, — бог Золотого века. Упоминается в набросках мистицизм императорского дома и праимператорская семья. Проскальзывает и традиционно германская идея, согласно которой будущий императорский дом — дом Гогенштауфенов. Но наиболее существенна в этой связи мысль, что Клингсор — король Атлантиды, а Генрих — поэт из легенды, рассказанной купцами в третьей главе:

И ты, поэт, как принц наследный,
Взойдешь на королевский трон.

Так проливается свет на неожиданно резкий отход Новалиса от философских спекуляций магического идеализма в сторону поэзии. Когда Арктур говорит в сказке: «Пока еще нельзя мне явить себя, ибо я не король, пока я один», — он опровергает именно магический идеализм, где властвует лишь тот, кто один: абсолютное Я. В своих фрагментах «Вера и Любовь, или король и королева» Новалис утверждает, что все люди должны быть годны для трона, ибо каждый произошел из древнейшего королевского рода. Таким образом, при монархии каждый подданный добровольно отрекается от престола в пользу государя, веруя в его более высокое рождение и подтверждая тем самым собственное благородство, на что и подвигает поэзия.

Людвиг Тик с некоторой осторожностью и неуверенностью пишет об окончательном воцарении Генриха: «Камень вручен Цианой императору (Фридриху. — В. М.), но сам Генрих, оказывается, поэт, о котором ему поведали купцы в сказке». Этому предшествует еще более осторожная фраза Тика: «Все растворяется в аллегории». Но так или иначе новый король в стихотворении, задуманном как заключительное, смело говорит молодой королеве: «Мы властвуем». Свою власть новый король намерен подтвердить бракосочетанием времен года, но и этого сочетания ему недостаточно. «Соединим времена рода людского затем», — присовокупляет он. Нет никакого сомнения в том, что новый король — Генрих. Он вспоминает, «как он впервые тогда о цветке небесном услышал». Его царствование, весь роман сводится к некоему алхимическому синтезу, в котором исчезают не только времена года, но и времена рода людского, сам род людской. На неизмеримо более высоком уровне повторяется то, что было намечено в сказке Клингсора: установление всеединства, о котором даже нельзя сказать, существует оно или нет.

«До этого не было ничего, кроме смерти», — загадочно возвещает Людвиг Тик. Вильгельм Дильтей не согласен с ним: «Вопреки описанию Тика я полагаю: между происходившим до того, и миром, открывающимся далее, в замысле Новалиса имелась отчетливая граница. Земная жизнь Генриха кончилась. Это явствует из опыта, осваивавшего до сих пор чудесное, чья очевидность оставалась все-таки субъективной. Но когда Генрих в горах воспринимает слова Матильды, она определенно говорит, что он увидит ее лишь после действительной смерти, “пока твоя кончина не сподобила тебя нашей отрады”». Генрих должен своей смертью искупить смерть Матильды именно потому, что ее смерть предполагает подобие искупления. Генрих отделен от Матильды стеною смерти.

«Если это верно, — продолжает Дильтей, — тогда общение с миром усопших и чуда в этом романе ограничивается эпохой, когда смерть Матильды увлекает его со всей силой»¹² (пер. мой. — В. М.).

Среди набросков к роману своей вдохновенной поэтичностью выделяется «Песнь мертвых». Возможно, это самое совершенное поэтическое произведение Новалиса, предопределившее и преобразившее целые эпохи немецкой поэзии. Во всяком случае, оно отчетливо противостоит «Бракосочетанию времен года» с его культом безличного всеединства. Так стихотворение «К Тику» противостоит стихотворению «Познай себя», в котором «лишь одного человек искал веками повсюду», тогда как в стихотворении «К Тику» ребенку раскрывается многообразие символов:

Науку звезд, уроки знаков,
Мир неизвестный, мир — кристалл
Постиг читатель в царстве знаков
И на колени молча встал.

В набросках к роману дева-пастушка посылает Генриха *к мертвым* (подчеркнуто Новалисом. — В. М.) — обитатели монастыря мертвые. «Ты смерть, и Ты целитель первый наш», — напишет Новалис, обращаясь ко Христу. Вот почему отшельник говорит Генриху, что кладбище — цветник символов, если Церковь — жилище истории. Символы у Новалиса христианского происхождения, и они противятся новейшему язычеству магического идеализма. Так, в «Гимнах к Ночи» истинный символ — Христос, изгоняющий духов гностического всеединства. И в «Песни мертвых» опять возвращается отрядная голубизна символа:

И в святом своем покое
Благосклонно к нашим взорам
Задумчиво голубое
Небо навсегда.

Так возникают удивительные строки, воспевающие, увековечивающие другого и другую:

И прельщать всегда друг друга,
Поглощать всегда друг друга,
Насыщать всегда друг друга
Лишь друг другом в глубине.

Когда Генриху впервые снится смерть возлюбленной сразу же после первой встречи с ней, «она вверила его устам чудесное сокровенное слово, пронизавшее всю его душу... Генрих не пожалел бы всей своей жизни, лишь бы вспомнить это слово». Так и Новалис не жалеет своей жизни после смерти Софи. В набросках к роману читаем:

¹² Dilthey W. Op. cit. S. 240.

Тайное слово одно таково,
Что гинет превратное естество.

Новалис посвящает свою дальнейшую жизнь поискам этого слова. В «Песни мертвых» до него доходит благовестие:

Обрести бы нам совместно
Жизнь и смерть в едином слове!
Будет слово нам известно,
Будет связан дух земли.

Это слово можно обрести лишь совместно. Не отсюда ли новая помолвка Новалиса? Не отсюда ли его головокружительные планы, связанные с горным делом, с наукой, с поэзией? Главное для Новалиса в том, что «жизнь и смерть в едином слове». Это слово может быть лишь словом поэзии: «Горняя жизнь в голубом облаченье». Кто нашел это слово, тот живет вне жизни и вне смерти. Так жил Новалис в последние годы и месяцы своей жизни. Но если он так жил, значит, он продолжает так жить. Таковую возможность предлагает нам его поэзия. Остается только найти тайное слово среди того, что подписано вещим именем **НОВАЛИС**.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЕНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН

Новалис писал свой роман в последние недели 1799 г. и в первые месяцы 1800 г., что подтверждается письмами поэта к Людвигу Тику и Фридриху Шлегелю. Замысел романа окончательно сформировался весной 1799 г. под влиянием старинных хроник, найденных поэтом в библиотеке историка Функа в городе Артерн у горы Кифхейзер. Новалис посетил город Артерн по долгу службы как инспектор солеварен. По свидетельству Тика, на Новалиса особое впечатление произвела биография императора Фридриха II, написанная Функом и вышедшая в свет в 1792 г.

О легендарном миннезингере Генрихе фон Офтердингене, чье историческое существование не подтверждается, Новалис мог прочитать в «Тюрингской хронике» Йоханнеса Роте (ум. ок. 1434). Генрих фон Офтердинген упоминается также в рифмованной «Легенде Святой Елизаветы», написанной городским писцом из Эйзенаха. Встречается этот образ также в «Мансфельдской хронике» Кириака Шпангенберга (1572). Во всех этих трех произведениях миннезингер именуется «Афтердинген». Новалис также употребляет имя своего героя в этой форме, но в первом издании романа в 1802 г., уже после смерти автора, появляется имя Офтердинген и с тех пор становится общепринятым.

Согласно Йоханнесу Роте, Генрих фон Офтердинген участвует в состязании певцов при дворе ландграфа Германа I Тюрингского в Вартбурге. Названа дата этого состязания: 1206 г. Генриху присуждается награда герцога Леопольда VI Австрийского. При этом Генрих фон Офтердинген объявлен гражданином Эйзенаха из благочестивого рода. Ландграфиня София — его покровительница. Новалис разрабатывает эту версию в своем романе.

В хронике Роте Генриху фон Офтердингену сопутствует и Клингсор из Венгрии, ученый и поэт, магистр семи свободных искусств, астролог, прорицатель, которому повинуются духи и открываются запретные сокровища. В хронике Кириака Шпангенберга Генрих фон Афтердинген представлен как старый немецкий мастер пения, наделенный явно легендарными чертами. Ему приписываются и эпические поэмы (впоследствии Ф. Шлегель выдвигнет предположение, будто Генрих фон Афтердинген — автор «Песни о нибелунгах»). О старом императоре, сидящем в недрах горы Кифхейзер, и о голубом цветке Ивановой ночи Новалис мог слышать в Тюрингии устные предания.

Важнейшим стимулом к написанию «Генриха фон Офтердингена» оказался роман Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Новалис был одновременно восхищен и возмущен этим романом: восхищен поэтическим искусством Гёте, возмущен апологией практической жизни, ради которой Вильгельм Мейстер жертвует своим артистическим призванием. «Гёте — совершенно практический поэт, — писал Новалис. — В своих произведениях он — как англичанин в своих товарах — в высшей степени прост, мил, удобен и прочен». Вслед за этим ироническим восхищением провозглашается героическое художественное начинание, в котором соперничество все равно сочетается с восхищением: «Гёте должен быть и будет превзойден — но лишь в том смысле, как могут быть превзойдены древние — по сути и по силе, по многообразию и по глубине — отнюдь не как художник — в этом, быть может, лишь чуть-чуть

превзойден, ибо его правильность и строгость, вероятно, более образцовы, чем кажется». В противовес поэтическому практицизму Гёте Новалис намерен в «Генрихе фон Офтердингене» дать апологию поэзии: «Поэзия — подлинно, абсолютно реальное. Вот ядро моей фил[ософии]. Чем поэтичнее, тем реальнее».

Для понимания романа существен и такой фрагмент, написанный Новалисом в июне 1799 г.: «Роман должен быть поэзией весь и насквозь. Ибо поэзия, как и философия, есть гармоническая настроенность нашей души, где все наделяется красотой, где каждая вещь обретает подобающий облик и всему придается соответствующее сопровождение и окружение. В книге, истинно поэтической, все кажется таким *естественным* — и при этом таким чудесным. Думается, иначе и быть не может, как будто мы в мире до сих пор спали — и вдруг нас осенило верное чувство мира. Всякое воспоминание и чаяние, кажется, происходит из этого источника — так же, как та явь, когда мы охвачены иллюзией, — отдельные часы, когда мы словно пребываем во всех предметах, созерцаемых нами, испытывая бесконечные, непостижимые, одновременные чувства согласованного множественного числа». Сразу же за этим следует еще один фрагмент: «Высший мистицизм искусства — как преобразование судьбы, как явление природы».

Смерть подвела черту творческому дерзновению Новалиса. Неоконченный роман вышел в свет лишь после кончины автора. Предполагалось, что издание воспроизведет формат и шрифт «Вильгельма Мейстера». Этот замысел не удался. Первая часть вышла в свет в июне 1802 г., лишь спустя год после того, как завершился земной путь писателя.

Впервые на русском языке роман появился в 1915 г. в переводе З. Венгеровой, а спустя семь лет был переиздан в серии «Всемирная литература» — см.: *Новалис*. Генрих фон Офтердинген / Пер. З. Венгеровой и В. Гишпиуса. Пг.: Гос. изд., 1922.

Настоящий перевод осуществлен по изд.: *Novalis*. Heinrich von Ofterdingen // Schriften: In 4 Bd. mit einem Begleiband. 3. Aufl. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 193–358.

Часть первая ЧАЯНИЕ

Глава первая

¹ ...*странник вспоминался ему...* — Не названный по имени, странник должен был снова появиться в конце второй части. В набросках к роману так и сказано: «Странник с первой страницы». Сразу же за этим новым упоминанием странника следует характерный новалисовский фрагмент: «Весь род людской в конце концов поэтизируется. Новый Золотой век». Странник, таким образом, соотносится со всей поэтической концепцией романа. Характерно, что опять-таки в самом начале первого гимна к Ночи также появляется странствующий чаровник. В оригинале слово слегка варьируется, сохраняя свое значение и внутреннюю форму: в романе «*der Fremde*» — в гимнах «*der herrliche Fremdling*». Возможно, это вариации одного и того же образа.

² *Голубой цветок* — поэтическое средоточие всего романа. В «Бракосочетании времен года» (перед завершением второй части романа) новый король (в прошлом Генрих) вспоминает «грезу ночную свою, повествование и весть. Как он впервые тогда о цветке небесном услышал». Новалис мог заимствовать этот образ из тюрингских народных сказаний о голубом цветке Ивановой ночи. Роман как раз начинается в эту ночь (см. начало второй главы: «Иванов день уже прошел»). Голубой лотос упоминается у Калидасы в первом действии «Шакунталы». (Среди набросков к роману, в так называемых «Берлинских бумагах» Новалисом упомянута такая «в высшей степени чудесная драма в стихах, как “Шакунтала”», вероятно, еще один из его неосуществленных замыслов.) Пишет Новалис и об ост-индских растениях, ссылаясь на ту же «Шакунталу». Аналогии голубому цветку встречаются у Жан-Поля Рихтера и у Людвиг-а Тика. По-немецки «цветок» женского рода «*die Blume*». В словосочетании «*die blaue Blume*»

существенна аллитерация, характерный прием немецкой поэзии, восходящий к древнегерманским временам. Так, эпитет «голубой» становится у Новалиса эпитетом или цветом вечной женственности. У Гёте в его «Теории цвета» («Farbenlehre»), над которой он начал работать за несколько лет до появления «Генриха фон Офтердингена», голубизна «в своей высшей чистоте» уподобляется «прелестному Ничто». А через несколько десятков лет в заключительной сцене «Фауста» Doctor Magianus призывает Высшую Владычицу мира явить ее тайну «в голубом шатре», и эта тайна — вечная женственность. В такой эволюции голубого цвета у Гёте можно усмотреть переключку с Новалисом. «Всё голубое в моей книге», — писал Новалис в набросках к роману.

³ ...*молвил отцу...* — Отец Генриха предвосхищает своей судьбой жизнь сына. Подробнее см. статью «Миф Новалиса».

⁴ *Старик встретил меня...* — Это врач Сильвестр из второй части, где он вспоминает: «Твой отец был не старше тебя, когда посетил меня...» (с. 99 — здесь и далее указаны страницы наст. изд.).

⁵ ...*обстоятельный разговор...* — Об этом разговоре Сильвестр вспоминает во второй части: «Он расположил меня к себе, и я был не прочь показать ему бесценные древние клады, что завещал нам безвременно почивший мир» (с. 99).

⁶ ...*к высокой горе.* — Это Кифхейзерберг в Золотой долине в Тюрингии. Новалис описывает местность, хорошо ему знакомую.

⁷ ...*восседад старцу...* — Таков, по преданию, Фридрих I Барбаросса (1122—1190), император Священной Римской империи. Предок Новалиса Дидерикус де Харденберг впервые упоминается при Фридрихе I. Согласно легенде, Фридрих Барбаросса (Рыжая Борода, *ит.*) вернется перед Страшным судом, создаст всемирную христианскую империю и установит мир на земле. Во второй части романа Фридрих I (старец) отождествляется с Арктуром, королем из сказки Клингсора, которой заканчивается первая часть романа. В набросках к сказке сказано: София — супруга Арктура. С Фридрихом, вероятно, связано и определение «кесарь мистический» (из набросков). Во второй части романа Генрих должен быть представлен императору Фридриху II (1194—1250), внуку Фридриха Барбароссы. «Дом Гогенштауфенов — будущий царствующий дом» (из набросков). Всемирная сакральная христианская монархия — главная тема романа. Об этом же говорится во фрагменте «Христианство, или Европа», писавшемся одновременно с романом. 20 октября 1798 г. друг Новалиса Фридрих Шлегель говорит, что он ничего так не жаждет, как христианской монархии. В этих словах явно выражается чаянье самого Новалиса. Сакральная христианская монархия связывается в романе с наступлением, вернее с возвращением, Золотого века. «Замкнут круг тысячелетий в мире вечной старины», — как сказано в «Песни мертвых», приводимой Людвигом Тиком (с. 107). Размышления об этой вечной старине, представленной голубым цветом (о нем впервые поведает Генриху странник), предшествуют вешему сну Генриха. См. начало первой главы: «Рассказывают, будто в старину звери, деревья и скалы говорили с людьми. Они, сдаётся мне, вот-вот опять начнут, и по ним я угадываю, что я услышал бы от них» (с. 8). См. также Astralis: «Весь мир стал сном, сон миром стал». Все это приметы Золотого века.

Глава вторая

¹ ...*к родному городу...* — Родной город Генриха далее упомянут: это Эйзенах у подножия Вартбурга на северо-западной окраине Тюрингского леса. Вартбургская резиденция ландграфа построена в конце XI в. В этой резиденции в 1521—1522 гг. Мартин Лютер переводил Библию на немецкий язык. С Вартбургом связано легендарное упоминание Генриха фон Офтердингена, будто бы участвовавшего там вместе с Вольфрамом фон Эшенбахом и Вальтером фон дер Фогельвейде в состязании поэтов. «Состязание певцов — первый акт на земле», — говорится в набросках, где «состязание поэтов» упоминается неоднократно.

² ...*благословенные реликвии...* — Явная переключка с фрагментом «Христианство, или Европа», где речь идет о настоящих реликвиях: «Принято было собирать повсюду с проникновен-

ной тщательностью всё, что принадлежало этим возлюбленным душам, и каждый почитал себя счастливым, если обрел такую подобную реликвию...» (с. 135).

³ *Отрадная бедность...* — Райнер Мария Рильке подхватывает этот мотив в своей «Книге о бедности и смерти» (1903): «Ты только бедность бедному верни!» (Пер. мой. — В. М.)

⁴ *Генрих был крестником ландграфини...* — Вартбургское состязание поэтов, по преданию, проходило при ландграфе Германе Тюрингском (1190—1216). Имя ландграфини — София. Известно, какое значение имело это имя для Новалиса. Его юную умершую невесту звали Софи. «София — священное, Неведомое», — писал Новалис в набросках. Первая часть романа заканчивается стихом: «Святыня сердца вверена Софии». См. также стихотворное посвящение, предшествующее роману.

⁵ *Купцы втофрили ей...* — Купцам отводится в романе существенная роль. Именно купцы угадывают поэтическое призвание Генриха: «И чудесное влечет вас, а где же стихия поэта, если не в чудесном!» (с. 17). В набросках к роману сказано: «Поэзия никогда не должна быть главной темой, она всегда лишь чудесное». В письме к Людвигу Тиху от 23 февраля 1800 г. Новалис пишет о романе: «Всё в целом должно быть апофеозом Поэзии». Таким образом, высказывание купцов явно затрагивает художественно-философскую концепцию всего романа, задуманного Новалисом как противовес к «Вильгельму Meisterу» Гёте. Герой Гёте отказывается от своего театрального (поэтического) призвания ради практической деятельности. У Новалиса к поэзии склоняют Генриха именно купцы, люди сугубо мирские и практические. В самом конце романа купцы должны были появиться снова. При этом о них всегда говорится во множественном числе, и никто из них не выступает отдельно от других. Комментатор немецкого издания Рихард Самуэль уподобляет купцов античному хору.

⁶ *...духовное звание...* — Спор купцов с Генрихом о духовном звании, в особенности слова Генриха о науке горнего, переключается с началом фрагмента «Христианство, или Европа»: «Как отрадны были для каждого его земные труды, когда надежное будущее было ему уготовано этими святыми людьми...» (с. 134). Напротив, аргументы купцов соотносятся с критикой священства в том же фрагменте: «Священники забыли свой истинный долг — быть первыми по уму, пронизательности и образованности...» (с. 136).

⁷ *...один из этих диковинных поэтов...* — Певцы пересказывают в прозе миф о древнегреческом певце Арионе. Известны поэтические версии этого мифа, созданные А.-В. Шлегелем и Людвигом Тихом. Ариону впоследствии посвятил свое знаменитое стихотворение А. С. Пушкин.

⁸ *...признательное морское страшилище...* — в греческом мифе дельфин.

Глава третья

¹ *В другом предании...* — Поэтический дар отождествляется с благородным, даже царственным происхождением, что в дальнейшем обнаруживается на примере самого Генриха. В «набросках» говорится о праимператорском роде. Новалис также пишет: «Повествование о поэте может стать судьбой Генриха». Так впоследствии Р.-М. Рильке настаивал на своем аристократическом происхождении, не подтвержденном ничем, кроме его поэзии, но признаваемом такими исконными аристократами, как принц Эмиль фон Шенех Каролат и княгиня Мария фон Турн-унд-Таксис Гогенлоэ (см.: *Витковский Евгений*. Райнер. Мария. Орфей // Рильке Райнер Мария. Стихотворения (1895—1905). Харьков; М., 1999. С. 29). Отождествление поэтического дара со знатным происхождением, таким образом, идет от Новалиса, искренного родового аристократа, напротив, своим знатным происхождением подтверждающего свой поэтический дар.

² *...чудесного...* — В устах купцов *чудесное* своего рода лейтмотив, сопутствующий поэтическому искусству.

³ *Рустам* — герой иранского эпоса, воспетый Фирдоуси в его поэме «Шахнаме» («Книга царей»). Рустам происходит от царя Джемшида, семисотлетнее царство которого описывается в «Шахнаме» как Золотой век. Земным раем названо и королевство, о котором идет речь.

Включение Рустама в родословную истинного государя свидетельствует о пристальном интересе Новалиса к Востоку (мистическое единение Востока и Запада).

⁴ *...сверхчеловеческой природой...* — Понятие «сверхчеловеческий» («сверхчеловек») задолго до Ницше связывается у Новалиса с родословной царя-поэта. Впрочем, слово «сверхчеловек» встречается уже у Гёте в «Прафаусте» (1773–1774).

⁵ *...распознал драгоценный карбункул...* — Карбункул появляется уже в первой прозаической повести Новалиса «Ученики в Саисе» (1798) (см. с. 132). В набросках к роману упоминается древнее сокровище, талисман императорского дома, карбункул, для которого оставлено место в короне. Поэт находит его в чашечке цветка на груди своей утраченной возлюбленной, а показывает ему карбункул неземная маленькая девочка, сидящая на ее гробе. Во второй части камня не хватает в короне Гогенштауфенов (будущий императорский дом). В XX в. мотив карбункула в короне подхватывает Густав Майринк в своем романе «Ангел западного окна» (см.: *Meyrink Gustav. Der Engel vom westlichen Fenster. Leipzig, 1927. S. 18*).

⁶ *В песне говорилось...* — В первой песне поэта вырисовываются многие линии и мотивы второй части романа (в особенности Золотой век).

⁷ *...преданье повествует, будто Атлантида...* — О затонувшем острове (материке) Атлантиде говорится в диалогах Платона «Тимей» и «Критий». Для Новалиса Атлантида — страна поэтов. Во второй части романа королем Атлантиды оказывается поэт Клингсор, отец Матильды, возлюбленной Генриха. Платоновские аллюзии, возможно, приобретают в романе Новалиса полемический смысл. Согласно Платону, поэты изгоняются из идеального государства, которым правят философы. Атлантида Новалиса — напротив, царство поэтов.

Глава четвертая

¹ *...он послан свыше.* — Здесь Генрих явно уподобляется страннику, поведавшему ему о глубом цветке

² *...освобождению Святого Гроба.* — Участие Генриха в крестовых походах предполагается набросками ко второй части романа. Генриху предстоит побывать в Иерусалиме, чему придется важное значение. Он участвует и в военных действиях: нападает со случайным отрядом на вражеский город. Вероятно, в связи с крестовыми походами в набросках упоминается жизнь на море (мореплавание). Говорится о характерных чертах войны, чему Людвиг Тик уделяет внимание, реставрируя вероятное продолжение романа (см. с. 109). Ключом к военным сценам в романе является фраза Новалиса из набросков: «Тень павшего воителя жива». Новалис возвращается к мысли, присутствующей в древнем индийском, иранском и германском эпосе: «Человеку подобает пасть от руки человека; это достойнее, чем умереть по воле рока». Таким образом, на войне, по Новалису, нет убитых, ибо достойная смерть есть истинная жизнь, ее высшая форма. С войной сближается состязание поэтов: «Энтузиазм и вакхическое опьянение побуждают поэтов состязаться ради смерти». Тот же самый дух «вакхического томления» относится к войне: «Все элементы войны в поэтических красках». Война для Новалиса — форма христианской любви к врагам своим.

³ *Сам император...* — Так в роман вступает император Фридрих II фон Гогенштауфен. Он возглавил крестовый поход 1228–1229 гг. и взял Иерусалим. Во второй части романа Генрих должен был быть представлен ему. Судя по одному из вариантов продолжения, Новалис был даже готов отказаться от Вартбургского состязания поэтов, чтобы шире представить сцены при дворе императора Фридриха II.

⁴ *Песнь крестового похода.* — Новалисом были задуманы и другие военные песни.

⁵ *Стремятся дети светлым роem...* — Крестовые походы детей упоминаются средневековыми источниками.

⁶ *Над нами Дева Пресвятая...* — Немецкий комментарий уподобляет этот образ древнегерманской валькирии.

⁷ *Мы согрешили перед Спасом...* — Подобные покаянные мотивы по поводу утраты христианами Иерусалима встречаются у Данте, Петрарки, Тассо.

⁸ ...*вслушиваясь в песню...* — В песне пленницы и в ее дальнейшем повествовании сказывается своеобразный диалогизм романа: религиозная, героическая правота Запада, засвидетельствованная песней крестоносцев, сочетается с поэтической и мистической правотой Востока.

⁹ ...*ваше сходство с одним из моих братьев...* — Брат Салимы, подобно Генриху, отправляется на выучку к поэту. Немецкий комментарий предполагает, что поэт, прославленный в Персии, — Фирдоуси, но Фирдоуси жил примерно за двести лет до событий, упоминаемых в романе. Речь может идти скорее о Руми (1207–1273).

¹⁰ ...*к скорбной Салиме.* — Пленнице с Востока приписывается высокое поэтическое значение в набросках: «Уроженка Востока — тоже Поэзия». Голубой цветок соотносится и с нею. Новалис называет женственные подобию голубого цветка «триединой девушкой». Когда Генрих превращается в камень, Салима жертвует собой, чтобы оживить его.

¹¹ ...*исконный прародительский край...* — Вероятно, имеется в виду местонахождение земного рая между Тигром и Евфратом, где до грехопадения обитали Адам и Ева. Но восточные корни обнаруживаются и в рыцарском романе, например, в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха. По некоторым гипотезам, само имя «Парцифаль» («Персе-валь») персидского происхождения.

¹² ...*она протянула Генриху лютню...* — Предполагается, что слово «лютня» происходит от арабского слова «ауд», а лютня является модификацией этого музыкального инструмента. Не исключено, что и слово «трубадур» восходит к арабскому корню «рбб», обозначающему «струнный инструмент».

Глава пятая

Пятая глава занимает центральное положение среди глав первой части. Глава подытоживает первые главы, предвосхищает последующие (в особенности заключительную сказку) и затрагивает вторую часть. Если в четвертой главе диалогически высказываются дух Запада и дух Востока, то в пятой главе слово представляется Природе в лице горняка и Истории в лице отшельника, он же граф Гогенцоллерн.

¹ ...*старик, одетый не по-здешнему...* — Этому персонажу приписываются в романе разные функции. Прежде всего он горняк, открывающий Генриху тайны своего ремесла (с намеками на алхимию), но в сказке (см. гл. 9) он древний витязь Железо (см. с. 73–75); ему предстоит вернуться в первой главе второй части романа, где выяснится, что он также антиквар, у которого гостил отец Генриха, когда был в Риме. Горняк — уроженец Богемии, в чем немецкие комментаторы усматривают намек на философа Якоба Бёме (чисто языковая игра: Böhmen—Богемия—Böhme); исторический Якоб Бёме был родом из Лаузица, что не исключает его богемского происхождения, засвидетельствованного фамилией (прозванием). Во всяком случае, в Богемии идеи Якоба Бёме впоследствии были распространены. Появление Бёме в предполагаемом конце романа — один из поэтических анахронизмов, свойственных Новалису. Якоб Бёме (1575–1624) отнюдь не был современником исторических событий, представленных в романе, но значение Якоба Бёме для романа сам Новалис ярко описывает в письме Людвигу Тику от 23 февраля 1800 г.: «Якоба Бёме я теперь читаю соответственно и начинаю понимать его, как он того достоин. В ней (в сказке. — *В. М.*) действительно видится могучая весна, соитие движущих, творящих сил, бьющих ключом, изнутри порождающих мир, — подлинный хаос, полный темного вожделения и чудной жизни — истинный центробежный микрокосм». По-видимому, Якоб Бёме, предлагающий человеку перейти из вечности во время вместе с Христом и вернуться в свою вечность, приобшив к ней «чудеса времени», должен был выступить в конце второй части в связи с бракосочетанием времен года (см.: *Микушевич В.* Тайнописи Новалиса // Гимны к Ночи. М.: Энигма, 1996. С. 10–11, 33). С линией горняка должна была сочетаться и философия Теофраста Парацельса (Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541)). В набросках Новалис упоминает его магию, географию, астрологию и называет Парацельса «высшим горняком».

² *Зула* — местность южнее Праги, считавшаяся в средние века центром золотоносных

месторождений. В архиве профессора Вернера во Фрайберге обнаружен документ, написанный от имени старого горного мастера из Эулы. В документе прослеживаются параллели с дальнейшим повествованием.

³ *...спросить штейгера...* — Горняк называет штейгера мастером, что напоминает иерархию различных эзотерических обществ, например масонских лож. Мастер — уроженец Лаузица, как Якоб Бёме, и назван Вернером, как звался Абрахам Готлоб Вернер, фрайбергский учитель Новалиса.

⁴ *16 марта* — день рождения Жюли фон Шарпантье, второй невесты Новалиса.

⁵ *Король металлов* — золото. См. далее вторую песнь горняка: «Известен замок тихий мне...»

⁶ *...напал на богатую жилу.* — Горняк находит богатую жилу *после свадьбы*, что имело для Новалиса интимно-семейный смысл, так как в семье Харденберг у матери, по некоторым сведениям, было прозвище «Die Fundgrube», что можно перевести как «прииск» или «месторождение». Своей матери, Августе фон Харденберг, урожденной фон Бельциг, Новалис посвятил такое стихотворение в «горняцком тоне»:

ШАХТА АВГУСТА

К сорок девятому дню рождения
(5 октября 1798 г.)

Счастья тебе наверху, руда!
Почти столетья ты молода.
Месторожденье знатных пород,
Погожим ты делаешь каждый год
Храни же с каждым отпрыском связь,
На благо горняку ветвься.

(Пер. В. Микушевича)

⁷ *Природа не любит безраздельно принадлежать отдельному человеку.* — Эта мысль встречается среди фрагментов Новалиса, вошедших в «Цветочную пыльцу» (1797): «Природа — противница вечных владений. По своим незыблемым законам разрушает она все знаки обладания, искореняет все признаки формирования. Земля — достояние всех поколений, у каждого из них есть право на всё. Случайность первородства не наделяет предшественников никакими преимуществами. Право собственности угасает в свое время. Улучшение и ухудшение зависят от неизменных условий. Даже если тело — имущество, на которое я один приобретаю права как полноправный гражданин земли, утратив это имущество, я остаюсь владельцем самого себя. Я не теряю ничего, кроме своего места в этой школе государей, — я лишь становлюсь членом высшей корпорации, куда за мной последуют мои любимые соученики».

⁸ *...знатнейшие породы.* — То есть породы, содержащие золото и серебро.

⁹ *...припомню одну песню...* — Эта песня входила в 32 сборника шахтерских песен.

¹⁰ *Струятся воды в гору...* — Намек на искусство откачки и на систему насосов.

¹¹ *...желез, открывающий клады и кладези.* — Иначе — «рудоискательская лоза», магическая трость, имеющая свойство сгибаться над подземными источниками и месторождениями руд.

¹² *Король* — тоже золото, на этот раз в алхимическом словоупотреблении (см. примеч. 5, а также стихотворение «Познай себя!»).

¹³ *Стража* — другие минералы.

¹⁴ *Материнские жилы* — на языке горняков так называются другие минералы, в которых встречаются вкрапления благородных металлов.

¹⁵ *...в белом блещет луч.* — Имеется в виду кварц, в котором бывает золото.

¹⁶ *...замок тот чудесный.* — Замок (земные недра) представлен в духе негунгической теории, согласно которой мир возникает из воды (см. последнюю строфу: «Своею вольною волной вновь заиграет в замке море» — намек на судьбу Атлантиды).

¹⁷ *Народ бесчисленный* — человечество. Люди жаждут золота, не понимая, «в какую западню попали»; жажда золота причиняет им зло.

¹⁸ *Проницательный хитрец* — алхимик, покоряющий золото интеллекту.

¹⁹ *...Зато свободных больше стало.* — Обретая власть над золотом, алхимик освобождает от него людей.

²⁰ *...Генриху почудилось, будто он слышит эту песню не в первый раз.* — Возможно, Генриху вспоминается первая песня юного певца перед королем Атлантиды, пересказанная купцами в прозе (см. гл. 3).

²¹ *...некоторые пещеры.* — «Пещера» в романе выражает сочетание естественно-научных интересов Новалиса с мистическими. Древние кости в пещере напоминают Генриху подземную «жуткую невидаль», но думает он при этом и о горних гостях, зримых духах светил (см. с. 47). Пещера изначально соотносится с мистической традицией. Примечательна в этом смысле сура XVIII Корана. Поэтическое подражание Пушкина этой суре обнаруживает удивительную параллель с Новалисом:

Встань, боязливый:
В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит.
Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную книгу
До утра читай.
(Подражания Корану. VII)

И молитва и книга представлены в данной главе романа. «Пещера» присутствует также в каббалистической книге «Зогар» («Сияние»). В пещере скрывается рабби Шимон бен Йокай, с которым связано явление этой книги. Нельзя не вспомнить в этой связи и Освальда Шпенглера, считавшего пещеру символом восточной магической культуры.

²² *...величавый собор...* — Главная особенность этого собора в таинственном соотношении произрастающего былого и нисходящего к нему грядущего, мотив, существеннейший для Новалиса: «Старина помолодела» (Духовные песни. II).

²³ *Генриху вспомнился юноша...* — Так начинается превращение Генриха в этого юношу или обретение этого юноши в нем. «Магическая нить» предвосхищает пряжу древних сестер опять-таки в чудовищной пещере (см. гл. 9) и работу малютки Музы:

Все ваши нитки нужно
Мне воедино свить,
Чтоб сочегались дружно,
Одну составив нить.
(С. 82)

Это и есть «все взаимосвязи», составляющие в сплетении и расплетении роман.

²⁴ *Королева светлых жен* — Дева Мария. К Ней обращается сам Генрих в своей песне из второй части романа, а также в «Духовных песнях»: «И на иконах ты прекрасна, / Мария, вечен образ Твой» (Песнь XV). Марией звалась жена графа Гогенцоллерна. Именем «Мария» называет свою мать таинственная девушка из второй части. Мария — также истинная мать самого Генриха.

²⁵ *Фридрих и Мария фон Гогенцоллерн.* — Граф Фридрих III фон Цолре принадлежал к сви-

те Фридриха Барбароссы и его сына Генриха VI, который пожаловал его в 1191 г. бургграфством Нюрнбергским.

²⁶ *...историку нельзя не быть поэтом...* — Размышления графа фон Гогенцоллерна об истории и поэзии перекликаются с «Поэтикой» Аристотеля: «Ибо историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозою (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), — нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия говорит об общем, история о единичном» (пер. М. Л. Гаспарова) (*Аристотель. Поэтика*. IX. 1451r. 2). Подобные мысли высказывает и английский поэт Филипп Сидней в своей «Защите Поэзии» (1580): «Так Геродот озаглавливал свою Историю именами девяти Муз; и он, и его последователи либо похищали нечто, принадлежащее поэзии, либо присваивали ее себе: пылкие описания страстей, многие подробности битв, которых никто не может подтвердить, а если кто-нибудь вздумает это оспорить — длинные речи королей и предводителей, наверняка никогда не произнесенные теми. Так поистине ни философ, ни историограф не могли бы пройти через врата распространенных суждений, не обзаведись они великим паспортом поэзии, которая все еще присутствует среди народов, где образованность не процветает» (пер. мой. — В. М.). У самого Новалиса в набросках к роману читаем: «Эпический период должен стать историческим действием, чьи сцены связаны повествованием».

²⁷ *...неуклонное умиротворение в природе...* — О подобном умиротворении речь идет и в «Учениках в Саисе» (см. с. 118). В «Общем черновике» Новалиса (Собрание материалов к энциклопедистике, 1798—1799 гг.) говорится: «Срединные горы наиболее богаты разнообразными окаменелостями. Новейшее мирное время менее склонно порождать диковинные произведения и образования — поэтому в новейших слоях находится меньше минералов. Богат преимущественно базальт. Первые революции (имеются в виду геологические революции. — В. М.) были просты, но мощны — революции в основе. Последующие уже образованнее, многообразнее. Зато их произведения чаруют разнообразием своих формирований, масс и колоритов. Новейшие революции были скорее революциями поверхности — они частичнее, локальнее, их произведения монотонны и в большей степени являются вариациями прежних произведений».

²⁸ *...волшебные сады.* — Их описание соотносится со сказкой из девятой главы: «...под сенью металлических ветвей виднелись хрустальные стебельки; там счету не было цветам-самоцветам и плодам-бриллиантам» (с. 74).

²⁹ *Двое наших детей...* — В набросках к роману сказано: «Дети не умерли». Очевидно, из этих двух детей одна — Циана, таинственная девушка из второй части, открывающая Генриху имя «нашей Матери» (с. 98). Другой из двух детей графа фон Гогенцоллерна и Марии — сам Генрих.

³⁰ *...он довольно ясно распознал себя самого среди других обликов.* — Книга, предложенная отшельником Генриху, не что иное, как идеальный прообраз романа «Генрих фон Офтердинген». Жизнь Генриха предвосхищена и завершена этим абсолютным романом.

³¹ *...другие образы...* — На рисунках Генрих видит продолжение своей жизни, т. е. предлагаемую вторую часть романа.

³² *Он часто видел себя в обществе некоего величавого мужа.* — Очевидно, это поэт Клингсор, он же король Атлантиды (см. гл. 2), он же отец Матильды, которая станет возлюбленной Генриха. Встреча с Клингсором предстоит Генриху в следующей главе романа.

³³ *Генрих узнал, что книга написана по-провансальски.* — Этим объясняется сходство «неприятного языка» с латынью и с итальянским. Гердер назвал провансальскую поэзию «утренней зарей новейшей европейской культуры и поэзии». Отсюда название книги Ницше «Утренняя заря», которую сам Ницше соотносил с другой своей книгой «Веселая наука» (явный отсыл к Провансу, в связи с чем автор говорит об удивительной ранней культуре провансалов, восстающей против всех двусмысленных культур («Ессе Ното»)). Фридрих Шлегель, друг Новалиса, называл провансальскую поэзию ядром трансцендентальной и романтической поэзии.

Глава шестая

¹ ...старого Шванинга. — Деду Генриха, Шванингу, отводится символическая роль уже в девятой главе первой части (сказка), где тот уподобляется месяцу, а его встреча с дочерью представлена в стихах:

На троне Месяц тосковал,
Нахмутив скорбный лик.
Узнал он дочь, возликовал,
Счастливый, к ней приник.

(С. 79)

В набросках ко второй части Шванинг выступает именно в своем символическом (космическом) образе: «Шванинг — месяц... Месяц становится директором театра». Упоминается и возможная связь Генриха с театром: Генрих приходит из театра (к театру). Мистериальный театр, где директор — месяц, по всей вероятности, образуется после того, как сгорит солнце и восторжествует София.

² ...некий муж... — «Мастер Клингсор из Венгрии» упоминается в старинной немецкой хронике. О нем говорится, что это ученый и мудрый муж, учитель семи свободных искусств, а также поэт. Кроме того, он астролог, заклинатель мертвых, князь духов. Согласно наброскам ко второй части, Генрих говорит с Клингсором о таинственных знаменьях. Однажды ночью Генрих слышит песню, которую сам же прежде сложил. Генрих стремится на гору Кифхейзер, в недрах которой таится император Фридрих Барбаросса (см. ч. 1, гл. 1 и примеч. к ней). Клингсор уносит Генриха туда на своем плаще. В то же время Клингсор — король Атлантиды, о чем шла речь во второй главе. Брак с его дочерью делает поэта наследным принцем:

И ты, поэт, как принц наследный,
Взойдешь на королевский трон.

³ *Этот величавый облик...* — Предполагается, что Новалис придал Клингсору сходство с Гёте, чьи принципы распознаются также в уроках поэтического искусства, которые Клингсор дает Генриху в главах седьмой и восьмой.

⁴ ...в сопровождении прекрасной Матильды... — Одни комментаторы узнают в Матильде умершую невесту Новалиса Софи фон Кюн, другие находят в ней черты Жюли фон Шарпантье, его второй невесты.

⁵ *Отцу Матильды случалось бывать в Венгрии...* — Выходцем из Венгрии называет Клингсора старинная хроника.

⁶ *Блаженство жизни представилось ему поющим деревом...* — Согласно наброскам, поющим (звучащим) деревом оборачивается сам Генрих.

⁷ *Дерево вражды.* — Поющее дерево поэзии противопоставляется райскому дереву познания.

⁸ *Не приближайся к подземелью...* — По старинным обычаям виноделов, вход в погреба запрещен, когда вино зреет.

⁹ *В своем хрустальном одеянье...* — Имеется в виду хрустальный кубок или бокал.

¹⁰ *Несет он розы...* — По обычаю древних римлян, роза подвешивалась над пирующими в знак того, что не подобает разглашать высказываемое во хмелю. Отсюда латинское выражение «sub rosa», то есть конфиденциально. Новалис употребляет это выражение в своих письмах.

¹¹ ...дивными грезами. — Генриху снится будущая смерть Матильды, подразумеваемая началом второй части. В набросках сохранилось такое не вполне связанное повествование: «Поэт утрачивает возлюбленную во время купанья, — скорбит о ней до старости — вскоре после ее смерти некий дивный муж дает ему ключ — и говорит, что ключ этот должно передать императору, а тот скажет поэту, что делать дальше. Ночью у постели поэта верная служанка его возлюбленной поет песню — в ней упоминание глубокой воды и намек на то, где ле-

жит ключ — его украл ворон во время сна. Поэт находит ключ там, где исчезла его возлюбленная, — идет к императору — тот очень рад — передает ему [древнюю] грамоту, где написано: некий человек принесет ему однажды золотой ключик именно такой (той же) формы, тому человеку следует показать эту грамоту, тот укажет ему, согласно описанию и стиху, где таится талисман, сокровище императорского дома, карбункул, для которого оставлено место в короне, — поэт ищет клад; он по описанию должен находиться там, где пропала возлюбленная, — находит спящую возлюбленную — будит ее, извлекая карбункул из чашечки цветка на ее груди, — у ее гроба сидит неземная маленькая девочка, которая показывает ему карбункул, омолаживая его своим дыханием» (*Novalis. Schriften: In 4 Bd. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 337*). В этом отрывке характерное для Новалиса смешение сна и яви, превращение будущего в прошлое и прошлого в будущее — прием, подхваченный и разработанный прозой XX в. (Майринк, Борхес, Милорад Павич).

¹² *Палмоводная голубая река...* — В первой главе второй части «зеркальные воды пугали и завораживали своим блеском» (с. 94). Очевидно, Генрих снятся эти воды. В то же время река в его вещем сне напоминает Лету, реку забвения. У Данте в «Божественной Комедии» она протекает в Чистилище. С этой рекой у Данте связана Матильда (*Purg. XXVIII. 40*). Не отсюда ли Матильда у Новалиса?

¹³ *...чудесное сокровенное слово...* — В набросках к роману:

Тайное слово одно таково,
Что сгинет превратное естество.

Эти стихи цитирует Людвиг Тик (см. с. 106).

Глава седьмая

¹ *...сапфиру чистойшей воды.* — Возможно, Генрих имеет в виду сапфир синего (голубого) цвета, что сближает его с голубым цветком.

² *Тут следует различать...* — Поэтику Клингсора комментаторы сопоставляют с высказываниями Гёте. В таком случае приходится допустить, что Новалис приписал Клингсору воззрения на поэзию, противоположные собственным. При этом в романе, во всяком случае в написанных его частях, взглядам Клингсора на поэзию не противопоставлены никакие другие взгляды, что позволяет предположить: классическая или реалистическая концепция поэзии не настолько чужда Новалису, как принято считать. Аналогичные суждения мы встречаем в его поздних фрагментах. Среди фрагментов и штудий, писавшихся одновременно с романом (1799—1800), встречаются мысли, явно перекликающиеся с уроками Клингсора:

«Что поэзия не должна стремиться к эффектам, для меня совершенно ясно. Эффекты для нее безусловно пагубны, как болезни.

Я убежден, что холодная техническая рассудительность и спокойное моральное чувство скорее приводят нас к истинным откровениям, чем фантазия, которая, кажется, завлекает нас лишь в царство призраков, а это антипод истинного Неба.

Поэзия никогда не должна преобладать, всегда оставаясь лишь Чудесным.

Не следует изображать ничего такого, что не представляешь себе полностью, не созерцаешь совершенно отчетливо, чем не владеешь вполне, — это относится, например, к попыткам изображать сверхчувственное.

Нельзя ценить поэзию достаточно низко (эта фраза, явно парадоксальная для Новалиса, встречается и в набросках к роману).

Поэту нужен спокойный, внимательный дух, а также идеи или склонности, удерживающие его от земной деловитости и мелочных обстоятельств, свобода от забот — знакомство с различными людьми — многообразные воззрения — легкомыслие — память — дар красноречия — способность не прельщаться отдельным предметом, отсутствие страсти в полном смысле слова — многосторонняя восприимчивость.

Стихотворный размер — дело рассудка.

Рассудок и фантазия странным образом соединяются благодаря пространству и времени, и можно сказать, что каждая мысль, каждое явление нашего чувства — особеннейший член своеобразного целого.

Нет ничего полезней для поэта, чем беглое созерцание многих мирских предметов, их свойств, а также многообразие наук».

³ *Колыбель поэзии, Восток...* — Восточные корни поэзии принадлежат к любимым идеям Новалиса. В «Гимнах к Ночи» песнопевец, «под ясным небом Греции рожденный», посетив Палестину и предавшись всем сердцем дивному отроку, отправляется дальше на Восток, в Индостан, влекомый этими таинственными корнями. В третьей главе романа король Атлантиды — отпрыск древнейшего восточного рода, чем и объясняется его любовь к поэзии; родословная королевы восходит к Рустаму, любимому герою иранского эпоса, а брак с принцессой, их дочерью, делает поэта королем. Уроженка Востока, выведенная впервые в четвертой главе, занимает почетное место среди других провозвестников поэзии, подготавливающих Генриха к встрече с Клингсором и Матильдой. Этот культ Востока был распространен в эпоху, когда формировался Новалис. Так, Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803), оказавший влияние на молодого Гёте, предвосхитивший и навеявший многие чаянья немецкого романтизма, писал в своих «Идеях к философии истории человечества» (книга 19) о поэзии арабов: «Поэзия была древним наследием арабов, дочерью свободы, а не милости халифов. Она цвела задолго до Мохаммеда, ибо поэтическим был сам дух народа, и тысяча предметов пробуждала его. Что только не поощряло поэтические стремления — и страна, и образ жизни, и паломничество в Мекку, и поэтические состязания в Оккаде, и честь, которой удостаивался новый поэт от своего племени, и гордость, которую вызывал у народа сам язык, легенды народа, склонность к приключениям, любви, славе, даже и одиночеству, и мстительность, и жизнь странника; Муза арабов отмечена пышными образами, гордыми, великодушными чувствами, глубокомысленными речениями и какой-то безмерностью в похвалах и порицаниях. Выраженные в поэзии чувства и мысли — это словно скалы, угловатые, одинокие, устремляющиеся к небу; в устах молчаливого араба пламя слов — словно молния меча, стрелы острого ума — словно стрелы лука. Пегас его — благородный конь, иногда непреметный, но понятливый, верный, неутомимый. А поэзия персов, которая, как и сам персидский язык, произошла от арабской поэзии, стала более спокойной и веселой, как подобает самой стране и характеру народа; персидская поэзия — дочь земного рая. И хотя ни арабская, ни персидская поэзия не желала, не могла подражать художественным формам греков — эпосу, оде, идиллии, тем более — драме, не подражала им и тогда, когда ближе познакомилась с ними, поэтический дар персов и арабов, и именно поэтому, сказался очень явственно и украсился своими особыми красотоми. Ни один народ не может похвалиться столькими покровителями поэзии, сколько было у арабов в лучшие времена их истории, — в Азии они своей страстью к поэзии заражали даже татарских, в Испании — христианских князей и вельмож. *Gayà sciència* (прованс. «Веселая наука» — такое название рыцарская провансальская поэзия XI—XII вв. получила в XIV в. — В. М.) поэзии Лимузена и Прованса словно навязана, словно напета в уши врагами христиан, соседями-арабами, так постепенно, медленно, непослушно Европа училась внимать более тонкой, живой поэзии». (Гердер И. Г. *Идеи к философии истории человечества* / Пер. и примеч. А. В. Михайлова. М.: Наука, 1977. С. 572). Гердер неосновательно приписывает персидскому языку арабское происхождение, хотя персидский язык относится к индоевропейским, а арабский — к семитским языкам и можно говорить лишь об арабском влиянии на персидскую письменность и поэзию в связи с распространением ислама, но в остальном он довольно точно описывает воздействие восточной поэзии на Европу, и переключки Новалиса с Гердером очевидны, в особенности когда Гердер далее говорит о романтическом характере арабского странствующего рыцарства в соединении «с нежной любовью».

Глава восьмая

¹...*воителями тайне движет романтический дух...* — Поэзия войны — сокровенная тема романа. Она связана с поэтизацией смерти и восходит к древним арийским мифам, полагающим, что бессмертие даровано человеку героической смертью в бою. В творчестве Новалиса намечается обратная связь: война — поэзия, поэзия — война. В набросках к роману есть ряд парадоксов на эту тему:

Все элементы войны в поэтических красках. Великая война, как единоборство, — исключительно щедра — философична — гуманна. Дух древнего рыцарства. Рыцарский турнир. Дух вакхического томления.

Люди должны убивать друг друга сами, это благороднее, чем пасть жертвой судьбы. Они ищут смерти.

Честь, слава и т. д. — упоение воителя и жизнь. В смерти и как тень живет воитель.

Упоение смертью — дух войны. Романтическая жизнь воителя.

На земле война у себя дома. Война должна быть на земле.

²...*удел вестника Божьего...* — Таким образом, к Новалису восходит «дар вестничества», которому Даниил Андреев посвящает существеннейшие страницы своей «Розы мира»: «Вестник — это тот, кто будучи вдохновляем даймоном, дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющиеся из миров иных» (Андреев Д. Л. Роза мира. М., 1991. С. 174).

³...*в поэзии всегда нужен хаос...* — Этим высказыванием Клингсора явно предвосхищен Ф. И. Тютчев, который был знаком с поэзией Новалиса:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди, —
Под ними хаос шевелится!..

Сюда же (к Новалису и к Тютчеву) восходят мысли В. С. Соловьева о хаосе: «Но Бог любит хаос в его небытии, и Он хочет, чтобы сей последний существовал... Поэтому он дает свободу хаосу... и тем выводит мир из его небытия» (см.: *Зенковский В. В. История русской философии*: В 4 т. Л.: Эго, 1991. Т. 2. С. 46).

⁴*Сам помню...* — Немецкие комментаторы относят самокритику Клингсора к ранним поэтическим опытам самого Новалиса. Высказывание Клингсора о собственной юношеской поэзии перекликается с критическим отзывом Фридриха Шлегеля по поводу юношеских стихов Новалиса: «Крайняя незрелость языка и версификации, постоянные беспокойные отклонения от истинного предмета, в большой степени длинноты и чрезмерное изобилие полузаконченных картин, как при переходе хаоса в бытие мира, согласно Овидию, — не мешают мне почуять в нем нечто сулящее хорошего, может быть, большого лирического поэта — оригинальную и прекрасную манеру чувствований и восприимчивость ко всем их оттенкам». Отзыв написан в январе 1792 г. (Новалису еще не исполнилось 20 лет). Знаменательно в этом контексте упоминание хаоса, переходящего в бытие мира.

⁵...*упоение, которым живет поэзия.* — К этому высказыванию Генриха восходят некоторые философские построения Мартина Хайдеггера: «Высказывание мышления переводится лишь в диалоге мышления с высказываемым. Мышление — сочинительство, и при этом не только сочинительство в смысле поэзии и песни. Мышление бытия — первоначальный лад сочинительства. В нем язык прежде всего обретает себя, то есть свое существо. В мышлении высказывается диктат истины бытия. Мыслить изначально — значит возвещать (dictare). Мыш-

ление — первичное сочинительство, предшествующее всей поэзии, а также поэтическому в искусстве, насколько искусство действует в области языка. Всякое сочинительство в этом более широко и более узком смысле поэтического есть в своей основе мышление. Сочиняющее существо мышления сохраняет господство истины бытия» (пер. мой. — В. М.) (*Heidegger Martin. Holzwege. Frankfurt am Main, 1994. S. 328—329*).

⁶ *Он же там, где двое сошлись.* — «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20). Новалис пишет в первой из «Духовных песен»:

Где соберутся только двое,
Спаситель третьим среди них.

⁷ *...изначальную вечность* — Любовь к вечному прообразу земного существа, раскрывающемуся в любви к этому существу, — сокровенная тема немецких мистиков. Борение стихий напоминает Якоба Бёме. В оригинале борение стихий соотносится с глаголом «quellen» («бить ключом»). Это любимый глагол Якоба Бёме, ключ к его философии, вернее, ключ, из которого она бьет. По Якобу Бёме «быть» значит «бить» (ключом). Поэтому в его поэтической этимологии слова «Quelle» («родник, источник»), «Qual» («мука», «страдание») и «Qualität» («качество») оказываются родственными и даже происходящими, «бьющими» одно из другого: «Когда свет восходит, один дух видит другого. И как сладостная родниковая вода в свете течет через всех духов, так один вкушает другого. И сразу же духи оживают, и стихия жизни пронизывает всё. И в этой стихии один чувствует другого, и через это источничество и пронизывание один другого чувствует, и нет больше ничего, кроме сердечной любви и дружественного томления, обоняния, благовкушения и любочувствия, блаженное целование, причащение друг другом, упоение друг другом, наслаждение друг другом. Вот блаженная невеста, ликующая в своем женихе, в них любовь, радость и отрада» (пер. мой. — В. М.) (*Böhme Jakob. Aurora, oder Morgenröte im Aufgang. Frankfurt am Main; Leipzig, 1992. S. 181—182*). Противопоставление земной тени истинному образу идет от Платона.

Глава девятая

Сказкой Клингсора завершается первая часть романа, но в этой сказке представлены практически все его сюжетные, мифические и мистические линии, так что она одновременно подытоживает предшествующее и предвосхищает дальнейшее как настоящее средоточие. В предыдущей главе Клингсор говорит, что сказка сочинена им в молодости. Так Новалис, возможно, подчеркивает собственную поэтическую молодость. Сказка до известной степени ориентируется на «Сказку» Гёте, опубликованную в 1795 г., в то же время отталкиваясь от нее и полемизируя с ней. «Сказка Гёте — рассказанная опера», — писал Новалис в своих фрагментах, посвященных поэзии. Сказка должна была проецироваться на все остальное творчество Новалиса: «Фантазии, как моя сказка, о чудеснейших предметах». При этом фантазия выступает здесь не как вымысел, а как высшая форма реальности, так что сказка в определенном смысле реальнее «исторических» событий, представленных в романе. Каждое из этих событий должно являться тенью истинных прообразов, действующих в сказке. О параллелях сказки с Востоком, как его представляли себе в то время, позволяет судить фрагмент из «Идей к философии истории человечества» Гердера: «Прежде всего под небом Востока складывался самый фантастический род поэзии — сказка. Древние легенды рода, которых никто не записывал, со временем сами становились сказкой, а если воображение народа, рассказывавшего сказки, настроено на всяческие преувеличения, непонятности, на все возвышенное и чудесное, то даже обыденное превращается в редкостное, даже знакомое во что-то особенное, и вот к такому-то рассказу о редкостном и особенном с удовольствием прислушивается, учась и развлекаясь, праздный араб в своем шатре, в кругу общества или на пути в Мекку. Уже во времена Мохаммеда среди арабов появился персидский купец, рассказы которого были столь приятны, что Мохаммед опасался, как бы они не превзошли сказки Корана — и на самом деле ка-

жется, что самые лучшие произведения восточной фантазии — персидского происхождения. Веселая болтливость персов, их любовь к пышности и роскоши придали их древним легендам своеобразную романтическую и героическую форму, которую возвышают фантастические создания — преобразованные фантазией животные близлежащих гор. Так возникла страна фей — пери и нери — у арабов нет даже слов, чтобы называть их — и эти пери проникли и в романы средневековой Европы. Позднее арабы свели свои сказки в целый цикл, причем блестящее правление халифа Гарун-аль-Рашида послужило сценой, на которой разворачиваются все события, а такая форма рассказа послужила Европе новым образцом — как скрывать тонкую истину в фантастическом одеянии невероятных событий, как преподавать изощреннейшие уроки жизненной мудрости в тоне пустого времяпрепровождения» (*Гердер И. Г. Указ. соч. С. 573*).

¹ *Древний Витязь* — имя его — Железо (см. с. 75), он же Персей (см. с. 87). Не исключено, что Новалис соотносит его также с Хеймдалем, который, согласно древнегерманским сказаниям, является стражем богов и обитает на краю небесного царства. Хеймдаль — обладатель рога. Он затрубит в этот рог, когда наступит конец мира. Кроме того, имеются основания отождествлять Древнего Витязя с горняком из пятой главы.

² *Особенно хорош был обширный сад...* — В пятой главе горняк описывает подземные сады аналогичным образом.

³ *...дочь Арктура.* — Ее имя Фрейя, а Фрейя — древнегерманская богиня любви. Растирание тела — прием, характерный для магнетической практики. Фрейю окутывают тканью небесной голубизны, в связи с чем Новалис пишет в набросках к роману: «Всё голубое в моей книге». Прикосновение к щиту Железа напоминает магнит. Арктур — звезда в созвездии Волопаса, самая яркая среди звезд, видимых в Северном полушарии. В письмах к Фридриху Шлегелю Новалис называет короля Арктура также Случаем и Духом Жизни. Во второй части романа Арктуром должен был оказаться император Фридрих. (По свидетельству Людвиг Тика, вся вторая часть вообще задумана как свершение сказки, которой заканчивается первая часть.) Король Арктур разлучен со своей супругой Софией (София — Вечная Мудрость, как писал Якоб Бёме в своем трактате «Описание трех принципов Божественного Существа»). София, супруга Арктура, снизошла в мир людей, и потому царство Арктура заковано льдом. Дворец Арктура населен стихиями и созвездиями. Сам Арктур скажет о себе: «Пока еще мне нельзя явить себя, ибо я не король, пока я один».

⁴ *...возвестила ненаглядная птица...* — Впоследствии выясняется, что это Феникс. Созвездие Феникса всходит над Музой, перед тем как она начинает петь и прясть (с. 82). В набросках к роману сказано, что Феникс садится на прялку Музы. По древнему преданию, Феникс прилетает каждые пятьсот лет в свой храм в Гелиополе (Сирия), где сжигает себя и возрождается из пепла. В средневековом «Бестиарии любви» (XIII в.) о Фениксе говорится:

Когда кончину феникс чует,
Он смерть по-своему врачует.
Гнездо себе свивает он:
Нард, ладан, мирра, кинамон,
Благоухания другие
И самоцветы дорогие.
Сам феникс на гнезде своем,
Готовый сжечь себя живьем.
Он пламя клювом высекает,
Огонь, как саван, облекает
Неустрашимого тогда.
Из пепла, словно из гнезда,
Он вылетает, возрожденный,
Бессмертием вознагражденный.
(*Пер. В. Микушевича*)

Примечательно, что среди веществ, из которых феникс вьет свое гнездо, упоминаются некоторые из даров, преподнесенных волхвами младенцу Христу. Таким образом, самосожжение феникса соотносится с жертвенной смертью и воскресением Христа. Средневековый мыслитель Альберт Великий (XIII в.) говорит, что феникс «более божественной наукой, чем естественной, изучается» (Средневековый bestiарий. М.: Искусство, 1984. С. 165). Само имя «феникс» выводится из слова «rhoenicium» («пурпур»), относящегося к расцветке перьев.

⁵ *Эрос* (Эрот). — Согласно одному из древнегреческих мифов, бог чувственной любви, сын Афродиты. Впрочем, в диалоге Платона «Пир» об Эроте (Эросе) говорится несколько иначе, что, возможно, имеет отношение как раз к сказке Клингсора. Ссылаясь на слова Диотимы, «женщины, очень сведущей и в этом, и во многом другом», Сократ говорит, что Эрот — великий гений или демон, а это нечто среднее между богом и смертным: «Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство гениев — и наяву и во сне». Согласно этой версии, Эрос зачат Поросом, сыном Метиды (Порос — Богатство, Метиды — Мудрость), и Пенией (олицетворение бедности) (см.: Платон. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 113). В сказке Клингсора Эрос — сын Отца и Матери.

⁶ *Джиннистан* — изобильная Фантазия, дочь Месяца. Поскольку с Месяцем отождествляется старый Шванинг, Джиннистан — мать Генриха, Фантазия, а сам Генрих, по крайней мере в одной из своих ипостасей, — Эрос, хотя в сказке Джиннистан — лишь его нянька или кормилица. Имя «Джиннистан» заимствовано Новалисом у Виланда, из его предисловия к сборнику «Джиннистан, или Избранные сказки о феях и духах, частью заново сочиненные, частью вновь переведенные и обработанные» (Winterthur, 1786—1789). Имя «Джиннистан» придает сказке Клингсора восточный колорит, возвращая нас к характеристике восточной сказки у Гердера: «...под небом Востока складывается самый фантастический род поэзии — *сказка*» (см. с. 231). В то же время нельзя не вспомнить, что арабская традиция связывает поэтическое искусство именно с воздействием джиннов, аналогичных греческим гениям или демонам. Встретив поэта Зухайра, пророк, по преданию, воскликнул: «Аллах! Охрани меня от сидящего в нем джинна» (Аравийская старина. М.: Наука, 1983. С. 131).

⁷ *Муза* — в оригинале «Fabel», Поэзия, внебрачная дочь Отца и Джиннистан, сводная сестра Эроса. Малютка Муза — вечное дитя. Она посланница старины, но никогда не взрослеет (с. 81).

⁸ *Переписчик писал как ни в чем не бывало...* — В письме к Фридриху Шлегелю Новалис называет Переписчика окаменевшим и окаменяющим рассудком. Таким образом, Переписчик — олицетворение рационализма.

⁹ *Отец то появлялся, то снова исчезал...* — Отец олицетворяет Разум или разумное единство всех чувств с сердцем (сердце — Мать), но Отца все время прельщает или совращает Джиннистан (Фантазия).

¹⁰ *Госпожа* — София, Премудрость, супруга Арктура, разлученная с ним злыми временами.

¹¹ *...цифры и геометрические фигуры...* — символы мертвящей рассудочности или превратного сознания. Они развенчиваются стихами, предназначенными для второй части романа: «Когда в числе и в очертанье / Не раскрывается созданье...» (с. 106).

¹² *Гибкая железная спица* — осколок меча. Древний витязь Железо метнул по приказу короля Арктура свой меч в мир; меч врезался в скалу, и вдали разлетелись осколки (см. выше). Гибкая железная спица — магнитная стрелка. Переписчик устанавливает ее практическое назначение: указывать на север. Джиннистан (Фантазия) играет со спицей, и спица превращается в змею. Когда Эросу в люльке удастся поймать змею, которой играет его кормилица Фантазия, Эрос преисполняется сил, выпрыгивает из люльки и превращается из младенца в отрока. Змея в его руках указывает путь на север, где будет основано Царство Вечности (см.: «Малютке-змеяке север мил...», с. 79). Натурфилософия рассматривала магнетизм как одушевление материи.

¹³ *...ужалившую себя в хвост.* — Змея, жалающая себя в хвост, — древний гностический и алхимический символ космического круговорота, обозначающий также единение мужского и

женского в едином существе (андрогин). Так, Джиннистан совращает сначала Отца, потом Эроса (намек на грехопадение, вызванное «змеиной» мудростью).

¹⁴ *Джиннистан обернется твоей матерью...* — Это превращение Джиннистан (Фантазии) в Мать (Сердце) проливает истинный свет на образ матери в первых главах (Фантазия и Сердце, превращающиеся друг в друга). В первой главе второй части юная девушка скажет Генриху: «Мать не одна, потому что Она одна-единственная». Она же добавит к этому: «У тебя не один отец, как не одна мать» (с. 98). В сказке начинает раскрываться истинный смысл этих высказываний.

¹⁵ *Записи Джиннистан.* — Возможно, это роман на провансальском языке; Генрих листает этот роман в пещере отшельника, узнавая в романе свою судьбу, но не понимая языка (см. с. 54–55).

¹⁶ *Любовь идет ночным путем...* — В стихотворении символически представлено путешествие Генриха с матерью из Эйзенха в Аугсбург (см. гл. 1–6). Примечательно, что Эрос выступает в стихотворении в женском образе как любовь, что соотносится с малюткой змейкой, указывающей или намекающей на андрогина.

¹⁷ *...причудливый королевский двор...* — Этот двор со своей сокровищницей (см. ниже) переключается с содержанием пятой главы, в которой природа вверяет Генриху свои сокровенные прелести и клады (см. с. 46).

¹⁸ *...позабавить Эроса игрой...* — Согласно наброскам к роману, Месяц — директор театра. Игра возвращает нас к сну Генриха в первой главе романа. Переменчивая голубизна, млечно-голубые воды напоминают голубизну цветка, и мистерия действительно завершается видением чудо-цветка. Его образует Эрос в одном соцветии со своей возлюбленной (см. пролог ко второй части романа: «Они в едином образе отныне»).

¹⁹ *...утолить жажду влагой из сосуда...* — Этот сосуд дает путникам на дорогу София (см. с. 77). Утаивая от Эроса влагу Мудрости, Фантазия совращает его в Царстве Грез.

²⁰ *Сфинкс* — загадочное существо из египетской и греческой мифологии. Тело льва сочетается в сфинксе с телом женщины (отсюда «сфинга»). При этом у сфинкса орлиные крылья. В греческом мифе Эдип разгадывает загадку сфинги, и та бросается в пропасть. В сказке Новалиса сфинкс, подобно египетским сфинксам у входа в пирамиды, преграждает доступ в царство мертвых. Сфинкс и маленькая Муза, дважды вступая в диалог, обмениваются загадками, и в конце концов над сфинксом торжествует Муза.

²¹ *Древние сестры.* — Очевидно, это три Парки, богини судьбы из греческой мифологии. Они прядут нити человеческих судеб. Отсюда образ прядки и веретена.

²² *Приератница* — Сфинкс, или Сфинга. Сфинга душила в своих объятиях каждого, кто не разгадал ее загадки.

²³ *Хорошее предзнаменование...* — Созвездие Феникса в южном небе символизирует вечное возрождение (см. примеч. 4).

²⁴ *...корень мандрагоры.* — Согласно древним поверьям, мандрагора, которую Пифагор называл человекоподобным растением, среди других своих чудесных особенностей обладает свойством сводить человека с ума. В сказке Новалиса Переписчик-рассудок, вооруженный мандрагорой, берет верх над Разумом (Отец) и держит его в заточении на хлебе и воде. Переписчик питает особую вражду к Матери (Сердце), которая заставляет жестоких богинь судьбы продлевать нити человеческих жизней. В сказке рассудок — союзник судьбы. Современник Новалиса Фридрих Гёльдерлин (1770–1843) видел пребывание небожителей «вне судьбы»:

Вне судьбы, словно спящий младенец,
 Дышите вы, небожители.
 Девственно скрытый
 В скромном бутоне
 Вечным цветом
 Дух ваш цветет...
 (Пер. В. Миклушевича)

²⁵ ... в кругу своих советников. — Советники короля — созвездия, видимые в северном небе, в отличие от Феникса. Созвездие Лиры — одно из них.

²⁶ Эридан — также созвездие и река, в которую рухнул Фаэтон, сын Гелиоса, согласно греческому мифу (Гелиос — бог солнца).

²⁷ ...увидела свою мать... — Мать Музы Фантазия (Джиннистан) изнурена, но и одухотворена ласками Эроса.

²⁸ ...я обрела бессмертие. — Бессмертие даровано Фантазии Любовью.

²⁹ ...ослепительные крыла... — Крыла вырастают у Эроса от чувственных утех.

³⁰ ...полчища маленьких причудликов... — Имеется в виду чувственные вождения, похожие на их деда (их дед — отец Эроса). В поэзии их называют amoretti (так назвал свои сонеты английский поэт Герберт Спенсер (1552–1599)). Из этого прозвания явствует, что дед маленьких причудликов — Амог, отождествляемый с Отцом.

³¹ Тарантулы — ядовитые пауки. У Новалиса — олицетворение нечистых страстей. Парки нуждаются в них, чтобы укорачивать нити человеческих жизней.

³² ...огнистое солнце... — В сказке Клингсора солнце выступает как злое гибельное начало, союзное Переписчику. Сожжение солнца кладет конец чередованию дня и ночи, и время сменяется вечностью, как сказано в Апокалипсисе: «И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Которым сотворил небо и всё, что на нем, землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нем, что времени уже не будет» (Откр. 10: 5, 6). После сожжения солнца наступает Золотой век. Вот почему Переписчик со своими приспешниками ужасается, когда сгорает солнце.

³³ ...огненную смерть Матери. — В сказке сердце уничтожается рассудком (Переписчиком). В первом наброске на костре должна была сгореть Любовь (Эрос), чтобы возродиться из пепла. Но потом Новалис зачеркнул слово «Любовь» и написал «сердце». При сожжении Солнца и при огненной смерти Матери знаменательно голубое покрывало Софии, кольшущееся над землею.

³⁴ Тот, кто постиг самого себя. — «Познай самого себя» — изречение, начертанное в Дельфах на храме Аполлона. Традиция приписывает это изречение спартанцу Хилону, одному из семи мудрецов. Изречением «Познай самого себя» руководствовался Сократ в своей философии. Новалис придает самопознанию алхимический смысл:

В мире внешнем нигде не найти философского камня,

Мудрый обрящет его только в самом же себе.

Благоразумный адепт эликсирами пренебрегает,

И превращает он всё в чистое золото, в жизнь.

В нем таится король, в нем священная колба дымится,

Дельфы в нем. Он постиг мудрость: себя ты познай!

(Пер. В. Мухоморова)

³⁵ София. — В обоих диалогах Муза торжествует над сфинксом именем Софии.

³⁶ Моя врагиня пала. — Врагиня короля Арктура — солнце, при котором звезды меркнут. В оригинале «*versenkt*» («поникла»). Возможно, что в рукописи было «*versengt*» («сожжена»). Во всяком случае эти глаголы друг друга напоминают.

³⁷ ...я не король, пока я один. — См. примеч. 3.

³⁸ Персей — по греческому мифу, сын Зевса и Данаи; отрубил голову Медузе и водрузил ее на щит Афины. Созвездие Персея в северном небе. У Персея огромный железный щит, так что в Персее распознается Древний Витязь Железо, отождествляемый с горняком из пятой главы романа (см. примеч. 1).

³⁹ ...Турмалин, Цветовод и Золото. — Турмалин, или шерл, — минерал красного, бурого или малинового цвета. Легко электризуется трением или нагреванием; тогда на одном конце кристалла обнаруживается положительное, а на другом отрицательное электричество. Цветовод — цинк. Король уже поручал ему добыть цветов (см. с. 87). Турмалин, цинк и золото — три элемента гальванизма.

⁴⁰ *Не пропадать же пеплу моей приемной матери...* — Муза говорит о пепле сердца. В наброске к сказке говорится: собирать пепел турмалином (турмалин притягивает к себе частицы пепла).

⁴¹ *Древний миродержатель* — древний исполин, великан Атлас, согласно греческому мифу, один из титанов, сын Иапета и Климены, брат Прометея; на Крайнем Западе обречен поддерживать небесный свод. В сказке Новалиса его пробуждает «гальваническое раздражение», как сказано в наброске.

⁴² *Геспериды* — дочери Вечера (Геспер — вечерняя звезда). На склоне горы Атлас Геспериды хранят сад, где растут золотые яблоки. В сказке Новалиса сад Гесперид — обледеневший сад Арктура (см. с. 74).

⁴³ *Жених* — очевидно, Отец, Разум или Amor.

⁴⁴ *Цинк укрепил свою цепь...* — то есть цепь гальванической реакции.

⁴⁵ *Золотом дарована цепь, что связует грудь его и море.* — Та же самая цепь, которую Цинк укреплял на груди Джиннистан, чтобы пробудить Отца. Согласно наброску к сказке, процессу пробуждает гальваническая дуга.

⁴⁶ *Вечные узы...* — Таким образом, Отец Разум (он же Amor) сочетается браком с Джиннистан (Фантазией), Эрос вступает в брак с Фрейей (принцессой). Так поэт становится королем Атлантиды в третьей главе, заключив брак с принцессой, а «Небесная Мать обретается в каждом сердце», так как ее пепел, растворенный в слезах, — эликсир бессмертия.

⁴⁷ *Эта игра называется шахматами...* — Шахматы дарит молодому королю Персей (намек на персидское происхождение шахмат).

⁴⁸ *Там буду я улаживать вас увлекательными зрелищами...* — Не забудем, что Месяц (он же старый Шванинг), отец Джиннистан (Фантазии), становится директором театра и потому нуждается в сотрудничестве Музы.

⁴⁹ *Три карийтиды* — это Парки, окаменевшие, как и сфинкс. На них держится брачное ложе, в которое превратился трон... В царстве Софии любящие, как небожители, по Гёльдерлину, пребывают вне судьбы.

Часть вторая ОБРЕТЕНИЕ. МОНАСТЫРЬ, ИЛИ ПРЕДДВЕРИЕ

В набросках к роману встречается такой фрагмент:

«Старинная икона Божией Матери в дуалистом дереве над ним. Слышится голос — он должен построить капеллу. Под покровительством иконы девушка-пастушка, ее воспитывают видения. Икона посылает его к мертвым — обитатели монастыря — мертвые».

Этот фрагмент явно относится к началу второй части. Он проливает свет на ее название, объясняя, что это за монастырь. В собрании фрагментов «Цветочная пыльца», опубликованном при жизни Новалиса (1798), находится такой фрагмент: «Жизнь — начало смерти. Жизнь (существует) во имя смерти. Смерть — скончание и начало одновременно, разлука и теснейшие узы одновременно. Смертью завершается ограничение».

ASTRALIS

По замыслу Новалиса, во второй части, в начале и в конце каждой главы слово должно было предоставляться поэзии: «Между главами говорит Поэзия». Поэзию олицетворяет Астралис, сидерический человек или звездный дух. Он зачат первым поцелуем Генриха и Матильды на пиру, о чем напоминает сам Астралис: «Пир поцелуем кончился, не так ли?» Новалис пишет в набросках: «Рождение сидерического человека с первым объятием Матильды и Генриха». По древним восточным представлениям, первые люди и райские духи бывали зачаты поцелуем или взглядом. На образ Астралиса повлияло учение Якоба Бёме о семи духах-родниках, а также, возможно, воззрения Парацельса, известного оккультиста, алхимика и врача.

Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, прозванный Парацельсом (1493–1541), один из прототипов Фауста, учил, что в каждой частице природы присутствует архей (дух-начальник, предвосхищение лейбнищевской монады или субстанциального деятеля по Н. О. Лосскому), так что звездный человек Австралис в романе Новалиса мог быть вызван влиянием Парацельса.

¹ *Веселый вечер тот* — вечерний пир в доме старого Шванинга (см. гл. 6).

² *Обрел я самого себя в тот миг...* — Представление о мысли, обретающей тело, встречается у Парацельса.

³ *...И стала боль моя невыносимой.* — Немецкие комментаторы усматривают в соответствующих строках оригинала переключку с первой версией «Фауста» Гёте («Фауст. Фрагмент». 1790).

Стремлюсь я в мир и о земле ревную.
Снести бы счастье мне и боль земную.
(Пер. В. Миклушевича)

⁴ *Была светел холм...* — Эта строка переключается с «Гимнами к Ночи» (фраг. 3): «Облаком праха клубился холм — сквозь облако виделся мне просветленный лик любимой».

⁵ *...Пророчества тогда крылами стали.* — Вероятно, подразумеваются слова Клингсора, завершающие седьмую главу: «Дети мои! — произнес он. — Храните ваши узы вопреки самой смерти. Что же такое вечная поэзия, если не жизнь в любви и верности».

⁶ *...Всякий во всем, и всё во всяком...* — Эта строка и последующие построены на переключках с мистическим пантеизмом Якоба Бёме или даже на цитатах из его произведений.

⁷ *Пясть начинает Муза вновь.* — Здесь отчетливая переключка со сказкой Клингсора.

⁸ *Во мрак роняя пепел свой.* — Первый поэтический монолог Австралиса завершается прямым отсылком к сказке Клингсора: «Потом она (София. — В. М.) опрокинула урну с пеплом в чашу, стоявшую на жертвеннике... пепел, растворенный в слезах, — эликсир бессмертия» (см. с. 89).

Глава первая

¹ *...по узкой тропе.* — Среди набросков ко второй части романа сохранился такой вариант начала, озаглавленный «Видение»: «По узкой тропе медленно поднимался пилигрим из долины ввысь. День клонился к вечеру. [Однако] жара не была гнетущей. Довольно сильный ветер чувствовался в воздухе, и его глухая, расточительная [дикивинная] музыка терялась в неясных далях. Она делалась громче и отчетливее среди древесных вершин — так что иногда как будто слышались заключительные слоги и отдельные слова неведомого человеческого языка. В колебаниях воздуха, казалось, движется и колеблется сам солнечный свет. Все вещи приобрели неясный отблеск. [Но во всем таился некий смысл, и даже дневное тепло как будто колыхалось.] Пилигрим шел, погруженный в глубокие раздумья. [На вершине][через некоторое время] он сел на большой камень под старым деревом, еще зеленым снизу, но уже сухим и обломанным сверху».

² *...зеркальные воды пугали и завораживали своим блеском.* — Это воды реки, в которой утонула Матильда, как снилось Генриху (см. гл. 6).

³ *Бедная дева* — Циана, дочь графа Гогенцоллерна. Граф фон Гогенцоллерн (отшельник) упоминает двух своих детей в пятой главе первой части. Циану назовет по имени Сильвестр (см. с. 100).

⁴ *Мое дитя восторжествовало над смертью.* — Очевидно, «дитя» — Австралис, а таинственный голос принадлежит умершей Матильде, что и подтверждается тут же.

⁵ *Струны лютни вторили песне пилигрима.* — Из этой песни явствует, что в Генрихе пробудился поэтический дар. В его песне слышатся отголоски миннезингеров (в особенности Фридриха фон Хаузена, Генриха фон Морунгена и Рейнмара фон Хагенау).

⁶ *...сухие щепки.* — Возможно, намек на щепки от креста, на котором был распят Христос.

⁷ *Матерь Божья...* — Явная переключка с духовными песнями Новалиса (см. в особенности сти песнь XIV).

⁸ *У тебя не один отец, как не одна мать.* — Эта мистическая истина приобретает основополагающее значение в «Повести о Светомире Царевиче» Вячеслава Иванова. Так, в книге восьмой, написанной Ольгой Дешарт по наброскам Вячеслава Иванова, Александр Македонский говорит Светомиру: «...мать-то у нас одна, а отцов много. В каждом плане духа другой отец». И далее: «Одному Господу известно, от кого мы рождаемся и какого мы духа» (*Иванов В. И. Собрание сочинений.* Брюссель, 1971. Т. 1. С. 443, 456).

⁹ *Ты у врача Сильвестра.* — Прототип Сильвестра — предположительно, Парацельс (см. примеч. к прологу «Astralis»). Не исключено, что имя «Сильвестр» соотносится с кануном Нового года (вечер Сильвестра), когда вспоминают прошлое и гадают о будущем.

¹⁰ *Твой отец был не старше тебя...* — Эти слова Сильвестра возвращают нас к первой главе первой части, где отец Генриха рассказывает о встрече с ним. Сам Сильвестр упомянет в дальнейшем, что он уроженец Сицилии.

¹¹ *Циана.* — Имя это происходит от греческого *Kyanos* (василек); «*cyaneus*» — синий, так что возможна параллель с голубым цветком (по-немецки «синий» и «голубой» — одно слово «blau»).

¹² *Когда в мире будет властвовать одна только совесть...* — Существеннейшее для романа пророчество, его основополагающая идея, восходящая, по-видимому, к моральной философии Фихте. В своих фрагментах Новалис пишет: «Уже совесть подтверждает наше отношение к миру иному — нашу с ним связь — возможность перехода в иной мир — внутреннюю независимую мощь и состояние вне низменной индивидуальности». В духе этих идей Новалис формулирует в одном из своих «Диалогов» мысль, согласно которой мораль, в конце концов, не говорит ничего определенного, будучи лишь совестью, но, в отличие от Фихте, совесть, по Новалису, совпадает с поэзией. «Для меня совесть — лишь душа вселенского стиха...», — говорит Генрих (с. 102). Совесть как романтическая соборность (см. с. 102) переключается с фрагментом «Христианство, или Европа».

ЛЮДВИГ ТИК О ПРОДОЛЖЕНИИ РОМАНА

Перевод осуществлен по изд.: Tiecks Bericht über die Fortsetzung // *Novalis. Schriften.* In 4 Bd. mit einem Begleitband. 3. Aufl. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 359–369.

Людвиг Тик (1773–1853) — немецкий поэт-романтик, друг Новалиса. В письмах к Тикю Новалис подробно излагает замысел «Генриха фон Офтердингена». После смерти Новалиса Тик располагал паралипоменами к роману, набросками к нему, среди которых особое значение для второй части имеют так называемые «Берлинские бумаги». Тик широко использовал и весьма подробно процитировал их, реставрируя продолжение и возможную концовку. Вместе с тем следует отметить, что на самого Новалиса оказал определенное влияние роман Тика «Странствия Франца Штернбальда». Первая часть его вышла в 1798 г., когда замысел «Генриха фон Офтердингена» уже формируется. В частности, сочетание прозы со стихами в «Странствиях Франца Штернбальда» могло оказаться вдохновляющим примером для Новалиса.

¹ *Когда в числе и в очертанье...* — Эти строки, по всей вероятности, должен был произнести Астралис в завершение романа (см. примеч. 13 к гл. 6). Шестая глава завершается чаепьем чудесного сокровенного слова: «Генрих не пожалел бы всей своей жизни, лишь бы вспомнить это слово».

² *Наше тихое веселье...* — В набросках к роману этим стихам, называемым иногда «Песнь мертвых» (такого названия у Новалиса нет), предшествует сентенция: «Блаженны только мертвые». Далее следуют наброски в прозе: «Древние сокровища в могилах. Призраки. Свобода. Сожжение. Погребение. Дружественное лицо. Веселая жизнь — любовь. Богослужение. Прошедшее. Что они всё еще делают у живых. Смерть — высшая цель жизни».

³ *...Задуманно голубое...* — Соотносится с фрагментом в «Берлинских бумагах»: «Всё голубое в моей книге».

⁴ *Сбейте пряжки...* — К этим строкам, возможно, восходит концовка первой части шестого сонета к Орфею Рильке:

Славит он в горницах или в гробницах
 Пряжку-застежку, кольцо, кувшин.
 (Пер. В. Миклушевича)

⁵ *Век твой минул, дух земли!* — Явная переключка с «Фаустом» Гёте. «Фауст. Фрагмент» появляется в 1790 г. Как известно, задуман «Фауст» гораздо раньше, так что за сто лет до Ницше дух земли в трагедии Гёте произносит слово «сверхчеловек», относя его к Фаусту. В декабре 1800 г. Новалис обращается к Тику с вопросом о продолжении гётевского «Фауста», так что и дух земли, возможно, вписывается в полемику Новалиса с Гёте.

⁶ *Лоретто* — место паломничества в Италии (провинция Анкона). Согласно легенде, туда был перенесен из Назарета дом, где родилась Дева Мария.

⁷ «*De tribus impostoribus*» — «О трех обманщиках», средневековый вольнодумный трактат, по-видимому, восточного происхождения, приписанный императору Фридриху II. Весьма вероятно, впрочем, что трактат фактически исходит от суфиев, обвинявших Моисея, Иисуса и самого Мухаммеда в том, что они выдали присутствие Бога или Духа Божьего в своем существовании, а такое присутствие подобает хранить в тайне, и, чтобы сохранить эту тайну, надлежит обвинять в обмане каждого, кто это присутствие выдает, в особенности когда такое присутствие истинно. Так был казнен проповедник суфизма аль-Халладж (922), сказавший о себе: «Я есмь Истинный (Бог)». Упоминание трактата свидетельствует в таком случае о влиянии суфизма на Новалиса.

⁸ *Манессовская рукопись* — «Большое Гейдельбергское рукописание песен», во времена Новалиса хранившееся в Париже. Первый издатель рукописания Бодмер озаглавил его по имени главы Цюрихского городского совета, рыцаря Рюдигера Манессе (ум. 1325), по заданию которого она была собрана.

⁹ *...свою пропажу.* — См. примеч. 11. к гл. 6.

¹⁰ *Бракосочетание времен года.* — Это название зафиксировано в «Берлинских бумагах». Стихотворение должно было произноситься Астралисом в начале последней главы или последней части.

¹¹ *...новый король.* — Начало «Бракосочетания» возвращает нас к сказке Клингсора, завершающей первую часть романа (см. гл. 9). Очевидно, новый король — это Эрос (он же певец из третьей главы первой части, он же Генрих).

¹² *Грезу ночную свою...* — Сон Генриха о голубом цветке см. в гл. 1. ч. 1.

¹³ *Гость* — странник из первой главы части первой. Он должен был снова появиться во второй части.

¹⁴ *Эдда* — королева (в сказке Клингсора Фрейя, см. выше у Людвиг Тика). Примечательно в «Бракосочетании времен года» и вообще в романе обращение Новалиса к нордической, скандинавско-германской мифологии. В древнегерманских памятниках Эдда — Праматерь или Поэзия.

¹⁵ *...былое, как и грядущее.* — Эти предположения Людвиг Тика также основываются на «Берлинских бумагах». Речь идет не о дальнейших набросках к стихотворению, а о развитии действия в романе вплоть до его завершения.

ДОПОЛНЕНИЯ

УЧЕНИКИ В САЙСЕ

Новалис впервые упоминает об «Учениках в Саисе» 24 февраля 1798 г. в письме к Фридриху Шлегелю. «Ученики в Саисе» — первое поэтическое произведение Новалиса в прозе, если не считать многочисленных набросков, отрывков и фрагментов, написанных между 1794-м и 1798-м гг. В письме Каролине Шлегель (27 февраля 1799 г.) Новалис упоминает свой первый роман, вероятно, имея в виду «Учеников в Саисе». Однако при первом упоминании произведения Новалис еще не называет его романом, он пишет лишь о «начале» под назва-

нием «Ученик в Саисе» «тоже фрагменты, но только все по отношению к природе», что явно связывает новое произведение с фрагментами, объединенными и опубликованными в журнале «Атенеум» под названием «Цветочная пыльца». Людвиг Тик утверждал, что Новалис читал ему «Учеников в Саисе» в конце июля 1799 г., но это могла быть лишь первая часть произведения. Заметно колебание автора между единственным и множественным числом в названии произведения: 31 января 1800 г. Новалис все еще называет его «Ученик в Саисе», но впоследствии пишет уже о романе «Ученики в Саисе». Вопрос о единственном и множественном числе в названии имеет принципиальное значение для понимания фрагмента, во второй части которого высказываются разные точки зрения на природу. Спрашивается, следует ли понимать их как разные мнения разных учеников, сопоставляемые диалектически, или музыкально варьируется лишь мировоззрение одного «ученика» — самого Новалиса? Исследователи склоняются ко второй точке зрения, но и в этом случае поэтическое слово Новалиса функционирует диалогически скорее как двуголосое, по выражению М. М. Бахтина, чем как чисто монологическое, так что элементы диалога налицо, даже если перед нами своеобразный солилоквиум, балансирующий на грани монолога и диалога.

В «Учениках в Саисе» автор преодолевает философскую стихию своего творчества. Постепенный отход от спекулятивного философствования к поэзии наблюдается в творчестве Новалиса примерно с 1797 г., когда он впервые соприкоснулся с романом Людвиг Тика «Странствия ранца Штернвальда». При этом существенны два обстоятельства. Пробуждение поэзии в своем творчестве сам Новалис приписывает не только и не столько влиянию Тика, сколько влиянию Якоба Бёме, который, таким образом, для него прежде всего поэт и только в поэтическом смысле философ. Поэтическую философию в духе Якоба Бёме отныне предпочитает и сам Новалис, отходя от магического идеализма, внушенного ему интеллектуальным пафосом Фихте. (Подобное же обращение к поэзии при отходе от философии почти одновременно с Новалисом переживает Фридрих Гёльдерлин.) Кроме того, поэзия для Новалиса определено связывается с прозой, с романом, а не с лирическими стихами, которые не переставали сопутствовать его наиболее неистовым философским увлечениям. (Тот же конфликт между академическим философствованием и поэзией при конечном (бесконечном) предпочтении прозы унаследован в XX в. молодым Борисом Пастернаком.) Новалис пишет апологию поэзии в прозе, что характерно и для других романтиков, сплошь и рядом втайне предпочитающих лирике романы и эссе при теоретическом превознесении лирики (открытый разрыв с ней означал бы для каждого из них крушение собственной творческой личности, как в случае Фридриха Ницше).

«Ученики в Саисе», так и оставшиеся фрагментом, начинаются с такого чернового наброска, возникшего предположительно в июле 1798 г.: «Любимец счастья жаждал овладеть несказанной природой. Он искал “таинственную опочивальню”, таинственное место пребывания Изиды. Свое отечество и свою возлюбленную покинул он в порыве страсти, не обратив внимания на печаль своей невесты. Долго длилось его странствие. Велики были его тяготы. Наконец повстречались ему источник и цветы, подготовившие путь к “семье божеств”, к семейству духов. Они выдали ему путь к святыне. Упоенный радостью, он “сподобился”, достиг двери, вошел и увидел — свою невесту, которая приняла его с улыбкой. Осмотревшись, он обнаружил, что находится в своей собственной спальне, и под его окнами звучала прелестная ночная музыка, сопутствующая “тихому объятию”, “нежно разрешающему объятию”, “разрешающему загадку поцелую”, “сладостному разрешению тайны”».

В этом отрывке нетрудно узнать главные сюжетные линии сказки о Гиацинте и Розе Цветик. Сказка — кульминация «Учеников в Саисе», где впервые оформляется увенчание философии сказкой, принципиальное для Новалиса в последний период его жизни. Но черновому наброску предшествует двустихие, написанное раньше, вероятно, в мае 1798 г.:

Поднял из всех лишь один покрывало богини в Саисе.
Что же узрел он? Узрел — чудо! — Себя Самого.

(Пер. В. Микушевича)

Возможно, это двустийшие и есть «сладостное разрешение тайны», ибо «не хорошо человеку быть одному» (Быт. 2: 18) и увидеть свою возлюбленную — значит увидеть себя самого, если без возлюбленной человек еще не является самим собой. Подобный взгляд подтвердится впоследствии в «Генрихом фон Офтердингенем», где король не король, пока он один (см. гл. 9) и «с Матильдой Генрих в образе едином» (ч. 2, «Astralis»). Существует, однако, среди новалисоведов и противоположный взгляд, согласно которому двустийшие по времени (и по форме) совпадают со стихотворением Новалиса «Познай себя!» (11 мая 1798 г.) и, следовательно, принадлежит предыдущему периоду его творчества, прошедшему под знаком Фихте с его философским культом абсолютного «Я», когда в бытии не распознается в конечном счете ничего, кроме себя самого. Отсюда магический идеализм раннего Новалиса, отсюда и «чудо», сводящееся к самопознанию алхимической трансмутации. Тем более тогда примечательны вариации в названии: «Ученик» или «Ученики в Саисе», абсолютное «Я» с культом идеального всеединства или «ты сам», в мистической целостности символического своеобразия.

Ключом к этой проблематике служит образ Изиды под покровом в Саисе, навеянный чтением розенкрейцеров. Саис упоминается у Шиллера, описывающего посвящение в культ Изиды: «Под древней статуей Изиды читались такие слова: “Я есть то, что есть”, а на пирамиде в Саисе была знаменательная древнейшая надпись: “Я всё, что есть, что было и что будет; ни один смертный не поднял моего покрывала”». (Очевидно, сюда восходит название известной книги Е. П. Блаватской «Isis unveiled» — «Изида без покрывала».)

В набросках к «Ученикам в Саисе» намечается и глубинная тема символического мессианства: «Человек всегда выражал символическую философию своего существа — в своих творениях, и в своем деянии, и в своем допущении. Он возвещает себя и свое евангелие природы. Он Мессия природы» (пер. мой. — В. М.) (*Novalis. Schriften: In 4 Bd. mit einem Begleitband. 3. Aufl. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 110*).

Евангелием природы, по-видимому, и должны были стать «Ученики в Саисе». Мысль о человеке как о Мессии природы основывается на цитате из апостола Павла: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих...» (Рим. 8: 19). Человек-Мессия соотносится в паралипомонах с Христом, но Христос дается при этом в своеобразном, германском духе: «Христос Герой». В этой связи следует упомянуть древнеисландскую «Сагу о Ньяле», где говорится о поединке языческого бога Тора с Христом: «...Тор был бы лишь прахом и пеплом, если бы Бог не захотел, чтобы он жил» (Исландские саги. М., 1956. С. 620). Героизация Христа вообще свойственна древнегерманской традиции. В готском переводе Евангелия, осуществленном епископом Ульффилой (Вульффилой), Христос трактуется как герой, одержавший победу над смертью, что соответствовало и воинствующему христианству императора Константина: «Крупным планом публике демонстрировали образ Христа торжествующего... Героя под стать самому императору» (*Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 179*).

Через образ Христа-героя паралипомоны к «Ученикам в Саисе» соприкасаются с концепцией романа «Генрих фон Офтердинген»: «...Томление по Святому Гробу. Песнь крестоносцев. Монахини и монашеская песня. Анахорет. Плачущая. Взыскующая. Молитва. Томление по Деве. Вечный светильник. Его страсти. Иисус в Саисе».

В этих набросках легко распознаются сюжетные линии и образы «Генриха фон Офтердингена», так что, говоря о романе, Новалис первоначально мог иметь в виду оба произведения, еще слитые в едином замысле и сливающиеся в дальнейшем, ибо Новалис представлял себе все написанное им вплоть до мельчайших фрагментов как единую книгу. К Христу-герою восходит и поэтизация войны, и мистика крестовых походов в «Генрихе фон Офтердингене». Анахорет — явно граф фон Гогенцоллерн в своей пещере. Что же касается Иисуса в Саисе, это образ, вписывающийся в поэтику и проблематику «Гимнов к Ночи». С ними же исследователи сопоставляют и «вечный светильник»:

На свадьбе смерть — жених.
Невестам все светлее;

Достаточно елея
В светильниках у них.

В набросках к «Ученикам в Саисе» встречается и название (или тема) «Песнь мертвых», относимое к «Песни мертвых» из «Генриха фон Офтердингена», хотя это название и сама «Песнь», по мнению некоторых комментаторов, не имеют между собой ничего общего.

Наброски к «Ученикам в Саисе» показывают, как над магическим идеализмом в творчестве Новалиса берет верх мистический символизм. С фрагментом, где говорится о символической философии человеческого существа (см. выше), переключается следующий фрагмент: «...Мистицизм Природы. Изида – Дева – Покров – Тайна. Полное освоение Природы. Наука» (пер. мой. – В. М.).

Тайна здесь обозначает скорее символ в многообразии, чем идеал абсолютного «Я», познающего лишь себя. Следующий фрагмент, написанный в начале 1799 г., озаглавлен «Учение о Природе»:

«Двойственные пути – от Отдельного – от Целого – изнутри – извне. Гений Природы. Математика. Гёте. Шеллинг. Риттер. Пневматическая химия. Средневековье. Роман Природы. Изложение физики. Вернер. Экспериментирование.

Лежит ли истинное единство в основе науки о Природе».

Примечательно, что с Гёте и Шеллингом соседствуют физик Йоханн Вильгельм Риттер и Абрахам Готлоб Вернер, фрайбергский учитель Новалиса (см. также примеч. 3 к гл. 5 «Генриха фон Офтердингена»). Идеи обоих естествоиспытателей присутствуют в диалоге учеников во второй части. Вернер, систематик и наблюдатель, был, как и Гёте, сторонником непуниста – теории, объясняющей образование земной поверхности деятельностью воды. Отголоски этой теории явственны в «Генрихе фон Офтердингене». Вулканизм приписывал главную роль в образовании земли подземному огню (вулканам). Спор непуниста и вулканиста представлен во второй части «Фауста» Гёте («Классическая Вальпургиева ночь»). В начале 1798 г. Новалис также пишет о споре вулканистов и непунистов, называя этот спор геонистическим: «Это, собственно, спор о том, началась ли земля стенически или астенически». Вероятно, стеническим состоянием (состояние сильного возбуждения) Новалис считает вулканизм, относя непунизм к состоянию астеническому (пониженное возбуждение).

В набросках намечается и продолжение «Учеников в Саисе» (говорить об окончании того или иного произведения у Новалиса не приходится: все они рассчитаны на бесконечное продолжение и слияние друг с другом). Среди набросков находится такой перечень дальнейших событий под общим наименованием «Преображение храма в Саисе»:

Явление Изиды.
Смерть учителя.
Грезы в храме.
Мастерская архея.
Прибытие греческих богов.
Посвящение в тайны.
Статуя Мемнона.
Путешествие к пирамидам.

Мессия Природы упоминается в набросках неоднократно:

«Ребенок и его Иоанн. Мессия Природы. Новый Завет – и новая Природа – как Новый Иерусалим».

Здесь уже сказывается свойственная позднему Новалису символическая обратимость бытия: символическое евангелие Природы оборачивается самой Природой; новая Природа оказывается Новым Заветом, и все это, в сущности, Новый Иерусалим, предвозвещенный Апокалипсисом. В сущности, символ для Новалиса и есть бесконечная обратимость бытия, когда одно возмещается другим, обращается в другое, чтобы быть, так что бытие – это одно и другое, единое, но не единственное, как в магическом идеализме. В заключение набросков к

божествам египетским и греческим присоединяются также индийские божества. В пятом гимне к Ночи песнопевец отправляется в Индостан, чтобы возвестить пришествие дивного Отрока. «Ребенок и его Иоанн» при своем евангельском колорите дали, возможно, повод основоположнику антропософии Рудольфу Штейнеру видеть Иоанна Предтечу в самом Новалисе.

И все же ключевым образом среди набросков к «Ученикам в Саисе» и в самом произведении остается Дева, не только Изида, но и Роза-цветик. Дева — быть может, главное и самое драгоценное из всего, что подарил Новалису Якоб Бёме. Мастерская архей свидетельствует и о раннем знакомстве Новалиса с магией Парацельса, для которого архей — не собственное имя, а обозначение мировой души («*anima mundi*») (см. примеч. к началу ч. 2 «Генриха фон Офтердингена», с. 236—237). По поводу «Учеников в Саисе» сам Новалис писал: «Учителю я никогда не уподоблялся. Все уводит меня в меня самого». Покровом Изиды оказываются для него все явления, за которыми таится «Вечная Дева», которую Гёте назовет в последних строках Вечной Женственности (*das Ewig-Weibliche*).

Любопытно, что в стихотворении восемнадцатилетнего Новалиса «Дьявол» (1790) увидеть пустоту — значит увидеть дьявола; для учеников в Саисе чудо — увидеть под покровом что-нибудь, кроме пустоты: самого себя или возлюбленную.

«Ученики в Саисе» были впервые опубликованы уже после смерти Новалиса, в конце 1802 г., в первом издании его «Сочинений». В 1935 г. напечатан русский перевод А. Г. Габричевского (см.: Немецкая романтическая повесть: В 2 т. М.; Л.: Academia, 1935. Т. 1. С. 109—144).

Настоящий перевод осуществлен по изд.: *Novalis. Die Lehrlinge zu Sais // Schriften: In 4 Bd. mit einem Begleitband. 3. Aufl. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 79—112.*

Глава первая УЧЕНИК

¹ ...в расположении смоляных и стеклянных шариков... — Если такие шарики рассыпать и водить по ним смычком, возникают звучания, исследованные физиком Хладны, книгу которого «Открытия в теории звучания» (Лейпциг, 1787) читал Новалис.

² *Всеобщий растворитель* (Alcahest). — Так алхимики (в их числе Парацельс) называли универсальное средство, превращающее все субстанции в светло-водянистые жидкости.

³ ...истинный санскрит... — Санскрит стал известен в Европе благодаря исследованиям сэра Уильяма Джонса, главного судьи в Калькутте, в особенности благодаря его публикациям 1786 г. Исследования Уильяма Джонса использовал Георг Форстер, когда переводил «Шакунталу» Калидасы. «Шакунталой» восхищался Гёте, пристальный интерес к ней испытывал Новалис. Возможно, «Шакунтала» оказала определенное влияние на образ голубого цветка в романе «Генрих фон Офтердинген» (см. примеч. 2 к ч. 1, гл. 1). Форстер переводил слово «санскрит» как «совершенный» (язык), поскольку, по преданию, он дарован самим Божеством. Форстер находил в санскрите высшую философскую отточенность и утонченность, сравнивая его с греческим и латинским языками. Романтики считали санскрит праязыком человечества. Мысли Новалиса о языке, который сам собой не владеет и не желает владеть, превосходят философию языка, разработанную Хайдеггером, а главное, самое отношение этого философа к языку.

⁴ ...о нашем учителе... — Некоторые комментаторы склонны видеть в нем профессора Абрахама Готлоба Вернера, у которого Новалис учился во Фрайберге, что не мешало Новалису иногда расходиться с ним во мнениях. Другие, напротив, склонны сопоставлять учителя с Гёте. И Гёте и Вернер упоминаются в набросках к «Ученикам в Саисе».

⁵ ...слух, зрение, осязание, мысль — С этой фразой Новалиса явно перекликается строка Бодлера из его «Соответствий»: «Так запах, цвет и звук между собой согласны» (пер. мой. — В. М.), навеянная, вероятно, Сведенборгом.

⁶ *Один был еще ребенком...* — Ребенок в творчестве Новалиса часто возвещает Золотой век. См. стихотворение «К Тику»:

Ребенок, радости не зная,
Заброшен в дальней стороне,
Отвергнув блеск чужого края,
Остался верен старине.
(Пер. В. Мухоморова)

⁷ ...выполнить мое предназначенье... — Возможно, это предназначенье соотносится с Шиллером (см. выше). Впрочем, и помимо Шиллера Новалис изучал религию Древнего Египта, в особенности культ Изиды, пользуясь при этом двухтомником «Достопримечательности Египта из древнего и нового времени» (Лейпциг, 1786–1787).

Глава вторая

ПРИРОДА

¹ *Древняя естественность*. — Возможно, переключка с «Идеями к философии природы» Шеллинга (1797), где говорится о естественном, философском, состоянии человека, «когда тот был еще един с самим собой и с миром, окружающим его».

² ...искаемое в текучем, безвестном и зыбком. — Единую первооснову мира искали древнейшие греческие, так называемые ионийские философы. Фалес считал такой первоосновой воду (текущее), Анаксимен — воздух (зыбкое), Анаксимандр — особую первоначальную (безвестную). В своей «Философии трагической эпохи» Ницше писал, что философия начинается с постулата: «Всё есть одно».

³ *Добросовестного мыслителя*... — «К неизменным, четким частицам, дробным сверх всякого представления», то есть к атомам, сводил первоосновы бытия Демокрит из Абдеры (460–371 до н. э.). Что же касается «стихий, влекущих и отвращающих», это скорее напоминает Эмпедокла из Агригента (ок. 495–435 до н. э.), видевшего в Любви и Ненависти универсальные, вечные движущие силы. У Новалиса оба эти учения сливаются в одно.

⁴ ...неспешный возврат золотой старины... — У Новалиса вестник старины — ребенок (см. также примеч. 6 к гл. 1; «Духовные песни» (Ш)).

⁵ ...солнце... присоединится к другим звездам... — Эта строка напоминает заключительную строку «Божественной Комедии» Данте: «Любовь, которая движет солнцем и другими звездами».

⁶ ...былое — лишь будущая греза непреходящего, неоглядного Сегодня. — Эта строка и предшествующие ей пророчества переключаются со сказкой Клингсора и с «Бракосочетанием времен года» из романа «Генрих фон Офтердинген», а также с «Духовными песнями» (см. примеч. 4).

⁷ ...надеть ярмо на природу... — Эти мысли о борьбе с природой предвосхищают философию Н. Ф. Федорова: «Повиноваться природе — для разумного существа значит управлять ею, ибо природа в разумных существах обрела себе главу и правителя» (цит. по: *Зенковский В. В.* История русской философии. Л., 1991. С. 138–139). На огнедышащего быка (на двух быков) надевает ярмо Ясон в древнегреческом мифе об аргонавтах.

⁸ ...новый Джиннистан... — Здесь переключка с книгой Виланда «Джиннистан, или Избранные сказки о феях и духах» (1786–1789). Для Новалиса Джиннистан — синоним земного рая. В сказке Клингсора из романа «Генрих фон Офтердинген» (гл. 9) Джиннистан — имя героини, олицетворяющей фантазию.

⁹ Куда яснее вселенная в самих нас... — Здесь отчетливо сказывается влияние Фихте, выведшего свободу субъекта из абсолютного «Я», что в творчестве Новалиса преломлялось как магический идеализм. Впрочем, слово «родник» напоминает и Якоба Бёме.

¹⁰ ...строгий собеседник... — Некоторые комментаторы полагали, что это не кто иной, как Йоханн Готлиб Фихте (1762–1814). Позже возобладало мнение, что строгий собеседник — сам Новалис, иронизирующий над идеями Фихте и даже отвергающий их. Мысль о том, что ни одно явление не похоже на другое, действительно может означать отход от идеального всеединства в сторону мистического символизма с его многообразием.

¹¹ ...могущественное Я... — В «могущественном Я», связанном с властью над миром, видят

намек на лекции Фихте «Предназначение ученого» (конец пятой лекции). Соотносится оно и с штудиями самого Новалиса, посвященными Фихте («Замечания к наукоучению»).

¹² *Сказку хочу я тебе рассказать...* — В «Учениках в Саисе» Новалис впервые проводит свою идею, согласно которой сказка является высшей формой поэтического творчества и философской мудрости. Характерно, что именно сказка, превосходящая возлюбленную как олицетворение мудрости, противопоставлена солипсизму Фихте, для которого абсолютное Я — единственная реальность.

¹³ *Гиацинт* — согласно греческому мифу, прекрасный юноша из Амикл близ Спарты. Красота Гиацинта пленила богов Аполлона и Зефира. Диск, брошенный Аполлоном во время состязания, по злому умыслу ревнивого Зефира попал в Гиацинта и убил его, но по воле Аполлона из крови Гиацинта вырос цветок, названный его именем. В то же время Гиацинт — драгоценный камень: «Гиацинт прозрачный, блестящий камень красно-оранжевого, желто-оранжевого, малиново-оранжевого или коричневого цвета. Самого высокого качества гиацинт получается из Ост-Индии и с острова Цейлона, где он встречается в золотых россыпях отдельными зернами» (Пыляев М. И. Драгоценные камни. М., 1990. С. 217).

¹⁴ *...одна только эта игра...* — Явная переключка с Фридрихом Шиллером и его пятнадцатым письмом из «Писем об эстетическом воспитании человека» (1793–1794): «Ибо, чтобы наконец разом это высказать, человек играет лишь тогда, когда он в полном смысле слова человек, и он вполне человек лишь тогда, когда он играет» (пер. мой. — В. М.).

¹⁵ *...испытать на слаженности нашего тела...* — Некоторые комментаторы видят в этом пассаже полемику с естественно-научным методом Гёте, усматривавшего в организме модель или образ истинного бытия вплоть до космического.

¹⁶ *Мрежи*. — В 1798 году Новалис написал стихотворение, с которым переключается высказывание «третьего»:

Мрежи гипотез улов сулят, лишь закинь их умело.
Разве Америку нам не гипотеза предвозвестила:
Выше и прежде всего гипотеза, и остается
Вечно новой она, сама себя побеждая.

(Пер. В. Мухомеича)

¹⁷ *Изваяния, завещанные утраченной эпохой...* — В конце августа 1798 г. Новалис посетил собрание антиков в Дрездене. В своих черновиках он писал о гальванизме антиков.

¹⁸ *...знамения преизобильного горнего сияния...* — По-видимому, подразумеваются огни святого Эльма, электрические разряды, вспыхивающие во время грозы на мачтах и башнях.

¹⁹ *...изначальная текучесть...* — Речь идет о теории негтунизма, которой придерживался учитель Новалиса Вернер.

²⁰ *...мировая душа...* — Комментаторы сопоставляют идею мировой души у Новалиса с Плотиним, Баадером и Шеллингом.

²¹ *...тайна священного языка...* — Вместе с тайной Изиды это главная тайна, которой взыскуют «Ученики в Саисе». Уже в самом начале упоминается ключ к чарующим письмам на языке, который не что иное, как язык самой природы. Причудливый диалогизм Новалиса реализуется в том, что санскрит древних индийцев одновременно истинный и неистинный (возможно, и здесь уместно упоминание о двуголосом слове по М. М. Бахтину). Главная проблема «Учеников в Саисе» — «уцелевшие намеки на разрушенный язык», поискам которого (которых) посвящено в конечном итоге все творчество Новалиса.

ХРИСТИАНСТВО, ИЛИ ЕВРОПА

Величайшей загадкой этого произведения является само его название, по всей вероятности не принадлежащее Новалису. В переписке Новалиса оно фигурирует как «Сочинение» («Aufsatz») или как «Речь» («Die Rede»). 31 января 1800 г. Новалис называет свое произведение

«Европа». 20 октября 1798 г. Фридрих Шлегель называет это произведение «Христианская Монархия», 2 декабря 1798 г. — говорит о «христианских фрагментах» Новалиса, в начале октября 1799 г. — упоминает его «Сочинение о католицизме», 16 ноября 1799 г. — «Сочинение о христианстве», в начале декабря 1799 г. обозначает его работу как «Европа». Уже после смерти Новалиса Шлегель говорит о его сочинении «Христианство в Европе» (24 февраля 1806 г.), потом опять о «Христианстве» (29 марта 1806 г.), о «сочинении “Европа”» (18 июня 1806 г.), а 8 апреля 1815 г. обозначает его как «Речь... носящая название “Европа”».

Лишь к середине 20-х годов XIX в. издатели и публикаторы Новалиса останавливаются наконец на названии «Христианство, или Европа». Мы видим, с каким трудом принимают они это «или», в котором и заключается главная идея сочинения, фрагмента или речи, даже если сам Новалис не употребляет «или» в его названии. Новалис определяет жанр своего произведения именно как «речь», и в связи с этим речевым или проповедническим пафосом комментатор Новалиса Ричард Самуэль называет «Христианство, или Европу» провоцирующим произведением. В своих заметках, написанных летом и осенью 1799 г., Новалис прямо утверждает: «Историк в своем высказывании часто должен быть оратором» (в оригинале «*Redner*», буквально «изрекаемый», «вития»). «Он (историк. — *B. M.*) возвещает евангелия, — присовокупляет Новалис, — ибо вся история есть Евангелие». Вспомним, что в набросках к «Ученикам в Саисе» Новалис писал о евангелии Природы, возвещаемом человеком, так что история и природа сближаются или даже совпадают для него как Евангелие. Новалис подчеркивает свое расхождение с Эдвардом Гиббоном, величайшим историком XVIII в., умершим в 1794 г. Гиббон написал историю упадка и разрушения Римской империи, что никак не могло быть Евангелием. Гиббону принадлежит пронищательно скептическое замечание о религии (религиях) Рима, предшествовавших христианству: «Различные культы, преобладавшие в римском мире, все рассматривались народом как одинаково истинные, философом — как одинаково ложные, должностным лицом — как одинаково полезные». Такой взгляд на религию был для религиозного мыслителя Новалиса уже неприемлем, и потому он пишет о «другом взгляде на историю», не таком, какой разрабатывал Гиббон. Расхождения Новалиса с Гиббоном касались прежде всего христианства, в котором Гиббон видел темную разрушительную силу, хотя и в жизни юного Гиббона был момент, когда он отрекался от протестантизма и переходил в католичество, — шаг, скандальный для англичанина, но так или иначе «Христианство, или Европа» — не столько заголовок, сколько тезис, направленный, в частности, и против Гиббона.

Отсюда и проповеднический стиль «Христианства, или Европы», отсюда и намерение Новалиса определить его жанр как «речь», навеянное, впрочем, также и сочинением Ф. Д. Шлейермахера «О религии. Речи, обращенные к образованным среди презирающих ее» (1799). Новалис предвидит в «Речи» новый для себя жанр и задумает целый цикл речей, среди которых речь к Бонапарту (*Bonaparte*), только что ставшему первым консулом, к европейским государствам, к народу Европы (в единственном числе), речь в поддержку поэзии против морали и речь, обращенную к новому столетию.

«Христианство, или Европа» написано Новалисом в октябре—ноябре 1799 г. Примечательно, что Новалис читает его вслух своим друзьям, как сообщает Шлегель Шлейермахеру в письме от 16 ноября, называя прочитанное Новалисом «Сочинением о христианстве». Само чтение вслух призвано подчеркнуть, что Новалис держит речь, проповедует перед своими друзьями, и не только перед ними. Тут обнаруживается еще одна загадка «Христианства, или Европы». «Речь» Новалиса производит на его слушателей, на ближайших друзей, крайне негативное впечатление. Через 38 лет после ноябрьского чтения в 1799 г. Людвиг Тик напишет в предисловии к пятому (5!) изданию сочинений Новалиса (1837): «Поскольку мы, как ближайшие друзья, взаимно высказывали откровенное, непредвзятое мнение, то, когда чтение закончилось, все сочинение в целом было единогласно отвергнуто, и мы решили, что его не следует предавать известности через напечатание. Мы нашли исторический взгляд слабым и неудовлетворительным, выводы слишком произвольными, а все исследование настолько слабым, что любой знаток обнаружит его уязвимые места». Пожалуй, ни одно произведение Новалиса не оценивалось в дружеском кругу столь безапелляционно отрицательно. Может быть, раздражение слуша-

телей объяснялось самими особенностями чтения, проповедническим пафосом «Речи», позволявшим заподозрить молодого Харденберга в мессианских притязаниях, но в набросках к «Ученикам в Саисе» прямо написано, что человек — мессия Природы, и мессианские мотивы в творчестве Новалиса, подчас не лишённые личной окраски, не только не отвергались, но даже приветствовались. Говорят, что Тик преувеличил единодушные присутствующих в негативной оценке «Христианства, или Европы», но, как бы там ни было, произведение, называвшееся тогда «Речью» или «Фрагментом», насторожило не только слушателей, но и первых читателей, ознакомившихся с рукописью. Так, Шлейермахер отвергает «Фрагмент» Новалиса по идейным соображениям, поскольку сам считает папство гибельным для католицизма, а философ Шеллинг, прочитав рукопись Новалиса, пародирует ее среди других произведений в своем «Эпикурейском вероисповедании Гейнца Видерпорстена», где встречаются такие строки:

Речь о религии, как о даме,
 Которая под покрывалом в храме,
 И чтоб вождения не внушать,
 Словами вынуждена оглушать.
 (Пер. В. Микушевича)

Здесь явно пародируются прежде всего «Речи о религии» Шлейермахера, но заодно с ними «Речь» Новалиса, а «под покрывалом в храме» нетрудно распознать намек на «Учеников в Саисе», пусть даже написанных под несомненным влиянием самого Шеллинга. Фридрих Шлегель все же склонен «из любви к иронии» напечатать в журнале «Атенеум» «Речь» Новалиса вместе с пародией Шеллинга. Но в кругу романтиков продолжают разногласия по поводу обоих произведений, и в том же ноябре их отдают на суд Гёте, который не очень топорится читать их. Лишь 7 декабря в его дневнике упоминается «эзотерическое» (по всей вероятности, «Христианство» Новалиса) и «экзотерическое» (должно быть, «Эпикурейское вероисповедание» Шеллинга); Гёте не рекомендует для печати ни одно из этих произведений, так что пародия Шеллинга будет опубликована полностью лишь в 1869 г.

«Сочинение» Новалиса также первоначально печатается не полностью. Друзья произвольно выбирают из него «религиозные фрагменты», пригодные, по их мнению, для печати. Тут сказывается одно обстоятельство, проливающее свет на загадку «Христианства, или Европы» с разночтениями его названия и с первоначальным отвержением сочинения в целом. В 1826 г. «Христианство, или Европа» печатается почти полностью, но без трех абзацев, печатавшихся раньше вместе с другими фрагментами. Среди опущенных — предпоследний абзац «Сочинения», где сказано: «...старое папство лежит в могиле». В 1826 г. эта фраза действительно могла казаться непонятной, чем и объясняется снятие абзаца, но в 1799 г. она была совершенно точна и актуальна. В 1799 г. папа Пий VI умирает в крепости Воланс на Роне, высланный туда по приказу Наполеона, и выборы преемника запрещены. В 1826 г. Святой Престол в Риме занимал папа Лев XII, классический представитель старого папства. Но и в 1799 г. ближайшим друзьям Новалиса трудно было понять, как это католическая вера навеки осчастливит землю и почему эта вера называется католической, если папство объявлено, в конце концов, ее случайной формой и чуть ли не приветствуется разрушение этой случайной формы. Что это за католичество без папства, что это за христианство, оно же Европа?

Друзья Новалиса, несомненно, были шокированы апологией иезуитов, критикой Реформации, разрушившей, по мнению Новалиса, единство Европы (для немецкого патриотизма такая критика была особенно болезненна), и ошеломляющим призывом к восстановлению единой Европы при признании государственных границ, что в эпоху наполеоновских войн должно было восприниматься как «эзотерическое» поддакивание агрессивным аппетитам Бонапарта. Не меньшее недоумение должна была вызывать «любовь к памятникам отцов и к древней прославленной царственной фамилии», что при своей прозрачности усугубляло загадочную таинственность высказанного. Новалис озадачил своих слушателей, выступив как провозвестник европейской идеи.

«Христианство, или Европа» вызвала неожиданный, неподтвержденный, но тем более отчетливый отклик в России. В 1828 г. в первом философическом письме П. Я. Чаадаев писал: «Vous savez qu'il n'y a pas bien longtemps encore que toute l'Europe s'appelait la Chrétienté, et que ce mot avait sa place dans le droit public» (*Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 93). «Вы знаете, что еще не так давно вся Европа называла себя христианством и это слово находило свое место в публичном праве» (пер. мой. — В. М.). Тезис «Христианство, или Европа» здесь, по существу, прямо сформулирован. Характерно, что Чаадаев употребляет слово «la chrétienté», означающее сферу христианства, область его исторического распространения в отличие от слова «le christianisme», означающего именно христианскую веру в ее всемирности. Таково же соотношение немецкого «die Christenheit» и «das Christentum», и Новалис употребляет «die Christenheit», соответствующее французскому «la chrétienté», используя и слово «das Christentum» в значении «христианская вера», когда говорит, например, о переходе от греческого пантеона к христианской вере (см. примеч. 21). В «Философических письмах» встречаются и другие разительные схождения с Новалисом, так что тема «Чаадаев и Новалис» еще ждет своего исследователя, в особенности если проблема коренится в традиции единого вселенского христианства. Обширные извлечения из «Христианства, или Европы» Вячеслав Иванов приводит в своей статье «О Новалисе», впервые опубликованной в собрании его сочинений (см.: *Иванов В.* Собрание сочинений. Брюссель, 1987. Т. IV. С. 256). Полный текст Новалиса в переводе на русский опубликован в изд.: *Новалис.* Христианский мир, или Европа / Пер. с нем., коммент. И. Н. Лагутиной. М.: Arbo mundi, 1994. Под названием «Христианство и Европа» фрагмент в переводе В. Б. Микушевича вошел в книгу: *Новалис.* Гимны и ночи. М.: Энигма, 1996.

Настоящий перевод осуществлен по изд.: *Novalis.* Die Christenheit, oder Europa // Schriften: In 4 Bd. mit einem Begleitband. 2. Aufl. Darmstadt, 1968. Bd. 3. S. 507–524.

¹ *Фрагмент.* — О заголовке и подзаголовке см. выше.

² *Были прекрасные, блистательные времена...* — Написание «Христианства, или Европы» непосредственно предшествует роману «Генрих фон Офтердинген», и неудивительно, что оба произведения обнаруживают глубокое, органическое родство и в стиле, и в проблематике. В 1826 г. в четвертом издании сочинений Новалиса «Христианство, или Европа» было напечатано непосредственно после романа как послесловие к нему. Начало «Христианства» явно перекликается со вторым абзацем второй главы романа: «Отрадная бедность красила те времена своей особой, невинной и строгой безыскусственностью, и сокровища, угадываемые кое-где, тем знаменательнее поблескивали в сумерках, внушая глубокомыслию чудесные предчувствия» (с. 14). Существенно совпадение интонаций, определяющих у Новалиса сферу Несказанного, и это не единственный случай.

³ *Единое христианство.* — В слове «единое» ключ ко всему исследованию Новалиса. Подразумевается Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь из Символа Веры, Церковь до раскола на Восточную и Западную (1054) и в жизни будущего века, то есть после того, как раскол будет преодолен. См. также у Чаадаева: «Le principe vivifiant de l'unité animait tout alors en Europe» (*Чаадаев П. Я.* Указ. соч. Т. 1. С. 97). «Животворящий принцип единения одушевлял тогда всё в Европе» (пер. мой. — В. М.).

⁴ *Один верховный руководитель...* — Папа Римский. До разделения церквей среди римских пап были святые, чтимые Православной Церковью (например, Григорий Великий или Двоеслов (590–604)). Дальнейшее изложение Новалиса находит отголоски в книге Владимира Соловьева «La Russie et L'Église universelle» («Россия и Вселенская Церковь»).

⁵ *Так любящие сохраняют локоны и письма своих усопших возлюбленных...* — Подобным образом поступал сам Новалис после смерти своей невесты Софи фон Кюн.

⁶ *...в единственное царство на земле.* — Этим подразумевается смысловое различие христианства, или Европы (особая роль христианства в истории Европы: сама Европа не что иное как христианство), и остального христианского мира, включающего в себя все части света.

⁷ *...будто земля — всего лишь незначительная звезда, блуждающая среди других звезд...* — По

видимому, намек на легендарное высказывание Галилея (1642): «*Errare si muove*» («И все-таки она вертится»).

⁸ ...*запрет на браки для священников*. — Целибат был окончательно введен в 1074 г. папой Григорием VII.

⁹ ...*разделили нераздельную Церковь*... — Почти в тех же выражениях характеризует протестантов (реформаторов) Чаадаев в шестом философическом письме: «*Et savez-vous, Madame, à qui la faute si l'influence du christianisme sur la société et sur le développement de l'esprit humain n'est encore ni suffisamment comprise ni suffisamment appréciée? Aux hommes qui ont brisé l'unité morale; à ces hommes qui ne datent le christianisme que depuis leur avènement; à ceux qui s'appellent les réformateurs*» (Чаадаев П. Я. Указ. соч. Т. I. С. 175). «А знаете ли Вы, <...>, по чьей вине влияние христианства на общество и на развитие человеческого разума все еще должным образом не понято и должным образом не оценено? По вине тех, кто сокрушил моральное единство; по вине тех, кто не мыслит христианства до своего пришествия, тех, кто называет себя реформаторами» (пер мой. — В. М.).

¹⁰ *Религиозный мир*. — Имеется в виду Аугсбургский религиозный мир (1555), провозгласивший принцип: «*Чья страна, того и вера*».

¹¹ ...*к провозглашению постоянного революционного правительства*. — Комментаторы усматривают в этом намек на французский Конвент 1793 года.

¹² *Цинцендорф*. — Николай Людвиг граф фон Цинцендорф (1700—1760) — деятель позднего немецкого протестантизма, основатель секты гернгутеров (1722), оказавшей глубокое влияние на семью Харденберг и на самого Новалиса.

¹³ ...*новый орден*... — Имеется в виду Орден иезуитов, основанный Игнатием Лойолой (1491—1556) и утвержденный папой Павлом III в 1540 г.

¹⁴ ...*другие так называемые тайные общества*... — Имеются в виду, вероятно, розенкрейцеры (начало их движения предположительно относят к началу XVI в.), вольные каменщики (1717, Лондон), Орден иллюминатов (основан в 1776 г.). Иллюминаты провозгласили своей целью борьбу с иезуитами, при этом переняли их методы действий.

¹⁵ *Теперь он почит, этот страшный орден*... — Орден иезуитов был распущен в 1773 г. папой Климентом XIV и к 1799 г. был разрешен лишь «на рубеже Европы», в Пруссии и России.

¹⁶ ...*волшебной палочкой аналогии*. — Шиллер говорил в 1789 г. об аналогии как о мощном вспомогательном средстве для историка.

¹⁷ ...*приближение к Востоку*... — Имеется в виду поход Наполеона в Египет (1798—1799).

¹⁸ *Невиданное многообразие*... — Этими словами начинается панегирик движению романтиков, друзей Новалиса. Знаменательно, что в движении романтиков Новалис ценит многообразие, а не единство, как следовало бы адепту магического идеализма.

¹⁹ ...*на змеях*... — Младенец Геракл задушил двух змей, посланных на него богиней Герой (мраморная статуя Геракла, душащего змей, находится в галерее Уффици, во Флоренции).

²⁰ ...*наваждения и бредни священного органа*... — Священным органом Новалис считал сердце. Во фрагментах читаем: «Сердце кажется как бы религиозным органом. Возможно, высшее произведение творящего сердца — не что иное, как небо».

Когда сердце, привлеченное всеми отдельными действительными предметами, ощущает себя, становясь идеальным предметом, возникает религия» (*Novalis. Schriften: In 4 Bd. Stuttgart, 1968. Bd. 3. S. 570*).

²¹ ...*призраки европейские*... — Имеется в виду соприкосновение раннего христианства с гностицизмом.

²² *Я хочу отвести вас к брату*... — Новалис говорит о Шлейермахере с его «Речами о религии».

²³ *Высшее в физике*... — Для Новалиса это достижения Гёте и Лейбница. В одном из фрагментов Новалис пишет: «Гёте должен стать литургом этой физики — он в совершенстве понимает службу в храме. Теодицея Лейбница была великолепным опытом на этом поле. Чем-то подобным станет физика будущего, но в стиле еще более высоком» (*Ibid. S. 469*).

²⁴ ...*причудливое существо философии*... — Подразумеваются Шеллинг с его натурфилософией и Фихте с его наукоучением.

²⁵ ...естественно-научную классификацию. — Новалис видит в этом достижение Абрахама Готлоба Вернера.

²⁶ ...любой мир — иллюзия, лишь перемирие... — В оригинале дословное заимствование из сочинения Канта «О вечном мире» (1795).

²⁷ ...старое папство лежит в могиле... — Называя старое папство «случайной формой католичества» и приветствуя разрушение этой формы, Новалис действительно указывает путь к вечному единому, соборному христианству, поскольку главной причиной, вызвавшей разделение Церковей, было именно старое папство (см. примеч. 3). Католическая вера обретает у Новалиса свое первоначальное значение — «вселенская», что не могло не озадачить его современников на Западе, предвосхищая чаянья русских религиозных философов (П. Я. Чаадаев, В. С. Соловьева, В. И. Иванова).

²⁸ ...святое время вечного мира... — В оригинале отчетливая переключка с «Воспитанием рода человеческого» Готтольда Эфраима Лессинга (1729–1781): «Оно непременно придет, время нового вечного Евангелия, предсказанного нам даже элементарными учебниками Нового Союза» (§ 86).

ГИМНЫ К НОЧИ

«Гимны к Ночи» дошли до нас в двух версиях, причем теперь уже невозможно ответить на вопрос, какую из них Новалис считал бы окончательной. Сохранилась авторская рукопись, где на строки, подобные стихотворным, разбиты первые пять гимнов, напечатанных в 1800 г. в журнале «Атенеум» как проза, что, впрочем, отнюдь не делает их прозой или так называемыми «стихотворениями в прозе». Скорее всего, окончательной версией следует считать как раз журнальную, согласованную с автором и приобретшую свои ценные художественные особенности. Отказ от разбивки на отдельные строки вряд ли связан с экономией места на журнальных полосах. В то же время рукопись журнальной версии отсутствует, а авторское согласие на такую версию могло быть только устным. О возможности устной договоренности по поводу этого произведения Новалис пишет Тиху 23 февраля 1800 г. Во всяком случае, сам Новалис не рассматривал свое произведение как прозу, что явствует из всех вариантов его названия. Со всей определенностью Новалис называет свое произведение «Das Gedicht». Обычно этим словом по-немецки обозначается стихотворение, но оно может относиться и к более крупным произведениям, которые мы назвали бы поэмой (с другой стороны, французское «le poème» означает не только поэму, но и стихотворение, так что «Petits poèmes en prose» Бодлера переводятся все-таки как «маленькие поэмы в прозе», а не как «стихотворения в прозе», откуда, по-видимому, и пошел этот термин, крайне неудачный для русского языка, ибо стихотворение на то и стихотворение, чтобы не быть прозой). Рукописная версия «Гимнов» отчетливо вписывается в немецкую традицию так называемых свободных ритмов, напоминающая «Весенний праздник» (1759) и «Псалом» (1789) Фридриха Готлиба Клопштока (1724–1803) или такие стихотворения Гёте, как «Ганимед» и «Прометей». Напрашивается сравнение и с поздними гимнами Гёльдерлина, но у Гёльдерлина дробление ритмического целого при всей протяженности синтаксического периода совершенно непреложно, каждая строка вплоть до отдельного слова отличается резкой четкостью, она подчеркнута, тогда как у Новалиса и в «строчечной версии» наблюдается нерешительность в членении на строки, стремящиеся не выделиться из целого, а, напротив, слиться, перелиться одна в другую. При этом «строчечная версия» отличается большей экспрессивностью, здесь акцентируются отдельные детали, которые не всегда совпадают со «сплошной» версией, так что полное представление о «Гимнах» возможно лишь после прочтения той и другой версии.

В сплошной версии доминирует единая мелодия, сочетающая отдельные слова, фразы и периоды, переливающаяся из гимна в гимн и, образуя их музыкально-смысловую сущность, захлестывающая другие произведения и превращающая тем самым их незаконченность из биографически-архивного обстоятельства в творческий принцип, характерный так или иначе для всех произведений Новалиса. Отсюда колебания Новалиса относительно того, как на-

звать это произведение (сначала он его называет просто «длинное стихотворение»). Новалис готов отказаться от слова «гимны», которое своим множественным числом превращает «длинное стихотворение» в цикл стихов, а поэту важно предопределить и подчеркнуть единство его произведения. В какой-то момент Новалис предпочел бы озаглавить свое «длинное стихотворение» «К Ночи», но в журнале оно все же появляется под названием «Гимны к Ночи».

Новалис весьма точно обозначает в последней строфе пятого гимна форму, в которой все они написаны: «Единый стройный стих». Это именно стих в отличие от стихов. Стихи определяются членением от большего к меньшему. Произведение делится на строфы, строфы на строки, строки на стопы, стопы на слоги. Стих, напротив, образуется от меньшего к большому. Слова, фразы, строфы (если они наличествуют) сочетаются в периоды, а периоды, в свою очередь сочетаясь, в своем единстве совпадают с произведением, которое в конечном счете в целом и есть стих, иногда выходящий за свои собственные пределы. Возможны аналогии с некоторыми библейскими книгами (Книга Иова, Книга пророка Исайи, Иеремии, Даниила), но в основном стих происходит от непрерывного Стиха Литургии с ее древнейшими, дохристианскими, райскими корнями. Стих с его онтологической первозданностью вряд ли возможно выбрать, как выбирают тот или иной стихотворный размер; скорее это он выбирает своего носителя и провозвестника, каковым на германской почве оказался Новалис. Дальнейшей проекцией новалисовского стиха является книга Фридриха Ницше «Also sprach Zarathustra» («Так говорил Заратустра»). Опосредованные отголоски этого стиха различаются во французских версетах Поля Клоделя и Сен-Жон Перса. «Illuminations» («Озарения») Рембо также написаны в традиции «Гимнов к Ночи», но особенно примечательны в этом отношении «Les chants de Maldoror» («Песни Мальдодора») Лотреамона. Название этого произведения прочитывается как зеркальное отражение «Гимнов к Ночи», в особенности если расшифровать имя Maldoror как «Mal d'Aurore» («Зло Зари»). Заря — зло, ибо она кладет конец Ночи: «Неужели утро неотвратимо?» (У Новалиса гимн 2). Принимая во внимание фантастическую начитанность Изидора Дюкасса, известного под псевдонимом Лотреамон, можно предположить, что он был знаком с творчеством Новалиса хотя бы понаслышке, но даже если такое предположение не подтверждается, ясно, что неосознанность традиции не препятствует ей проявляться весьма интенсивно.

Рукопись «Гимнов к Ночи», вероятно, была готова к началу 1800 г. Новалис трудился над ней в последние недели 1799 г., хотя работа началась гораздо раньше. Предполагается, что первый, второй, четвертый гимны писались одновременно с «Учениками в Саисе» (1798). Третий гимн, называемый «прагмном», восходит к 1797 г. Из этого гимна вырастают все остальные и все произведение в целом. Третий гимн показывает, что метафизическая мистика гимнов коренится в личном, интимном, трагическом переживании. 19 марта 1797 г. умерла юная невеста Новалиса Софи фон Кюн. 13 мая 1797 г. Новалис пишет в своем дневнике:

«Встав из-за стола, я пошел прогуляться — потом кофе — погода омрачилась — сперва гроза, потом облачность и ветер — очень сладостранно — я начал читать Шекспира — вчитывался как следует. Вечером я пошел к Софии. Там я испытал неописуемую радость — моменты вспыхивающего энтузиазма — я сдунул могилу, как прах, перед собой — столетия были как мгновения — близость ее чувствовалась — я полагал, она будет являться всегда».

Эта запись не претендует на красоту стиля, она несколько сбивчива, но тем более поражает своей подлинностью. «Я сдунул могилу, как прах», — в этой фразе узнается стих третьего гимна: «Облаком праха клубился холм...» Сопоставление дневниковой записи и стиха дает нам возможность увидеть, как взаимодействуют поэзия и жизнь. «Жизнь и поэзия одно», по слову В. А. Жуковского, что особенно свойственно Новалису: одно переходит, переливается в другое.

29 июня 1797 г. в дневнике Новалиса появляется еще одна запись: «Христос и София». Этим эзотерическим девизом определяется все его дальнейшее творчество. Тот же девиз распознается в победном кличе маленькой Музы в сказке из романа: «София и Любовь». Имя усопшей невесты совпадает для Новалиса с именем Софии Премудрости Божией, возвешенной Якобом Бёме. Дневниковая запись «очень сладостранно» предвосхищает мистическую

чувственность, пронизывающую некоторые поздние фрагменты Новалиса, его последние стихи и прозу, в особенности «Гимны к Ночи». Христос для Новалиса — не абстрактная проповедническая аллегория вероучения, а Воплощенная Любовь, по слову Иоанна Богослова: «Бог есть любовь» (Ин. 1: 4, 8).

Этот чувственно-мистический опыт поэта сказывается в пятом гимне. Среди источников пятого гимна называют стихотворение Фридриха Шиллера «Боги Греции» (1788) и говорят о полемике романтика Новалиса с просветительским пафосом Шиллера. В «Богам Греции» смерть представлена как некий гений, опускающий перед ложем умершего свой факел. В стихотворении особо подчеркивается, что смерть приходила «не как жуткий костяк». В этой строке Шиллера ссылка на другой источник, очевидно повлиявший на него самого. Сопоставлению костяка или скелета с прекрасным отроком, опускающим факел, посвящено исследование Лессинга «Как древние изображали смерть» (1769). В своем исследовании Лессинг выступает как вдохновенный полемист, высказывающий в ходе полемики свои глубочайшие идеи. Он решительно опровергает утверждение, будто древние художники когда-либо изображали смерть в виде скелета. При этом наряду со словом «скелет» Лессинг употребляет и слово «das Geipre» («костяк»), выступающее в стихотворении Шиллера. Лессинг доказывает, что в виде скелетов (костяков) древними художниками изображались *ларвы*, злобные души умерших, в противоположность *ларам*, благожелательным духам предков, ставших домашними богами. Таким образом, само противопоставление смерти как изящного гения жуткому костяку почти дословно заимствовано Шиллером у Лессинга. Но Лессинг слышет просветителем едва ли не в большей степени, чем Шиллер. Ярлык просветителя уже в XVIII в. мешал оценить оригинальность Лессинга в эстетике и в теологии. Исследование Лессинга «Как древние изображали смерть» через Шиллера, а может быть, минуя его, вовлекается в число источников, по-своему предвосхищающих «Гимны к Ночи». Лессинг тщательно прослеживает образ смерти в поэзии и в изобразительном искусстве древнего мира. Он пишет: «Древние художники не изображали смерть в виде скелета, ибо они изображали ее согласно гомеровской идее; для них смерть и сон — братья-близнецы, и оба изображаются в своем сходстве между собой» (пер. мой. — *В. М.*) (Lessings Werke: In 5 Bd. Leipzig; Wien: Bibliographisches Institut. Bd. 3. S. 463–464). Лессинг развивает свою мысль, подкрепляя ее новыми материалами: «Эта фигура, — говорит Беллори, — Амор, который гасит свой факел, обозначающий страсти, о грудь умершего человека. Я же говорю: эта фигура — смерть!» (пер. мой. — *В. М.*) (Ibid. S. 466). В полемическом исследовании Лессинга мы находим не только постановку вопроса, но и утверждения, определяющие для «Гимнов к Ночи»: смерть соотносится со сном, любовь оборачивается смертью. В пятом гимне песнопевец, «под ясным небом Греции рожденный», скажет, уже обращаясь ко Христу: «Ты — смерть, и Ты — целитель первый наш».

Не чуждое языческому и христианскому гнозису, само воспевание Ночи у Новалиса скорее христианского происхождения. Есть все основания утверждать, что Новалис был знаком с мистическим богословием Дионисия Ареопагита. Именно Дионисий Ареопагит писал о том, что такое «Божественный Мрак, где пребывает Тот, Кто за пределами всему сущему» (Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 6). Этот Мрак не что иное, как сверхсвет, уподобляющийся Тьме, поскольку в Нем Ничто, неразличимое земными чувствами. Такова Ночь, к которой обращены гимны Новалиса: непостижимое лоно Божества. Эта Ночь засвидетельствована Евангелием, где говорится: «Но в полночь раздался крик: “вот, жених идет, выходите навстречу ему!”» (Мф. 25: 6). Новалис откровенно цитирует эту евангельскую притчу в пятом гимне:

На свадьбе смерть — жених,
Невестам всё светлее.
Достаточно елеч
В светильниках у них.

Так божественная Ночь оказывается истинным светом, а смерть — высшей степенью жизни, тоска по которой воспевается в заключительном, шестом, гимне:

Из царства света вниз, во мрак!
Иная жизнь в могиле.

«Гимны к Ночи» основываются в конечном счете на евангельской притче о десяти девах, из которых пять были мудры и заранее запаслись маслом для светильников, а неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла и не были допущены на брачный пир. Ночь Новалиса и есть свадебная ночь, на которую допущены мудрые.

Перевод осуществлен по изд.: *Novalis. Hymnen an die Nacht // Schriften: In 4 Bd. mit einem Begleitband. 3. Aufl. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 130–157.*

ГИМНЫ К НОЧИ

(Рукописная версия)

Кто, наделенный
Жизнью и чувством,
В окружении всех явных
Чудес пространного мира
Не предпочтет им
Всесладостного света
В струях и потоках,
В его многоцветных проявлениях,
В нежном возбужденье
Вездесущего дня!
Его тончайшей
Жизненной стихией
Одушевлена
Великая гармония небесных тел,
Неутомимых танцоров, омытых этой
стремительной голубизной,
Одушевлен самоцвет,
Сосредоточенно наливающийся колос
И неукротимая
Сила подвижных,
Причудливых зверей, –
Одушевлены многоцветные
Облака, ветры
И прежде всего
Чаровники странствующие
С вещими очами,
Плавной поступью
И звучным сокровищем уст.
Владея всем земным,
Король природы,
Свет вызывает превращенья
Начал различных,
И одним его присутствием
Явлено дивное великолепие
Горнего царства.
Долу обращаю взор
К святилищу загадочной,
Неизъяснимой, таинственной ночи.

Вселенная вдали,
Как бы в могильной бездне,
Пустынный,
Необитаемый предел!
В томлении глубоком
Дрогнули струны сердца.
Исчезнувшие тени минувшего,
Юношеские порывы,
Младенческие грёзы,
Мгновенные обольщенья
Всей этой долгой жизни,
Тщетные упования
Возвращаются
В сумеречных облаченьях,
Как вечерние туманы,
После заката
Солнца.
Мир в дальней глубине
Со всею пестротой своих восторгов.
В других странах
Раскинул свет
Свои веселые намёты.
Неужто никогда не возвратится свет
К своим преданным детям,
В свои сады,
В свой дом великолепный?
Но что за ключ там бьет
Отрадной свежестью,
Исполнен чайний
Под сердцем,
Упиваясь
Тихим веяньем томленья?
И у тебя тоже
Человеческое сердце,
Ты темная ночь?
Что ты скрываешь
Под мантией своей,
Незримо, но властно
Трогая мне душу?
Лишь кажешься ты страшной —
Сладостным снадобьем
Кропят нас маки,
Приносимые тобою.
В сладостном опьянении
Ты напрягаешь онемевшие крылья души
И радости даруешь нам,
Смутные и несказанные,
Тайные, как и сама ты,
Радость, позволяющая нам
Небо почувать.
Каким жалким и незрелым
Представляется мне свет

Со своими пестрыми вещами;
Как отрадны, как благодатны
Проводы дня.
Итак, лишь потому,
Что переманивает ночь
Приверженцев твоих,
Ты засеваешь
Мировое пространство
Вспыхивающими шариками
В знак твоего всевластия,
Недолгой отлучки,
Скорого возврата.
Истинное небо
Мы обретаем
Не в твоих меркнущих звездах,
А в тех беспредельных зеницах,
Что в нас ночь отверзает.
Им доступны дали,
Неведомые даже чуть видным разведчикам
В твоих неисчислимых ратях, —
Пренебрегая Светом,
Проницают они сокровенные тайники
Любящего сердца,
И воцаряется неизъяснимое блаженство
На новых высотах.
Слава всемирной владычице,
Провозвестнице
Святынь вселенских,
Покровительнице
Любви блаженной;
Приходишь ты, любимая,
Ночь, ты здесь —
Восхищена моя душа —
Земной день миновал,
И ты снова моя.
Смотрю в твои глубокие, темные очи
И вижу лишь блаженство и любовь.
Мы никнем на алтарь Ночи,
На мягкое ложе —
Ниспадает покров,
И нежным теплым гнетом разожженный
Вспыхивает сладостной жертвы
Чистый жар.

Неужели утро неотвратимо?
Неужели вечен гнет земного?
В хлопотах злосчастных
Исчезает ли небесный след ночи?
Неужто никогда не загорится вечным пламенем
Тайный жертвенник любви?

Положен свету
 Свой предел
 И бденью —
 Но в бессрочном ночь царит,
 Сон длится вечно.
 Сон святой!
 Не обездоливай надолго
 Причастных Ночи
 В тягостях земного дня.
 Лишь глупцы тобой пренебрегают,
 Не ведая тебя,
 Довольствуясь лишь тенью,
 Которую ты сострадательно
 Отбрасываешь в нас,
 Пока не наступила истинная ночь.
 Они тебя не обретают
 В золотом токе гроздьев,
 В чарах масла
 Миндального —
 В темном соке мака
 Не ведают они,
 Что это ты
 Волнуешь
 Нежные девичьи перси,
 Лоно в небо превращая, —
 Не замечают они
 Как ты веешь из древних сказаний,
 Приобщая к небу,
 Сохраняя ключ
 К чертогам блаженных,
 Неисчерпаемой тайны
 Безмолвный вестник.

Однажды, когда я горькие слезы лил, —
 когда, истощенная болью, иссякла моя надежда
 и на сухом холме, скрывавшем в тесной своей темнице
 образ моей жизни, я стоял, одинокий,
 как никто еще не был одинок, неизъяснимой гоним
 боязнью, измученный, весь в своем скорбном помысле, —
 когда искал я подмоги, осматриваясь понапрасну,
 не в силах шагнуть ни вперед, ни назад,
 когда я в беспредельном отчаянье тщетно держался
 за жизнь ускользнувшую, гаснущую, тогда ниспослала
 мне даль голубая
 с высот моего бывшего блаженства пролившийся сумрак,
 и сразу расторглись узы рожденья, оковы света.
 Сгнуло земное великолепье вместе с моею печалью,
 слилось мое горе с непостижимой новой вселенной —
 ты, вдохновенье ночное, небесной дремой меня осенило;
 тихо земля возносилась, над нею парил

мой новорожденный, не связанный более дух.
 Облаком праха клубился холм — сквозь облако виделся мне
 просветленный лик любимой. В очах у нее
 опочила вечность, — руки мои дотянулись до рук ее,
 с нею меня сочetaли, сияя, нерасторжимые узы
 слез. Тысячелетия канули вдаль, миновав,
 словно грозы. У ней в объятьях упился
 я новой жизнью в слезах. Это пригрезилось мне
 однажды навеки, и это прошло, но остался
 отблеск незыблемой вечной веры в ночное
 небо, где солнце — любимая.

4. Тоска по смерти. Она высасывает меня. 5. Христос. Он поднимает камень с могилы.

Я знаю теперь, когда наступит последнее утро — когда
 больше Свет не прогонит Ночи, Любви не спугнет — когда
 Сон будет вечен в единой неисчерпаемой грезе.
 Небесное изнеможение не оставит меня больше.
 Утомительно долг был путь мой ко Гробу Святому,
 тяжек мой крест. Чьи уста увлажнила прозрачная
 влага, чувствам обычным незримая, ключ,
 бьющий в сумрачном лоне холма, чьим подношьем
 земной поток пресечен, кто стоял на пограничной
 вершине мира, глядя вниз, в неизведанный дол,
 в гнездилище ночи, поистине тот не вернется
 в столпотворение мирское, в страну, где господствует свет
 в смятении вечном. Пилигрим на вершине возводит
 кущи свои, кущи мира, томится, любит и смотрит
 ввысь, пока долгожданный час не унесет его в глубь
 источника. Все земное всплывет,
 вихрем гонимое вспять; лишь то, что Любовь осветила
 прикосновеньем своим, течет, растворяясь,
 по сокровенным жилам в потустороннее царство,
 где благоуханьем
 приобщается к милым усопшим.

Еще будишь
 Усталых ты, Свет,
 Ради урочной работы,
 Еще вливаешь в меня отрадную жизнь,
 Однако замшелый
 Памятник воспоминанья
 Уже не отпустит меня в тенета к тебе.
 Готов я
 Мои прилежные руки
 Тебе предоставить,
 Готов успевать я повсюду, где ты меня ждешь,
 Прославить всю роскошь твою
 В сиянье твоём,
 Усердно прослеживать

Всю несравненную слаженность,
Мысль в созиданье своем ухищренном,
Любоваться осмысленным ходом
Твоих сверкающих
Мощных часов,
Постигать соразмерность
Начал твоих,
Правила
Твоей чудной
Игры
В неисчислимых мирах
С временами твоими.
Однако владеет
Моим сокровенным сердцем
Одна только Ночь
Со своей дочерью,
Животворящей Любовью.
Ты можешь явить мне сердце, верное вечно?
Где у твоего солнца
Приветливые очи,
Узнающие меня?
Замечают ли звезды
Мою простертую руку?
Отвечают ли они мне
Рукопожатьем нежным?
Ты ли Ночи даруешь
Оттенки,
Облик легкий,
Или, напротив,
Она наделила твое убранство
Более тонким и сладостным смыслом?
Чем твоя жизнь соблазнит,
Чем прельстит она тех,
Кто изведал
Восторги
Смерти?
Разве не всё,
Что нас восхищает,
Окрашено
Цветом Ночи?
Ты выношен в чреве ее материнском,
И все твое великолепии
От нее.
Ты улетучился бы
В себе самом,
В бесконечном пространстве ты
Истощился бы,
Когда бы она не пленила тебя,
Сжимая в объятьях,
Чтобы ты согрелся
И, пламеня, мир зачал.
Поистине был я

Прежде тебя;
С моими сородичами
Мать послала меня
Твой мир заселять,
Его целить Любовью,
Чтобы придать
Человеческий смысл
Твоим созданьям.
Еще не созрели они,
Эти мысли божественные —
Еще приметы
Нашего Настоящего
Редки.
Однажды твои часы покажут
Скончание века.
И ты,
Приобщенный к нашему лику,
Погаснешь, претставишься ты.
В себе самом ощутил я
Завершение твоих начинаний,
Небесную волю,
Отградный возврат.
В дикой скорби
Постиг я
Разлуку твою
С нашей отчизной,
Весь наш разлад
С нашим древним
Дивным небом.
Тщетен твой гнев,
Тщетно буйство твое,
Не истлеет
Водруженный навеки крест,
Победная хоругвь
Нашего рода.

Путь пилигрима
К вершинам, вдаль,
Где сладким жалом
Станет печаль;
Являя небо,
Внушил мне склон,
Что для восторгов
Там нет препон.
В бессмертной жизни
Вечно любя,
Смотрю я сверху
Вниз на тебя.
На этой вершине
Сиянью конец —
Дарован тенью
Прохладный венец.

С любовью вышей
 Меня скорей,
 И я почию
 В любви моей.
 Смерть мне дарует
 Юность во сне,
 Жизнь мне возвращая
 В своей быстрине.
 [О смерти хочу говорить я
 И возвещать ее с любовью,
 Пока я
 Среди людей,
 Ибо без нее
 Чем был бы род людской
 И о чем говорили бы люди,
 Если бы не говорили о ней
 Как о своей родоначальнице
 И о своей душе.]

Над племенами людскими
 В просторном их расселенье
 До времени царило
 Насилие немое
 Железного рока.
 Робкая душа
 Людская
 В тяжких, темных
 Пеленах дремала.
 Земля была бескрайна —
 Обитель богов,
 Их родина,
 Богата кладами
 И чудесами.
 От века высился
 Их таинственный чертог.
 Над голубыми
 Горами утра
 В священном лоне
 Моря
 Обитало солнце,
 Всевозжигающий,
 Живительный свет.

Старый мир. Смерть. *Христос — новый мир*. Мир будущего. — Его страданье. — Юность. —
 Благовествование. Воскресение. *С любовью меняется мир*. Завершение. — Воззвание.

Опорой мира блаженного
 Был древний исполин.
 Под гнетом гор
 Лежали первенцы
 Матери Земли —
 Бессильные

В своем сокрушительном гневе
Против нового
Великолепного поколения богов
И против дружелюбных
Радостных людей.
Темного моря
Голубая глубина
Была лоном Богини.
Небесные сонмы
Заселяли, радостно вождедея,
Хрустальные гроты —
Деревья, реки,
Цветы и звери
Были не чужды человечности.
Слаще было вино,
Ибо цветущая божественная юность
Его ниспосылала человеку —
И пышные снопы
Колосьев золотых
Были дарованы богами.
Упоение любви,
Священное служенье
Небесной красоте.
Такова была жизнь,
Вечное празднество
Богов и людей.
Все племена
По-детски почитали
Нежный, изысканный пламень,
Как наивысшее в мире,
Но только одна мысль

К пирующим приблизилась, грозя,
И сразу растерялись даже боги.
Казалось, никому спастись нельзя.
Напрасно сердце сладкой ждет подмоги,
Таинственная жуткая стезя
Вела чудовище во все чертоги —
Напрасный плач, напрасные дары!
Смерть прервала блаженные пиры.

Чужд радостям глубоким и заветным,
Столь дорогим для любящих сердец,
Которые томленьем жили тщетным,
Не веря, что любимому конец,
Казалось, этим грезам беспросветным,
Бессильный в битве, обречен мертвец,
И сладкая волна живого моря
Навек разбилась об утесы горя.

И человек приукрашал, как мог,
Неимоверно страшную личину:

Прекрасный отрок тушит лампу в срок,
Трепещут струны, возвестив кончину;
Смыл память некий сладостный поток.
На тризне, подавив свою кручину,
Загадочную прославляли власть
И пели, чтоб в отчаянье не впасть.
Древний мир
Клонился к своему закату.
Оградный сад
Юного племени
Процвел,
И ввысь
В поисках пустынной свободы
Не по-детски
Стремилась взрослеющие люди.
Скрылись боги.
Одиноко, безжизненно
Коснела природа.
Обездушены ее законы.
Железной цепью
Строгих чисел,
Как прах, как дуновенье,
Рассеялся в понятиях
Безмерный цвет
Тысячекратной жизни.
Пропала
Покоряющая вера
И превращающая всё во всё,
Всесочетающая
Союзница небес
Фантазия.
Враждебно веял
Северный холодный ветер
Над застывшим лугом,
И воспарила родина чудес
В эфир.
В даях небесных
Засветилось
Множество миров.
В глубинной святине,
В горней сфере чувства
Затаилась душа вселенной
Со стихиями своими
В ожиданье,
Когда забрезжит
Новый день
Всемирного великолепя.
Свет больше не был
Знаменем небесным,
Обителью богов,
Облекшихся теперь
Покровом Ночи.

В плодоносном
Этом лоне
Рождались пророчества.
Среди людей
В народе, прежде всех
В презрении
Созревшем слишком рано,
Чуждавшемся упорно
Юности блаженно-невинной,
Явился новый мир
Ликом невиданным
В жилище
Сказочно убогом —
Сын первой Девы-Матери,
Таинственно зачатый
Беспредельным.
В своем цветении преизобильном
Чающая мудрость
Востока
Первой распознала
Пришествие нового века.
К смиренной
Царской колыбели
Указала ей путь звезда.
Во имя необозримого грядущего
Волхвы почтили новорожденного
Блеском, благоуханьем,
Непрезойденными чудесами природы.
Одинокó раскрывалось
Небесное сердце,
Обращено
К пылающему лону любви,
К высокому отчему лику,
Лелеемое тихой нежной матерью
В чайнье блаженном на груди.
С боготворящим пылом
Взирало пророческое око
Цветущего младенца
На дни грядущие
И на своих избранников,
Отпрысков Его Божественного рода,
Не удрученное земными днями
Своей участи.
Вскоре вокруг него сплотилось
Вечное детство душ,
Объятых дивно всемогущею любовью.
Вокруг Него
Цветами прорастала
Неведомая, новая жизнь,
Сближающая с Ним, —
Слова неистощимые,
Отраднейшие вести

Сыпались искрами
Божественного Духа
С приветных уст Его
С дальнего берега.
Под небом ясным Греции
Рожденный,
Песнопевец
Прибыл в Палестину
И предался всем сердцем
Дивному Отроку:

Тебя мы знаем, Отрок. Это Ты
На всех могилах наших в размышленье,
Отрадный знак явив из темноты,
Высокое сулил нам обновленье.
Сердцам печаль милее суеты.
Как сладостно нездешнее томленье!
Жизнь вечную Ты в смерти людям дашь.
Ты – смерть, и Ты – целитель первый наш.

Исполнен ликованья,
Песнопевец .
Отправился в Индостан,
Унес он сердце,
Полное любовью вечной,
И в пламенных напевах
Излил его
Там под нежным небом,
Доверчивее льнушим
К земле.
И тысячи сердец
К себе привлек,
И тысячекратно
Благая весть ветвилась.
Вскоре после прощанья
С песнопевцем
Стала жертвою людского
Глубокого растленья
Жизнь драгоценная.
Он умер в молодых годах,
Отторгнутый от любимого мира,
От плачущей матери
И от своих друзей.
Темную чашу
Невыразимого страданья
Осушили нежные уста,
В жестоком страхе
Близилось рожденье
Нового мира.
В упорном поединке
Испытал он ужас древней смерти,
Дряхлый мир тяготел над ним.
Проникновенным взглядом

Тысячи мучеников и страдальцев,
 Исполнены верности, веры, надежды,
 Ушли за Тобой.
 Обитают с Тобой
 И с Девой Небесной
 В Царстве Любви
 Священнослужители
 В храме
 Смерти Небесной.

Начиная отсюда, строфы в обеих версиях совпадают, за исключением некоторых несущественных расхождений. Строке «Из царства света вниз, во мрак» в окончательной версии предшествует название «Госка по смерти», которым начинается шестой, заключительный гимн.

¹ *...странствующий чаровник...* — В рукописной версии множественное число: «странствующие чаровники». Мотив странствия встречается в первой части «Учеников в Сайсе», когда заходит речь об учителе: «Повзрослев, он странствовал...» (с. 114). В начале романа «Генрих фон Офтердинген» героя «чаруют» речи странника, навевая ему сон о голубом цветке (см. примеч. 1 к гл. I, ч. 1).

² *...в чарах миндального масла — в темном соке мака.* — Имеется в виду опиумный мак. В 1798 г. Новалис делает такую запись: «Если я заболею... так что не будет больше надежды или мне станет совсем худо, тогда мне пригодится г[орькая] м[индальная] в[ода] и опиум». Горькая миндальная вода применялась в медицине как средство против судорог.

³ *Облаком праха клубился халм...* — Строка восходит к дневниковой записи от 13 мая 1797 г.: «Я сдунул могилу, как прах».

⁴ *...крест — победная хоругвь нашего рода.* — Восходит к народной песне «Святая неделя», где Христос говорит Богоматери:

Хорувью Мой крест подниму Я в борьбе.
 В сиянии славы явлюсь Я Тебе.
 (Пер. В. Микушевича)

⁵ *С дальнего берега... песнопевец...* — По поводу этого образа между комментаторами распространены разные мнения. Предполагают, например, что дальний берег — Египет. Некоторые отождествляют с песнопевцем самого Новалиса. Песнопевца соотносят и с апостолом Фомой, отправляющимся проповедовать учение Христа в Индию. Ссылаются на Евангелие: «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! Нам хочется видеть Иисуса» (Ин. 12: 20–21). Возможна параллель с проповедью апостола Павла в афинском ареопаге: «...Ибо, проходя и осматривая ваши святилища, я нашел и жертвенник, на котором написано: “неведомому Богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедаю вам... Ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: “мы Его и род”» (Деян. 17: 23, 28). По всей вероятности, песнопевец мыслится как один из этих греческих стихотворцев.

⁶ *К Тебе одной, Мария...* — Явная переключка со стихами из второй части романа: «Средь мирского бездорожья, Матерь Божья», а также с духовными песнями XIV и XV.

⁷ *Когда забыта старина / От новшест мало толку...* — Переключка с началом стихотворения «К Тику»:

Ребенок, радости не зная,
 Затерян в дальней стороне,
 Отвергнув блеск чужого края,
 Остался верен старине.

См. также песню II: «Старина помолодела».

ДУХОВНЫЕ ПЕСНИ

Среди других произведений Новалиса «Духовные песни» отличаются своей законченностью, но при более пристальном изучении выясняется, что и они вытекают из одних произведений, переливаясь в другие. «Духовные песни» пишутся в основном в 1799 г., интенсивно взаимодействуя с другими начинаниями этого года, наиболее плодотворного для Новалиса. Невозможно установить, что чем предвосхищено, но последний из «Гимнов к Ночи» «Тоска по смерти» и заключительные строфы пятого гимна могли бы входить и в «Духовные песни». Очевидно также родство «Духовных песен» со стихами из романа «Генрих фон Офтердинген», в особенности с песней Генриха из второй части. При встрече с друзьями-романтиками 16 ноября 1799 г. Новалис читает «Духовные песни» вместе с «Христианством, или Европой», и если «Речь» Новалиса подвергается при этом строгой критике, «Духовные песни» вызывают единодушное одобрение и даже энтузиазм. Первоначально говорят о «Христианских песнях», что так или иначе подчеркивает их родство с «Христианством, или Европой», но при этом Шлейермахер, неодобрительно относясь к «Христианству, или Европе», восторженно принимает и пропагандирует «Духовные песни», что неудивительно: слагая свои «Христианские песни», Новалис явно вдохновляется «Речами о религии», вышедшими в том же, 1799 г.

В прозаических набросках, или заметках, связанных с «Духовными песнями», Новалис откровенно подчеркивает их проповедническую направленность:

«Христианские песни — проповеди-извлечения из старинных благочестивых писаний...»

Но проповедническая стихия не имеет для Новалиса ничего общего с догматической заидательностью; для него проповедь — именно стихия, то есть поэзия:

«И проповеди тоже никак не должны быть просто догматическими — они предназначены непосредственно для возбуждения священной интуиции — для оживления сердечной деятельности.

Проповеди и песни могут содержать истории, воздействующие религиозно по преимуществу. Приготовительные, преподавательские и моральные проповеди относятся к другому жанру.

Истинными проповедями должно стать Божье Слово — вдохновения.

Религиозные явления — откровения в словах.

Покой, соборность, зодчество, обряд и музыка соответствуют этой цели. Истинная религия обнаруживается преимущественно через чистое, насыщающее, всеоживляющее вдохновение — оно всё возвышает своим теплом...

Песни и проповеди должны быть простыми, но при этом *высокопоэтическими*» (Novalis. Schriften: In 4 Bd. mit einem Begleitband. 3. Aufl. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 178).

«Потребность в определенной, объективной религии» свидетельствует, вероятно, о влиянии Шлейермахера. В паралипоменах к «Духовным песням» сформулирован основополагающий принцип новалисовской теологии:

«Для истинной религиозности ничто не грех» (Ibid. S. 178).

Немецкие комментаторы соотносят каждую из «Духовных песен» с тем или иным событием в жизни автора или с конкретными событиями церковной жизни. Так, первое стихотворение обозначается как песнь адвента (адвент — первое из четырех воскресений, предшествующих западному Рождеству; адвентом начинается церковный Новый год). Второе стихотворение называют рождественской песнью. Третьим и четвертым стихотворением обозначен интимный религиозный опыт автора, запечатленный мистическим девизом: «Христос и София». В пятом стихотворении «отрок-паж Невесты Невестной» осеняет земной шар фатою Марии-Софии и присоединяется к Христовым ученикам. Шестое стихотворение, трепетно личное, сочетает исповедь и исповедание веры как залог спасения. Седьмое стихотворение «Гимн» занимает особое место среди «Духовных песен». Его замысел и проблематика намечены раньше, во фрагментах 1798 г. В то же время само название «Гимн» сближает эту духовную песню с «Гимнами к Ночи». «Гимн» воспринимается как своеобразная квинтэссенция

рукописной версии, как ее поэтический итог или эпилог (седьмой гимн после шестого), продолжая традиции духовной оды в свободных ритмах. При этом «Гимн» выпадает из сплошного стиха окончательной версии, опубликованной в «Атенеуме», подтверждая различие между стихами, пусть даже свободными, и литургическим Стихом. Комментаторы называют «Гимн» Песнью причастия. Восьмое стихотворение обозначается как Песнь Страстей Христовых, а девятое — как Пасхальная песнь. Десятое стихотворение называют Крестной Песнью. Одиннадцатое стихотворение можно называть Песнью Царства Божьего, а Песнью Троицы называют двенадцатое стихотворение, где дает себя знать влияние Якоба Бёме и духовной поэзии XVI–XVII вв. Тринадцатое стихотворение со своими подчеркнутыми личными мотивами может обозначаться как Песнь любви к ближним, а заключительные два стихотворения в сочетании с песней Генриха из второй части романа образуют особый цикл, посвященный Богородице. Этот цикл возводят к «Сикстинской Мадонне» Рафаэля; антропософская традиция полагает, что в личности Новалиса присутствует также Рафаэль.

Среди стихов Новалиса «Духовные песни» наиболее традиционны. В параллеломенах к ним Новалис пишет о почитании Библии и о чтении писаний доктора Лютера. На немецкой почве Библию трудно представить себе без перевода, осуществленного Мартином Лютером, чьи духовные стихи, несомненно, предвосхищают «Духовные песни» Новалиса, какой бы критике Новалис ни подвергал Реформацию, включая лютеранство, в своем фрагменте «Христианство, или Европа».

«Духовные песни» получили широчайшее распространение в германском мире сразу после того, как первые семь из них были напечатаны в ноябре 1801 г. в «Альманахе муз». После этого «Духовные песни» входили в многочисленные сборники религиозных песнопений, как лютеранские, так и евангелические. «Гимны к Ночи» и «Духовные песни» в переводе Вячеслава Иванова впервые напечатаны в собрании его сочинений (*Иванов В. Указ. соч. Т. IV*). В моем переводе «Гимны к Ночи», а также «Духовные песни» (I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, XIV, XV) были опубликованы впервые в антологии: *Поэзия немецких романтиков / Сост., предисл. и коммент. А. В. Михайлова. М.: Художественная литература, 1985.*

Перевод, который приводится в данной книге, осуществлен по изд.: *Novalis. Geistliche Leider // Schriften: In 4 Bd. mit einem Begleitband. 3. Aufl. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 159–177.*

Мартин Лютер

ИЗ ГЛУБИНЫ МОИХ СКОРБЕЙ...

Из глубины моих скорбей
К Тебе, Господь, зываю.
Слух преклони к мольбе моей.
Я в муках изнываю.
Когда за первородный грех
Ты будешь взыскивать со всех,
Кто на земле спасется?

В небесном царствии Твоем
Лишь благодать всевластна.
И даже праведным житьем
Кичимся мы напрасно.
Не с горделивой похвальбой,
А со смиренною мольбой
Обрящешь милость Божью.

На Господа надеюсь я, —
Не на свои заслуги.

Зовет Его душа моя
В земном своем недуге.
Не нужно мне других наград.
Мой самый драгоценный клад —
Святое Слово Божье.

И пусть продлится долго ночь,
И снова на рассвете
Под силу с Богом превозмочь
Сомненья злые эти.
Иаковлев завет храни,
Который нам в былые дни
Дарован духом Божиим!

Пускай, блуждая наугад,
Мы нагрешили много,
Простится больше во сто крат
Тому, кто помнит Бога.
Бог — пастырь добрый, Бог спасет
Заблудший, грешный свой народ
От всяческих напастей.

ДЕТСКАЯ ПЕСНЯ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Я к вам прямехонько с небес.
Узнал я чудо из чудес.
Услышьте, люди, весть мою!
Я говорю, и я пою.

Младенец девою рожден.
На благо вам родился Он.
Хорош Младенец до того,
Что всюду в мире торжество.

Он всем спасение принес,
Господь наш Иисус Христос.
Он пострадать за вас готов.
Очистит вас Он от грехов.

Блаженство даст Он вам в удел.
Отец небесный так велел:
И днесь и присно и вовек
Живи на небе, человек!

По всем приметам это Он:
Беднее не сыскать пелён.
В убогих этих яслях Тот,
Кто на Себе весь мир несет.

Отныне радость наша — в Нем.
За пастухами в дверь войдем!

Приносит счастье Он один,
Благословенный Божий сын.
Ах, сердце, верь моим глазам!
Кто это в бедных яслях там?
Младенец этот, милый нам,
Христос, Господь, Спаситель Сам.

Привет, желанный гость, привет!
Не презирая наших бед,
Нисходишь к нашим Ты грехам.
За это чем Тебе воздам?

Господь, начало всех начал,
Творец вселенной, как Ты мал!
Осёл и вол траву жуют.
У них в кормушке – Твой приют.

Однако даже целый свет,
Где самоцветам счету нет,
Весь мир, где столько звезд блестит.
Христа младенца не вместит.

Ни бархата, ни багреца...
Охалка прелого сенца.
Но Ты, Небесный Царь, на нем
Во всем величии своем.

Христа всем сердцем узнаю.
Явил Ты правду мне Свою.
Богатство, слава, блеск мирской –
Ничто, Господь, перед Тобой.

Войди в меня, Спаситель мой,
Как возвращаются домой.
В смиренном сердце – Твой покой!
Нет, не расстанусь я с Тобой.

Не ведать мне печали впредь!
Я буду прыгать, буду петь.
Я в ликовании святом
Слагаю сладостный псалом.

Пою о Боге всеблагом,
О Божьем сыне дорогом.
Все войско райское поет,
Нам возвещая Новый год.

Песнь I. «Чем без Тебя я был бы в мире...»

В рукописи песне предшествует надпись: «С ним и без него» (вероятно, «с Ним и без Него», поскольку имеется в виду Христос). Песня сразу же начала исполняться на собраниях гернгутеров – секты, приверженцем которой был отец Новалиса. Вскоре после смерти

сына барон Эразм фон Харденберг, выходя из церкви, спросил, кто автор этой чудно прекрасной песни, и был глубоко потрясен, когда в ответ услышал: «Ваш сын».

¹ *...Весна в тропическом раю.* — Тропический рай у Новалиса не противостоит Северу, и к раю, возможно, относится строка из сказки Клингсора: «Малютке змейке Север мил».

² *...Бывало, бредили греховным...* — Во фрагментах Новалис писал, что откровением христианства совершается уничтожение греха (см. первую строку предпоследней строфы: «Грех минул, как мираж бесследный»). Все это согласуется с принципом, сформулированным в параллеломенах к «Духовным песням»: «Для истинной религиозности ничто не грех» (см. выше).

³ *...В небесной солнечной отчизне...* — В романе «небесная отчизна» знаменует чудо-цветком. Во второй главе читаем: «Чудо-цветок манил его, и Генрих оглядывался на Тюрингию, оставшуюся позади, охваченный несказанным чаяньем, как будто долгое странствие в направлении, выбранном ими теперь, ведет назад, на родину, куда он, собственно, и держит путь» (с. 15).

Песнь II. «Старина помолодела...»

Старина у Новалиса противостоит старению во времени и потому соотносится с молодостью, даже с детством, как в стихотворении «К Тику».

Песнь III. «Когда горячими слезами...»

¹ *...Даря кровь костям сухим...* — Соотносится с пророком Иезекиилем: «Так говорит Господь Бог костям сим: вот, я введу дух в вас, и оживете» (Иез. 37: 5).

Песнь IV. «Прошлым дням, часам беспечным...»

В стихотворении представлено настроение Новалиса после смерти Софи фон Кюн.

¹ *...Кто кого ко мне ведет...* — Ответ на этот вопрос находим в дневниковой записи (29.06.1797): «Христос и София».

Песнь V. «Если Он со мною...»

¹ *...Мой родимый край.* — См. песнь I: «В небесной солнечной отчизне Господь Всевышний нам сродни».

Песнь VI. «Когда везде и всюду...»

Примечательно поэтическое противоречие, характерное для сборности по Новалису: «Один с Тобой пребуду» — «Придут со мною братья».

Песнь VII. Гимн

Название явно напоминает «Гимны к Ночи», первоначально также обозначавшиеся в единственном числе («Стихотворение» или «Гимн»). В «Гимне» достигается художественное совершенство, на которое ориентирована рукописная версия «Гимнов к Ночи». Создавая духовную оду в свободных ритмах, Новалис использует опыт Клошштока, о котором пишет в своих «Поэтицизмах»: «Произведения Клошштока кажутся по большей части вольными переводами и обработками из неизвестного поэта, выполненными очень талантливым, но лишенным поэтического дара филологом». «Гимн» как Песнь причастия предвосхищен одним из Теплицких фрагментов, написанных Новалисом в июле—августе 1798 г.: «Совместная трапеза — символическое действие единения. Все остальные способы единения, кроме брака, суть определенным

образом направленные, определенные объектом и взаимно его определяющие действия. Напротив, брак есть независимое, полное единение. Всякое вкушение, поглощение или усвоение есть съедение, или съедение есть не что иное, как усвоение. Любое духовное вкушение может поэтому выражаться в съедении. В дружбе друг действительно питается своим другом или живет его личностью. Таково истинное обозначение тела, замещающего дух, — и на поминальной трапезе с каждым куском при участии смелой, сверхчувственной силы воображения съедается плоть, с каждым глотком выпивается кровь друга. Изнеженному вкусу нашего времени это может показаться настоящим варварством — но кто заставляет при этом думать о грубом, тленном мясе с кровью. Телесное усвоение достаточно таинственно, чтобы оказаться прекрасным образом духовного *мнения* — разве кровь и плоть на самом деле так противны и отвратительны? Поистине здесь нечто большее, чем золото и бриллианты, — и уже недалеко время, когда распространятся более высокие понятия об органической телесности.

Кто знает, каким изысканным символом является кровь? Как раз то отталкивающее, что присуще органическим членам, указывает на нечто весьма возвышенное. Мы содрогаемся перед ними, как перед призраками, и с детским ужасом чуем в этом странном смешении целей таинственный мир, давно знакомый нам.

Возвращаясь к поминальной трапезе, почему бы не предположить, что теперь плоть нашего друга может быть хлебом, а кровь — вином?

Так мы день за днем вкушаем гения природы, и каждая трапеза становится поминальной — питающей душу, как и тело, посредством таинственного преобразования и обожествления на земле — «мистическим» оживляющим общением с жизненным абсолютом. Мы вкушаем Безымянного во сне — мы пробуждаемся, как дитя у материнской груди, и понимаем, что всякое утоление голода и жажды, всякое подкрепление сил даруется нам любовью и милостью; и воздух, питье, пища суть лишь члены несказанно милого существа» (пер. мой. — В. М.) (*Novalis. Dichtungen und Prosa. Leipzig, 1975. S. 583–584*).

Некоторые мысли и чаянья этого фрагмента и «Гимна» распознаются в мистериальной чувственности, исследованной В. В. Розановым. Летом 1799 г. Новалис предполагал написать не только христианские песни, но и христианские дифирамбы, первым среди которых мог оказаться «Гимн».

¹ *...Божественный смысл причастия...* — Явная ссылака на Евангелие: «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни; ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье; ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем...» (Ин. 6: 53–56).

Песнь VIII. «Буду плакать, плакать вечно...»

Комментаторы полагают, что Новалис воспроизводит в этой песни стихотворный размер и структуру католической секвенции «Stabat mater dolorosa» («Стояла мать скорбящая»). Иногда песня Новалиса истолковывается как монолог Марии Магдалины.

¹ *...Слезы лью в тоске священной...* — В «Мессиаде» Клопштока Голгофа — «площадь священной тоски». В «Речах о религии» Шлейермахер обозначает «эту священную тоску, ибо в языке нет другого наименования», как «преобладающий тон всех религиозных чувств», свойственных христианину.

Песнь IX. «Я говорю: Он жив, Он жив...»

¹ *...Оплакивать усопших — грех...* — Отчетливая переключка с «Гимнами к Ночи»:

И плакать на могилах
Не нужно никому.

Песнь X. «Порою в заблужденье...»

¹ ...*Кто крест вознес чудесный...* — Снова переключка с «Гимнами к Ночи»: «Не истлеет водруженный навеки крест — победная хоругвь нашего рода» (Гимн 4; см. также коммент. к нему).

Песнь XI. «Я не стремлюсь к другому кладу...»

Мотив клада или сокровища, столь органичный для Новалис, переосмысливается здесь в духе Нагорной проповеди: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 19–21).

Песнь XII. «Где ты, Целитель всех миров?»

Стихотворение выделяется среди других духовных песен своей необычной ритмикой. Интенсивное влияние Якоба Бёме, заметное в стихотворении, позволяет предположить, что оно написано в начале 1800 г., когда Новалис увлеченно читает этого мыслителя-поэта. Впрочем, Якоб Бёме не является единственным источником двенадцатой духовной песни. Поэтическую концепцию и отдельные строки Новалис заимствовал из церковного католического песнопения «Тоска праотцев по Мессии», автором которого был известный поэт XVII в. Фридрих Шпее фон Лангенфельд (1591–1635):

1

Спаситель, к нам с небес приди;
Врага, Господь, опереди!
Открой небесные врата
и двери вере во Христа.

2

Да снизойдут к нам небеса,
как благодатная роса;
благоуханный Ты елей
на дом Иакова пролей.

3

Зазеленеть, Господь, вели
горам и долам всей земли.
Сначала ключ, потом поток.
Спаситель разве не цветок?

4

Где Ты, целитель всех миров,
Надежда наша и Покров?
Храня высокий Твой престол,
Ты снизойди в наш скорбный дол.

5

Спаситель — солнце и звезда,
смотреть бы на Тебя всегда.
Ты, солнце, лишь Твои лучи
путь освещают нам в ночи.

6

Томимся в тяжелой мы нужде.
Куда ни глянем, смерть везде.
Даруй нам сильною рукой
у нас на родине покой.

7

Ты вечный избавитель наш.
Нам Ты добром за зло воздашь.
И в милосердии Твоем
Тебе хвалу мы воздаем.
(Пер. В. Микушевича)

Последняя строфа, по всей вероятности, является более поздним добавлением, но она печаталась в собраниях церковных песнопений, которыми мог пользоваться Новалис.

Песнь XIII. «Если тяжесть роковая...»

Эта духовная песнь перекликается с лирическим стихотворением Новалиса, посвященном его невесте Жюли фон Шарпантье:

К ЮЛИИ

Когда восторгом несказанным,
Твой спутник, я навек объят
И образ твой для сердца свят,
При этом будучи желанным,
Когда я твой и ты моя,
В чем усомнимся мы едва ли,
Когда друг друга мы избрали,
Любви взаимной не тая,
Рай на земле нам уготован,
Сладчайшим существом дарован.

Он движет нашу судьбою.
Кто может с Ним нас разлучить?
Так никому не омрачить
Союза нашего с тобою.
Не страшен даже смертный час
И неизбежные мьгарства,
Поскольку здесь начало царства
Его небесного для нас.
И мы друг друга в предстоящем
В Его объятиях обрящем.

(Пер. В. Микушевича)

Сопоставление тринадцатой песни с этим стихотворением показывает, как исчезает различие между интимным переживанием и мистическим наитием, а сама смерть насыщается эротизмом, что придает последним стихам Новалиса особую магическую притягательность.

Песнь XIV. «Кто видел Твой пречистый лик...»

Эта песнь давала повод уподоблять Новалиса Рафаэлю, написавшему «Сикстинскую Мадонну».

Песнь XV. «И на иконах Ты прекрасна...»

Не исключено, что обе последние духовные песни, посвященные Деве Марии, по первоначальному замыслу Новалиса должны были входить во вторую часть романа «Генрих фон Офтердинген».

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихотворения Новалиса, не вошедшие ни в «Гимны к Ночи», ни в «Духовные песни», ни в роман, объединяются обычно под наименованием «Разные стихотворения» (в оригинале «*Vermischte Gedichte*» («Смешанные стихотворения»). Наименование это дано, по всей вероятности, Людвигом Тиком уже в 1802 г. Брат Новалиса Карл фон Харденберг оставил большую связку бумаг с неопубликованными стихами поэта, снабдив ее надписью: «Бумаги Фрица, написанные его собственной рукой, предназначенные для хранения. После моей смерти могут быть предоставлены лишь Тику и Фридриху Шлегелю». В наименовании «разные» или тем более «смешанные стихотворения» кроется намек на их второстепенность. Людвиг Тик выделяет лишь некоторые из них, между тем стихи Новалиса вряд ли можно считать разрозненными случайными опытами: каждое из них вписывается в грандиозное, незавершенное целое, которым является творчество поэта. Даже случайные стихотворения Новалиса – в сущности, стихотворения на случай, а именно такие стихотворения Гёте считал высшим родом лирической поэзии. Предполагают, что Новалис относил к собственным ранним стихам слова Клингсора, выдержанные в гётевском духе почти на уровне цитаты: «...чем отдаленнее и неведомее был предмет, тем больше хотелось мне петь о нем в юности. К чему же это приводило? К пустопорожнему, напыщенному словесному убожеству без малейшего поэтического проблеска». Возможно, Новалис временами оценивал свои юношеские стихи именно так, но, с другой стороны, он хранил их очень бережно, подчеркивая уже этой бережностью их значение для себя самого. Подготавливая стихи Новалиса к изданию, Фридрих Шлегель утверждал, что ищет среди них «зачатки хорошего, может быть, великого поэта». Это «может быть» сопутствовало лирике Новалиса слишком долго, заставляя исследователей колебаться в ее оценке. Поэт Новалис оставался в тени Новалиса-мистика, но Новалис-мистик никогда не приобрел бы такого значения и влияния, если бы не был поэтом, а в конце жизни над всеми другими его устремлениями верх берет как раз поэзия, которая, правда, никогда не была для него чистым искусством или только литературой: поэзия, вбирая в себя философию и мистику, образует мир и знаменует присутствие в нем Бога.

По свидетельству брата, Фриц писал стихотворения уже на двенадцатом году своей жизни. Ранними стихотворениями Новалиса принято называть стихотворения, написанные в 1788–1790 гг. Этот период в творчестве Новалиса обнаруживает неожиданное сходство с лицейским периодом Пушкина. Юный Фридрих отдает дань всем тогдашним веяниям и влияниям от анакреонтики до духовной оды. При этом, как правило, не приходится говорить о простом подражании. Новалис откликается на мотивы других поэтов, усваивает с невероятной, ненасытной восприимчивостью. Среди поэтов, особенно существенных для молодого Новалиса, исследователи называют Рамлера, Клопштока, Бюргера, Виланда, Шиллера. Новалис так или иначе осмысливает античную, французскую, английскую, итальянскую поэтическую культуру. Нет ни одного направления тогдашней поэзии, которое не оставило бы следа в его творчестве: просветительство, рококо, чувствительность, пиетизм, оссианизм. В 12 лет Фридрих уже обладает основательными познаниями в латыни и в гре-

ческом, со временем он переведет фрагменты из «Илиады», Вергилия, Горация, Феокрита, легендарного Орфея. Особенно плодотворным для Новалиса окажется погружение в родную немецкую традицию, в XVII и в XVI век, в поэзию барокко и в Якоба Бёме. Но Новалис не останавливается на этом, углубляясь в более отдаленное и не менее живое прошлое. Через миннезингеров он сближается с трубадурами и таким образом открывает пути, ведущие в XX век. В немецкую поэзию должны были прийти символисты и экспрессионисты Стефан Георге, Райнер Мария Рильке, Готфрид Бенн, чтобы всеми своими смысловыми нюансами заиграли последние стихи Новалиса, связующее звено между романтизмом и экспрессионизмом.

Именно в разных, или в смешанных, стихотворениях Новалиса отчетливо проступает одно поразительное обстоятельство. Новалис, этот певец Ночи и Смерти, совершенно чужд пессимистической традиции, которая вскоре после него заявит о себе именами Леопарди и Шопенгауэра. Уникальная особенность Новалиса — упойтельное, экстатическое жизнеутверждение, которому нисколько не мешает полное отсутствие иллюзий относительно собственной неизлечимой болезни и неизбежной смерти. Напротив, жизнелюбие Новалиса усугубляется приближением смерти. Смерть как будто опьяняет его, придавая вкус уходящей, но непреходящей жизни. Новалис пишет: «Жизнь — начало смерти. Жизнь дана лишь ради смерти. Смерть — одновременно окончание и начало, одновременно разлука и ближайшее самосочетание. Смертью завершается ограничение» («die Reduktion». Слово это может означать также «восстановление»). И это не просто теоретическая декларация или мистический парадокс. Абсолютный синтез жизни и смерти реально осуществляется в поэзии Новалиса, и смерть становится для него не только окончанием, но и началом, когда не остается ничего, кроме поэзии. Вот почему ни одно произведение Новалиса не заканчивается: его продолжение следует за пределами жизни. Если для Марселя Пруста творчество — обретение времени, которое все равно проходит (на то оно и время), то для Новалиса поэзия — вселение вечности во время или наше переселение в родную вечность. В этом экзистенциальное значение Новалиса для каждого человека, ибо ни один человек не уйдет от проблемы смерти, и никакая спиритуалистическая «жизнь после смерти» не снимает этой проблемы. Согласно Новалису, только поэзия дает человеку возможность жить одновременно в смерти и вне смерти, что Новалис продемонстрировал своим примером, успев засвидетельствовать свой опыт: «Вижу путь наш бесконечный...»

Многие стихотворения Новалиса, в особенности ранние, лишены точных датировок. Этим Новалис напоминает своих любимых индийских поэтов, пренебрегавших датами как тщетной данью мнимому времени.

Перевод осуществлен по изд.: *Novalis. Vermischte Gedichte // Schriften: In 4 Bd. mit einem Begleitband. 3. Aufl. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 469—546.*

К ЛИПЕ

Своей ритмомелодикой стихотворение предвосхищает Эйхендорфа и Мерики. Имение Обервидерштедт, в прошлом женский монастырь, принадлежало прадеду поэта. В парке, окружавшем замок, высилась липа, которую Новалис очень любил.

ХАРАКТЕР МОЕЙ БУДУЩЕЙ ЖЕНЫ

Шуточное стихотворение, в котором чувствуется глубоко интимный тон. Пристальный интерес к браку и к семейной жизни характерен уже для раннего Новалиса.

БЕГ ПО ЛЬДУ

У Клопштока было стихотворение с таким же названием, но стихотворение Новалиса отличается от него во всем остальном.

ДВЕ ДЕВИЦЫ

Яркий образец ранней новалисовской лирики.

¹ *Царит Амур... престал ночного божества*. — Примечательно, что «царит Амур в глазах, где тьма ночная». «Престол ночного божества» отдаленно предвосхищает «Гимны к Ночи».

² *Катон* — вероятно, Марк Порций Катон (Утический), сторонник римских добродетелей, строгий моралист. Отстаивал республику, покончил самоубийством, потерпев поражение.

³ *...Насмешливый Вольтер...* — Интересно противопоставление «насмешливого Вольтера» серьезному, чувствительному Бюргеру (Готфрид Август Бюргер (1747–1794) — немецкий поэт, представитель «Бури и натиска»).

⁴ *...И для меня Гораций — образцу...* — Имеется в виду ода Горация «Carpe diem» («Лови день»).

ПЕСНЯ ПРИ КУПАНЬЕ

Комментаторы проводят параллель со стихотворениями Штольберга и Якоби, подчеркивая превосходство Новалиса. В стихотворении намечаются творческие достижения позднего Новалиса, обретавшего в чувственности таинственный смысл жизни.

ДЬЯВОЛ

Стихотворение написано на бумаге с водяным знаком, указывающим 1790 г. Оно впечатляет вкусом к яркой реалистической детали, что часто недооценивается, когда заходит речь о Новалисе. Молодой поэт иронизирует над просветительством, истинным представителем которого выступает не «бездельник, *bel esprit*», а мошенник, выдающий пустоту за дьявола или дьявола за пустоту. В стихотворении в то же время уже намечается проблематика «Учеников в Саисе». Увидеть под покрывалом возлюбленную или самого себя — значит избежать пустоты, которая и есть дьявол.

ЖАЛОБА ЮНОШИ

Первое опубликованное стихотворение Новалиса (журнал Виланда «Немецкий Меркурий», апрель 1791 г.).

¹ *...Страстотерпца величавый лик...* — Речь идет о Шиллере, перенесшем в январе–марте 1791 г. тяжелую болезнь.

ДОРЕ

Стихотворение написано между серединой января и серединой августа 1800 г. Иоганна Доротея (Дора) Шток — дрезденская художница, писавшая портрет Жюли фон Шарпантье, с которой Новалис был помолвлен. Первый издатель этого стихотворения Фридрих Ферстер писал: «Самое удивительное, оставившее след в стихотворении, было то, что Новалис, когда уже клонился цветок *его* жизни, не имел об этом представления, опасаясь лишь раннего увядания своей любимой Жюли, хотя она была свежа и здорова. Его высшим желанием было видеть запечатленными в картине дорогие черты возлюбленной». Это свидетельство современника недостоверно в одном. Новалис вполне сознавал, что «клонится цветок *его* жизни», выражаясь словами Фридриха Ферстера, и желал бессмертия себе и своей невесте в искусстве, ибо «здесь начало царства Его небесного для нас» (см. коммент. к «Духовным песням», XIII).

ПОЭЗИЯ

Написано предположительно в октябре 1799 г. в оригинале «Das Gedicht». Так Новалис первоначально называл «Гимны к Ночи». «Горняя жизнь в голубом облаченье» напоминает голубой цветок из романа, которому явно родственна символика стихотворения.

¹ Она — Поэзия или София.

² *Вселенская святыня* — Христос и София, покинувшая мир: «Хоть покинул тело дух».

³ ...царица цветов снизошла. — Комментаторы полагают, что София возвращается, но тогда возникает вопрос, почему «красавицы как не бывало». Это скорее поэтическое наитие, поощающее и покидающее поэта.

К ТИКУ

Стихотворение написано в начале 1800 г. и посвящено знакомству с творчеством Якоба Бёме, которого Новалис узнал, по собственному признанию, благодаря Тику.

¹ Тик Людвиг (1773—1953) — см. коммент. к разделу «Людвиг Тик о продолжении романа».

² *Ребенок*. — См. примеч. 6 к гл. 1 «Учеников в Саисе».

³ ...книгу, замкнутую златом... — Книга замкнута златом, потому что в ней сокровище человеческого духа. По Якобу Бёме, книга, в которой вся сокровенная тайна, — это сам человек, он же книга благородного подобия.

⁴ ...Науку звезд, уроки злаков... — Якоб Бёме в своих писаниях широко использовал натурфилософские сведения и символы из мистических книг и народных поверий.

⁵ ...Подросток, на горе отвесной... — Биограф Якоба Бёме, Абрахам фон Франкенберг, рассказывает такой случай, ссылаясь на воспоминания самого Якоба Бёме. Однажды в полдень крестьянский сын, подросток Якоб Бёме отстал от своих сверстников и поднялся на гору, известную под названием Ландес-Кроне (это название можно перевести как «Венец местности»). На самой вершине мальчику открылся ход, ведущий в глубь горы, и, недолго думая, Якоб отправился в недра. Там ему вскоре попался большой короб, наполненный золотом, однако мальчика охватил страх, и, не притронувшись к золоту, он выбежал на свет. Франкенберг истолковывает эту историю аллегорически. Ход в глубины горы, по его мнению, предвещал для отрока Якоба Бёме духовный ход в сокровищницу Божественной и природной мудрости со всеми тайнами: «Я видел душу всех вещей».

⁶ *Ковчег Новейшего Завета*... — Готтольд Эфраим Лессинг (1729—1781), немецкий поэт, историк искусств, религиозный философ в своем «Воспитании рода человеческого» (1780), ссылаясь на иных мечтателей XIII—XIV вв., «уловивших луч вечного Евангелия». Среди них Лессинг выделяет калабрийского аббата Иоахима Флорского. Аллегорически истолковывая Ветхий и Новый Заветы, Иоахим пришел к выводу, что Новый Завет не является окончательным, он лишь предвещает Завет Новейший, Завет Любви. Не исключено влияние Иоахима Флорского на Якоба Бёме.

⁷ ...С великой тайны снят запрет... — «Великая Тайна» («Mysterium Magnum») — книга Якоба Бёме (1623).

⁸ *Стань провозвестником денницы*... — «Аврора, или Утренняя заря на восходе» — известнейшая книга Якоба Бёме (1612) (в переводе «денница» в значении «заря»).

⁹ *Тысячелетнюю державу*... — Тысячелетнее царствование Христа предсказано в Апокалипсисе. (Откр. 20: 4). Новалис видел в тысячелетнем царстве восстановление христианской монархии и возвращение Золотого века.

ПОЗНАЙ СЕБЯ!

Стихотворение написано 11 мая 1798 г. (по другому предположению, в июне—июле 1800 г.) и подытоживает занятия Новалиса алхимией. Оно может истолковываться двояко: всё сводится к одному или всё выводится из одного.

¹ *Некто* — вряд ли историческое лицо, скорее учитель мудрости, как в «Учениках в Саисе».

² *... в заблуждениях мысль заострилась...* — «Заблуждение» — алхимический метод, сводящийся к получению обычного золота.

³ *Благоразумный адепт эликсирами пренебрегает...* — Адепт (посвященный) — в алхимии мастер, которому дано обрести философский камень. Эликсиры (по-арабски el-iksir — квинт-эссенция) — препараты из растительных соков с добавлением эфирных масел, кислот и солей. С помощью эликсиров адепт рассчитывает получить золото в колбе.

⁴ *Король* — золото. См. примеч. 5, 12 к гл. 5 «Генриха фон Офтердингена».

⁵ *Священная колба* — истинная колба, превращающая всё во всё.

⁶ *Дельфы*. — В Дельфах находился храм Аполлона, а над его входом была надпись «Познай себя». Изречение приписывалось Хилону, одному из семи мудрецов. У Новалиса — метод и цель истинной алхимии, философский камень (камень мудрости).

ЗАЗЕЛЕНЕЛ ПУСТЫННЫЙ ЛУГ

Написано весной 1800 г. В стихотворении представлена навеянная Якобом Бёме «могучая весна», о которой Новалис писал Тику 23 февраля 1800 г.

¹ *... Что движет мной, не знал я сам...* — Переключка с шестой главой романа: «Что с ним совершилось, было ему невдомек» (с. 65).

² *Богами люди стать готовы.* — Возможно, ссылка на Библию: «Я сказал: вы — боги...» (Пс. 81: 6).

ПОКРЫЛИ НЕБО ТУЧИ

Стихотворение написано на том же листе, что и предшествующее (песнь весны — песнь лета).

¹ *... Как вдруг своей лозой махнуло мне дитя...* — Дитя соотносится с ребенком из «Учеников в Саисе» и стихотворения «К Тику». Лоза — «жезл, открывающий клады и кладези» из пятой главы романа, лоза рудознатца.

² *Змеиная царица* — символ богатства и вечного омоложения.

ВИЖУ ПУТЬ НАШ БЕСКОНЕЧНЫЙ

Написано поздней осенью 1800 г. С последними четырьмя строками переключаются «Два голоса» Ф. И. Тютчева:

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЛИС

ГЕНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН

Перевод В. Б. Микушевича

Часть первая. Чаяние	8
Часть вторая. Обретение. Монастырь, или Преддверие	92
Людвиг Тик о продолжении романа	105

ДОПОЛНЕНИЯ

НОВАЛИС

Перевод В. Б. Микушевича

Ученики в Саисе	113
Христианство, или Европа	134
Гимны к Ночи	146
Духовные песни	156
Разные стихотворения	172

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>В. Б. Микушевич.</i> Миф Новалиса	189
Примечания (составил <i>В. Б. Микушевич</i>)	218

Новалис

Генрих фон Офтердинген / Изд. подг. В. Б. Микушевич — М.: Ладомир; Наука, 2003. — 280 с. («Литературные памятники»).

ISBN 5-86218-399-X

В книге представлен в новом переводе роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген», где через символ Голубого Цветка возведены Вечная Женственность, мистическая монархия и личное бессмертие человека.

Незаконченный роман сочетается с другими фрагментами единого великого произведения, над которым Новалис работал всю жизнь. К этим фрагментам относятся «Ученики в Саисе», а также «Христианство, или Европа», философско-исторический очерк (или речь, как обозначил это произведение автор), близко соприкасающийся с исканиями русской религиозной философии и предвосхищающий современную идею единой Европы.

Научное издание

НОВАЛИС
ГЕНРИХ ФОН ОФТЕРДИНГЕН

*Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии
«Литературные памятники»*

Редактор *О. В. Бодешко*
Художественный редактор *И. И. Володина*
Технический редактор *М. А. Страшнова*
Корректоры *О. Г. Нафенкова, Н. М. Соколова*
Компьютерная верстка *А. В. Самсоновой, Е. С. Веселковой*

ИД № 02944 от 03.10.2000 г.

Сдано в набор 26.04.2001. Подписано в печать 31.12.2002.
Формат 70х90^{1/16}. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Печ. л. 18. Усл. печ. л. 21,06. Тираж 2500 экз.
Зак. № 200.

Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а
Тел. склада: (095) 533-84-77. E-mail: ladomir@mail.compnet.ru

Отпечатано с оригинал-макета
ООО ПФ «Полиграфист»
160001, Вологда, Челюскинцев, 3

ISBN 586218399-X



9 785862 183993



**ВНИМАНИЮ УВАЖАЕМЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОДЧИКОВ**

Если вы ощущаете в себе силы подготовить целый том, либо лишь научный аппарат, либо квалифицированный перевод для академической серии «Литературные памятники» направляйте, пожалуйста, заявки по адресу:

124681, Москва, ул. Заводская, 6-а
Научно-издательский центр «Ладомир».
Для Редколлегии серии «ЛП».
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Тел.: (095) 537-98-33.

**УВАЖАЕМЫЕ ЦЕНИТЕЛИ И СОБИРАТЕЛИ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»**

Многие из вас, по-видимому, догадываются, насколько сложно в нынешних экономических условиях готовить книги для этой старейшей и авторитетнейшей серии. Ведь к участию в ней привлекаются лишь лучшие специалисты. Между тем затраты на новые «литпамятники» давно не покрываются доходами от их реализации. От некоторых заманчивых, но чересчур финансовоемких идей приходится отказываться.

В то же время известно, что успешные коммерческие организации, ощущая свою ответственность за будущее страны, расходуют значительные средства на благотворительные цели, в том числе и в сфере культуры.

А потому научно-издательский центр «Ладомир» имеет честь предложить состоятельным предпринимателям-книголюбам стать спонсорами новых и продолжающихся проектов серии, о чем в книгах будут, разумеется, сделаны соответствующие памятные записи. Требуются не такие уж и большие деньги, но это позволит осуществиться тем интереснейшим замыслам, которые по прошествии некоторого времени, по всей видимости, уже и некому будет реализовывать. А всем, кто еще будет ценить в этой стране настоящий «литпамятник», останется лишь горестно вздыхать об упущенных возможностях.

Наш адрес:
124681, Москва, ул. Заводская, 6-а
Научно-издательский центр «Ладомир».
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Тел.: (095) 537-98-33.



НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ПЛАНИРУЕТ К ИЗДАНИЮ

СЕРИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

М.-М. ДЕ ЛАФАЙЕТ

Романы. Повести

В сборник вошел в современном переводе самый известный роман Мари Мадлен де Лафайет (1634–1693) «Принцесса Клевская» (1678), героиня которого – неопытная девушка, попавшая в придворную атмосферу, насыщенную интригами и амурными похождениями. Страх за себя, за свое будущее побуждает ее выйти замуж за принца Клевского, которого она уважает за благородство, но не любит.

С начала 60-х гг. XVII века Лафайет играла видную роль в жизни аристократических литературных салонов, переписывалась и встречалась со многими выдающимися писателями и учеными. Она имела возможность близко наблюдать нравы французского двора и описала их в своих мемуарах, романах и повестях, которые впервые будут опубликованы в данном издании на русском языке.

Ф. СУЛЬЕ

Мемуары Дьявола

Фредерика Сулье (1800–1847) при его жизни ставили рядом с Бальзаком, предпочитая Сулье подчас даже знаменитому создателю «Человеческой комедии», а лучшее сочинение романиста – «Мемуары Дьявола» – называли великой книгой. Со временем эти оценки изменились, но Сулье и сейчас остается ярким представителем массовой беллетристики XIX века, мало чем уступая А. Дюма или Э. Сю.

ВЫПУСТИЛ

АПОЛЛОНИЙ РОДОССКИЙ

Аргонавтика

В книге рассказывается о полном необычных приключений походе на корабле «Арго» 55 греческих богатырей-мореходов под предводительством Ясона в царство царя колхов Эета, чтобы вернуть в Элладу чудесное золотое руно.

Публикуется новый перевод поэмы, специально выполненный для данного издания.



НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ПЛАНИРУЕТ К ИЗДАНИЮ

СЕРИЯ «ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН»

ДЖ. Ш. ЛЕ ФАНЮ

Дом у кладбища; Рассказы

ДЖ. Ш. ЛЕ ФАНЮ

Дядя Сайлас; Рассказы

Джозефа Шеридана Ле Фаню (1814–1873), некогда широко известного, а ныне незаслуженно забытого писателя XIX в., при жизни ставили в один ряд с Уилки Коллинзом и Эдгаром По. Произведения, вошедшие в двухтомник, дают объемное представление о творчестве этого мастера. Роман «Дом у кладбища» — историческая пастораль и одновременно захватывающий детектив: нераскрытая тайна до последних страниц держит читателя в напряжении. Сборники «Дух мадам Краул и другие таинственные истории» и «Зеленый чай» — блестящее собрание фольклорных быличек, в изложении которых автор не имел себе равных, и исполненные психологизма остросюжетные повести, где сплетены воедино рациональное и иррациональное. Ну а подлинным шедевром Ле Фаню считается «Дядя Сайлас», один из лучших образцов позднего готического романа, перебрасывающего мостик от традиций Анны Радклиф к романам-триллерам XX в.

Любые из имеющихся в наличии книг «Ладомира»
можно приобрести в магазине «**ЛОМОНОСОВ**»

(схему проезда см. далее) по адресу:

Москва, ул. Трофимова, д. 18-а, тел.: (095) 279-38-86;

или заказать наложенным платежом по почте,

для чего необходимо отправить открытку-заказ по адресу:

124681, Москва, ул. Заводская, д. 6а

тел. (095) 537-98-33. E-mail: ladomir@mail.compnet.ru

Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу маркированный конверт.



НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ПЛАНИРУЕТ К ИЗДАНИЮ

СЕРИЯ «ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН»

ВИЛЬЯМ ГОДВИН

Сен-Леон

Вильям Годвин (1756–1836), выдающийся английский философ, писатель и общественный деятель, творивший в период смены Просвещения романтизмом, в своих сочинениях отразил все наиболее значимые идеи, ценности, проблемы этой эпохи.

«Сен-Леон. Повесть шестнадцатого века» (1799) – самое сложное его художественное произведение, сочетающее в себе жанровые черты готического, исторического, социально-психологического и детективного романа.

Главный герой повествования – граф Реджинальд Сен-Леон, богатый и знатный, однажды теряет все свое состояние за карточным столом. По совету кроткой и заботливой жены он бежит в Швейцарию, где находит пристанище в полуразрушенной хижине на берегу Боденского озера. Однажды он принимает у себя обремененного годами старика, который вскоре умирает, открыв перед тем графу тайну «камня мудрости» и эликсира жизни. Эта тайна возвращает Сен-Леону богатство, а секрет вечной молодости становится для него в конце концов источником горя и душевных мучений. Приобретая облик юноши, главный герой оказывается соперником в любви собственного сына, посещает дочерей, не узнающих его. В Мадриде за занятия чернокнижием он попадает в руки инквизиции, в темнице которой томится долгих двенадцать лет.

Чудовищное богатство и сверхъестественная сила, приобретенные Сен-Леоном, создают ему против собственной воли многочисленных врагов и толкают на тяжкие преступления, все более и более отчуждая от людей.



Магазин научной книги

«ЛОМОНОСОВ»

специализируется на розничной продаже,
реализации книг по почте,
комплектowaniu литературой под заказ
вузов, техникумов, лицеев, научных
и коммерческих организаций.

**Поставщиками являются более 200
московских и региональных издательств.**

Представлена литература
по следующим областям знаний:

1. Естественные, точные и технические науки

Математика. Математические науки. Физика. Физические науки. Химия. Химические науки.
География. Геодезия. Картография. Страноведение. Биология. Зоология. Ботаника.
Общетеchnические науки. Инженерные дисциплины.

2. Общественные и гуманитарные науки

Социология. Социальная работа. Конфликтология. Философия. Логика. Этика. Эстетика. Религия.
Религиоведение. Патрология. Мистика. Оккультизм. История. Этнография. Антропология.
Внешняя политика. Международные отношения. Дипломатия. Геополитика. Культурология. Культура
Искусство. Юриспруденция. Деловая и экономическая литература. Филология. Литературоведение.
Языкознание. Психология.

3. Справочные и энциклопедические издания

4. Мемуарная и художественная литература

На что просим обратить особое внимание:

*Широкий выбор учебных пособий для высшей школы и абитуриентов.
Весь ассортимент книг научно-издательского центра «ЛАДОМИР» –
по льготным ценам!
К услугам коллекционеров и любителей элитарного чтения – «Литературные
памятники» и другие известные серии.*

**Ознакомиться с ассортиментом литературы
и сделать покупку или заказ можно по адресу:**

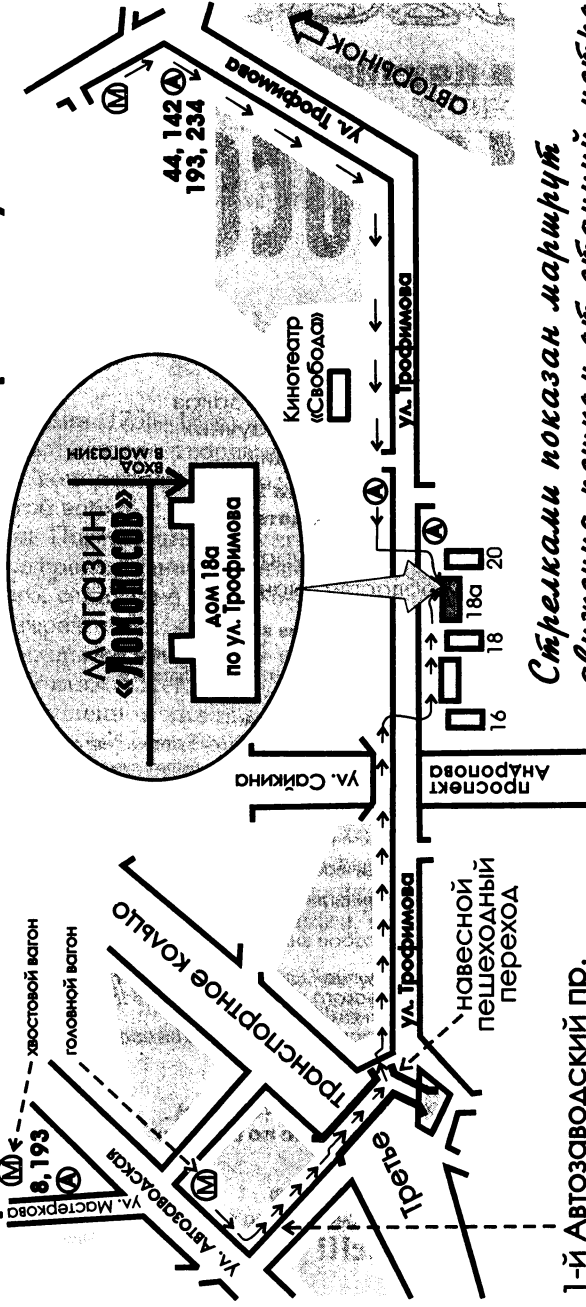
109432, г. Москва, ул. Трофимова, дом 18а
E-mail: lomonosowbook@mtu-net.ru, тел./fax. 279-38-86 (с 11-00 до 19-00)

Схему расположения магазина смотрите на обороте.

Ждём Вас!!!

МЕТРО «АВТОЗАВОДСКАЯ»

МЕТРО «КОЖУХОВСКАЯ»



Стрелками показан маршрут движения пешком от станции метро.

1-Й АВТОЗАВОДСКИЙ ПР.

Как добраться до магазина «ЛОМОНОСОВ»:

- от м. «Кожуховская» (головной вагон из Центра):
 - авт. 44, 142, 193, 234, ехать до остановки «Кинотеатр "Свобода"»;
 - 7 мин. пешком по ул. Трофимова;

от м. «Автозаводская»:

- хвостовой вагон из Центра, поворот направо в подземном переходе, выход из метро налево, авт. 8, 193, ехать до остановки «Кинотеатр "Свобода"»;
- 15-20 мин. пешком по маршруту: головной вагон из Центра, выход из метро налево, на ближайшем перекрестке повернуть налево еще раз, пройти по навесному пешеходному переходу (пересечь третье транспортное кольцо), повернуть налево в третий раз и двигаться по ул. Трофимова до магазина.

